

Анна Зегерс

ТРАНЗИТ  
РАССКАЗЫ



## Annotation

Транзит – значит проезд через определенную территорию и вместе с тем – переход от одного состояния к другому. Та часть жизни героя, названного Зайдлером (это не настоящее его имя), которая стала сюжетом книги, была именно таким переходом.

Вначале было пассивное, томительное прозябание в лагере интернированных, куда во время войны французские власти загнали всех немцев без разбора, в том числе и антифашистов... Потом несколько месяцев напряженных усилий, затраченных прежде всего на то, чтобы спасти себя лично.

Завершение перехода – осознанная решимость разделить судьбу французского народа и готовность бороться, ощущая при этом неразрывную связь с настоящей Германией, а не с «серо-зелеными» колоннами гитлеровских войск.

---

- [Анна Зегерс](#)
  - [Глава первая](#)
    - [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)
    - [IV](#)
  - [Глава вторая](#)
    - [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)
    - [IV](#)
  - [Глава третья](#)
    - [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)
    - [IV](#)
    - [V](#)
    - [VI](#)
    - [VII](#)
    - [VIII](#)
  - [Глава четвертая](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [X](#)

○ [Глава пятая](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)

○ [Глава шестая](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)

○ [Глава седьмая](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)

○ [Глава восьмая](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [Глава девятая](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
- [Глава десятая](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [IX](#)
  - [X](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

**Анна Зегерс**  
**Транзит**

# Глава первая

Говорят, «Монреаль» затонул где-то между Дакаром и Мартиникой: наскочил на мину. Пароходство не дает никаких справок. А быть может, все это только слухи. Впрочем, если сравнить судьбу «Монреалья» с судьбой других пароходов, до отказа набитых беженцами, пароходов, которым нигде не разрешают пристать и скорее дадут сгореть в открытом море, чем бросить якорь в порту, – только потому, что визы пассажиров на несколько дней просрочены, – так вот, если сравнить судьбу «Монреалья» с судьбой таких пароходов, то весть о его гибели никого не поразит. Хотя, повторяю, быть может, все только слухи.

Быть может, «Монреаль» задержали в пути или заставили вернуться в Дакар, и его пассажиры изнывают теперь под палящим солнцем в концентрационном лагере где-нибудь на краю Сахары. А быть может, они уже благополучно пересекли океан... Вам все это не интересно? Вы скучаете?... Я тоже. Разрешите пригласить вас поужинать. Правда, на хороший ужин у меня, к сожалению, нет денег, но я могу вас угостить стаканом розе и куском пиццы. Пересядьте, – пожалуйста, за мой столик! На что вам больше хочется смотреть? На то, как пекут пиццу в открытой печи? Тогда садитесь рядом со мной. А если вы предпочитаете глядеть на Старую гавань, садитесь напротив меня. Вы увидите, как заходит солнце вон там, за фортом св. Николая. Это зрелище вам, наверно, не наскучит.

Пицца – удивительнейший пирог. Круглый, румяный, как сдобная булка. Думаешь, он сладкий, а откусишь – огонь. Тогда принимаешься его разглядывать и обнаруживаешь, что в тесте запечены не изюм и вишни, а перец и маслины. Потом к этому привыкаешь. Но, к сожалению, теперь пиццу дают тоже только по карточкам.

Все-таки мне очень хотелось бы знать, действительно ли «Монреаль» затонул? И как сейчас живут там, за океаном, его бывшие пассажиры, если им все же удалось добраться до места? Начинают новую жизнь? Меняют профессий? Обивают пороги различных комитетов? Корчуют девственный лес? Да, если за океаном и в самом деле еще есть края, куда не ступала нога человека, где молодеешь душой и телом, – я почти готов сожалеть, что не отправился туда на «Монреале»... Ведь я имел полную возможность попасть на этот пароход. Был и билет, и паспорт, и транзитная виза! И все-таки в самый последний момент я вдруг предпочел остаться...

На этом «Монреале» уехали два человека, которых я прежде знал. –

правда, бегло. Сами понимаете, чего стоят эти случайные знакомства на вокзалах, в приемных консульств или паспортном отделе префектуры. Впопыхах перекинешься несколькими словами, будто торопливо размениваешь потертые купюры. И только иногда тебя заденет за живое какой-то возглас, какая-то фраза, чье-нибудь лицо – словно ударит электрическим током. Начинаешь приглядываться, прислушиваться – и вот ты уже втянут в чужую историю.

Мне хотелось бы когда-нибудь рассказать все, как было, с начала до конца. Боюсь только наскучить собеседнику. Неужели вам еще не надоели все эти страшные рассказы? Не опротивели разговоры о смертельной опасности, которой едва удалось избежать, о страхе, от которого перехватывает дыхание? Что до меня – я ими сыт по горло. Вряд ли что-нибудь взволнует меня теперь, разве только подсчеты металлиста, сколько метров проволоки он вытянул за свою долгую жизнь, да круг света, падающий на стол, за которым дети делают уроки.

С розе советую быть поосторожней! Пьется оно на редкость легко – не вино, а малиновый сок, недаром они одного цвета, – и сразу тебе море по колено, становишься удивительно веселым, и слова приходят сами собой. Но когда встаешь, подкашиваются ноги и нападает тоска, неизбывная тоска – до следующего стакана розе. А пока хочется сидеть не двигаясь и чтобы тебя все оставили в покое.

Прежде я легко впутывался в истории, которых теперь стыжусь. Стыжусь, но не очень – ведь они уже позади. Мне было бы очень стыдно, только если бы я заставил кого-нибудь скучать. И все же мне хочется рассказать все, как было, с самого начала.

## II

В конце зимы я попал в трудовой лагерь близ Руана. На меня надели форму. Должно быть, самую невзрачную из всех, какие существовали во время второй мировой войны, – форму солдата французской трудовой армии. На ночь нас загоняли за колючую проволоку, потому что мы, были иностранцы – полузаключенные, полусолдаты. Днем же мы несли «трудовую службу»: разгружали английские транспортные суда с боеприпасами. Порт нещадно бомбили. Немецкие самолеты пикировали так низко, что на нас падала их тень. В те дни я понял, почему говорят: «Нависла угроза смерти». Однажды я работал рядом с одним пареньком. Звали его Френцхен. Его лицо было от меня на таком расстоянии, как сейчас ваше. Представьте себе – солнечный день, воздух дрожит от зноя. И вот Френцхен поднимает голову и глядит в небо. Самолет пикирует, нависает над нами, тень его ложится на лицо Френцхена, – оно словно почернело. Бабах!.. Бомба разорвалась совсем близко... Да вы сами знаете все это не хуже меня.

Но вскоре и этому наступил конец. Немцы подходили все ближе. Что значили теперь пережитые страхи и страдания? Надвигалось светопреставление – завтра, нынче ночью, немедленно! Так все мы воспринимали тогда приход немцев. В лагере началось невесть что: одни плакали, другие молились, третьи пытались покончить с собой, кое-кому это удавалось. Некоторые решили удрать – удрать от Страшного суда! Но комендант лагеря выставил у ворот пулеметы. Тщетно пытались мы втолковать ему, что всех нас – немцев, бежавших из Германии, – фашисты сразу же поставят к стенке. Комендант и знать ничего не хотел – он умел лишь выполнять полученные приказы и теперь ждал распоряжения насчет дальнейшей судьбы лагеря. Но его начальник давно уже смылся. Городок, возле которого был, расположен лагерь, эвакуировали. И даже крестьяне бежали из окрестных, деревень. Никто не знал, где немцы – в двух днях марша от нас или в двух часах. А ведь наш комендант, надо отдать ему справедливость, был еще далеко не из худших. Он считал, что идет война как война, не понимал ни масштабов катастрофы, ни меры предательства. Наконец мы с ним заключили своего рода негласный договор: один пулемет у ворот останется, поскольку на этот счет нет нового приказа, но, если мы полезем через стену, стрелять будут только для видимости.

Так вот, как-то ночью мы – нас было человек двадцать – перелезли

через стену. С нами бежал парень, которого звали Гейнц. У него не было правой ноги – он потерял ее в Испании. По окончании гражданской войны его долго гоняли по разным концлагерям на юге Франции. Черт его знает, по какому недоразумению Гейнц, уже явно не пригодный ни для какой трудовой армии, попал в наш лагерь. Друзьям пришлось перетаскивать его через стену, а затем по очереди нести на руках – надо было торопиться, чтобы на ночь уйти как можно дальше от немцев.

Все мы боялись попасть в лапы к фашистам, у каждого из нас была на это своя веская причина. Лично я в тридцать седьмом году удрал из немецкого концентрационного лагеря. Переплыл ночью Рейн. Этим поступком я с полгода даже немного гордился. Ну а затем на весь мир и, конечно, на меня тоже обрушились новые события. Но во время своего второго побега – из французского лагеря, я вспомнил о своем первом побеге – из немецкого... Мы с Френцхеном шагали рядом. Как и большинство людей в эти дни, мы поставили перед собой детски наивную цель – переправиться через Луару. Обходя стороной большие дороги, мы шли полями. Торопливо проходили через покинутые деревни и слышали, как отчаянно мычат недоенные коровы. Впопыхах искали, чего бы поесть, но все было сожрано подчистую, все – от крыжовника на кустах до зерна в амбарах. Хотелось пить, но водопроводы были разбиты. Выстрелов мы больше не слышали. А деревенский дурачок, единственный из местных жителей не убежавший вместе со всеми, ничего не смог нам сказать. И тогда нас с Френцхеном охватил страх. Все кругом словно вымерло, и это показалось нам страшнее бомбежки доков. Наконец мы вышли на Парижское шоссе. Мы оказались здесь далеко не последними. По-прежнему не убывал безмолвный поток беженцев из северных деревень: огромные, как дома, возы, доверху груженные домашним скарбом, дети и старики были зажаты между клетками с домашней птицей, козами и телятами; грузовики, битком набитые монахинями; девочка, с трудом толкающая тачку, на которой примостилась ее мать; волы, запряженные в лимузины, – в них восседали красивые чопорные дамы в дорогих меховых манто (бензиновых колонок больше не существовало); матери, прижимающие к груди больных и даже мертвых детей.

Вот тогда я впервые задумался: почему, собственно говоря, все эти люди двинулись в путь? Убегают от немцев. Но разве убежишь от моторизованных частей? Прячутся от смерти? Но ведь смерть наверняка настигнет их еще в дороге... Правда, эти мысли возникали у меня только при виде самых жалких беженцев.

Френцхену первым удалось вскочить на грузовик, – а потом и мне

повезло, однако на повороте у какой-то деревни другой грузовик врезался в тот, на котором я пристроился, и мне снова пришлось идти пешком. Так я навсегда расстался с Френцхеном.

Я побрел напрямик, полями, и оказался у большого крестьянского дома, стоящего на отлете. Хозяева еще не выехали. Я попросил поесть. К моему великому изумлению, женщина принесла хлеба, вина и поставила на садовый стол тарелку супа. Она мне рассказала, что после долгих семейных споров они тоже решили уехать. Все вещи уже уложены, осталось только погрузить их в машину.

Пока я ел и пил, самолеты гудели прямо надо мной. Но я был так измучен, что не мог поднять голову. Вдруг я услышал пулеметную очередь: стреляли где-то совсем рядом, но от усталости я не сразу сообразил, где именно. Я только подумал, что мне удастся, должно быть, уехать на грузовике этой семьи. Завели мотор. Женщина в волнении бегала от машины к дому и обратно. Видно было, что ей тяжело уезжать, бросать такой хороший дом. Как и все люди в таких случаях, она наскоро упаковала еще какие-то ненужные вещи, затем подошла к моему столу, взяла у меня тарелку и крикнула: «Fini!». <sup>[1]</sup>

Тут я заметил, что она застыла с открытым ртом и, не мигая, уставилась на дорогу. Я обернулся и увидел, нет, услышал... Впрочем, не знаю, увидел я сперва или услышал, либо это произошло одновременно, – очевидно, рокот заведённого мотора грузовика покрыл треск мотоциклов. И вот два мотоцикла остановились у забора. В каждой коляске сидело по два солдата в серо-зеленой форме. Один из них сказал так громко, что я смог расслышать каждое слово:

– Черт побери, теперь и новый ремень лопнул!

Итак, немцы уже здесь! Они обогнали меня. Не помню теперь, как я представлял себе тогда приход немцев – как гром или как землетрясение. Ничего подобного не случилось – только появились два мотоцикла за забором сада. Но впечатление это произвело не меньшее, может быть, даже большее. Я словно оцепенел. Моя рубашка вся взмокла от пота. Мне не было страшно ни во время побега из первого лагеря, ни когда мы разгружали пароходы под бомбежкой. Но тут, впервые за всю свою жизнь, я почувствовал смертельный страх.

Наберитесь, пожалуйста, терпения! Скоро я уже дойду до главного. Быть может, вы меня поймете – хоть раз надо же рассказать кому-нибудь все по порядку. Теперь я и сам уже не знаю, чего я тогда так ужасно испугался. Того, что меня обнаружат? Расстреляют? Но ведь в доках я тоже мог погибнуть, не успев и пикнуть. Того, что меня пошлют назад, в

Германию? Подвергнут там пыткам, медленной смерти? Но это мне угрожало и тогда, когда я переплывал Рейн. К тому же я всегда любил ходить по самому краю, чувствовал себя хорошо там, где пахло паленым. А когда я задумался над тем, чего же я, собственно, так безмерно боюсь, я стал меньше бояться.

Я сделал то, что было разумнее всего и вместе с тем легче всего, – не тронулся с места. Я как раз собирался просверлить две новые дырочки в поясе; вот этим я и занялся. Крестьянин вышел в сад – лицо его выражало полную растерянность – и сказал жене:

– Теперь мы можем с таким же успехом остаться.

– Конечно, – сказала жена с облегчением, – только ты отправляйся в сарай, я с ними и сама справлюсь, не съедят же они меня?

– И меня тоже, – возразил муж, – я не солдат, я покажу им свою хромую ногу.

Тем временем на лужайку за забором выехала целая колонна мотоциклистов. Но они даже не заглянули в сад. Они остановились минуты на три, а затем помчались дальше. Впервые за четыре года я снова услышал, как отдают приказы по-немецки. Слова щелкали, как удары хлыста. Еще немного, и я сам вскочил бы с места и застыл по стойке «смирно». Потом мне рассказали, что эти мотоциклисты перерезали шоссе, по которому я шел. Безупречный строй колонны, выкрики команд посеяли среди беженцев ужасную панику. Началась давка, полилась кровь, заголосили женщины, – казалось, настал конец света.

В немецких приказах звучало что-то откровенно наглое, до цинизма ясное: мол, не вздумайте только роптать! Уж раз вашему жизненному укладу суждено погибнуть, раз вы не сумели его защитить, раз допустили, чтобы он был уничтожен, так подчиняйтесь без всяких уверток! Мы теперь будем командовать!

Но я почему-то вдруг совсем успокоился. «Вот сижу я здесь, – думал я, – а мимо меня проходят немцы. Они оккупируют Францию. Но ведь Францию уже не раз оккупировали, и всем захватчикам в конце концов приходилось убираться восвояси. Франция уже не раз была продана и предана, но ведь и вас, мои серо-зеленые герои, не раз продавали и предавали».

Мой страх окончательно улетучился, свастика казалась мне теперь чем-то призрачным. Я видел, как приходят и уходят подразделения «самой сильной в мире армии»; я видел, как рушатся державы-захватчики и как поднимаются и крепнут молодые стойкие государства; я видел, как возвеличиваются и низвергаются владыки мира сего. И лишь для меня

одного время не было отмерено.

Так или иначе, но мечту переправиться через Луару надо было оставить. Я решил добираться до Парижа. Я знал там нескольких порядочных людей, – если только они остались порядочными.

### III

До Парижа я шел пять дней. Меня то и дело обгоняли немецкие моторизованные части: отличные шины, отборные молодые солдаты – сильные, красивые. Они заняли страну без боя, им было весело.

Я миновал деревню. Там звонил колокол по мертвому ребенку. Малыш истек кровью на шоссе. На перекрестке стояла сломанная крестьянская телега. Быть может, она принадлежала семье убитого мальчика. Немецкие солдаты подскочили к телеге и принялись чинить колеса. Крестьяне хвалили их за услужливость. На камне у обочины сидел парень моих лет. Из-под плаща у него выглядывала обтрепанная военная форма. Он плакал. Я похлопал его по плечу и сказал:

– Все это пройдет...

Он ответил:

– Мы удержали бы деревню. Но эти свиньи выдали нам слишком мало снарядов – всего на час боя. Нас просто предали.

– Последнее слово еще не сказано, – возразил я и двинулся дальше.

И вот ранним воскресным, утром я вступил в Париж. Флаг со свастикой и в самом деле развевался над мэрией. Они и в самом деле играли Хоэнфридбергермарш перед собором Парижской богородицы. Я не переставал удивляться. Я прошел через весь город, повсюду – немецкие грузовики, повсюду – свастика. Внутри у меня словно что-то оборвалось, я перестал что-либо ощущать.

Мне было тяжело, что все эти бесчинства творил мой народ, что он принес несчастье другим народам. Ведь серо-зеленые парни говорили на том же языке, что и я, насвистывали те же мелодии, что и я, – в этом не было сомнения.

Когда я подходил к Клиши, где жили мои старые друзья Бинне, я думал о том, достаточно ли они разумны, смогут ли понять, что я остался самим собой, хотя и принадлежу к этому народу. Примут ли они меня даже без документов?

Они меня приняли. Они оказались достаточно разумны. А как часто меня прежде злила эта их чрезмерная разумность! Перед войной я в течение полугода дружил с Ивонной Бинне. Ей было всего семнадцать лет. И я, бежавший из своей страны, бежавший от безумия, от угарного чада низких страстей, я, болван, часто втихомолку злился на Бинне за их неизменно ясный разум. По мне, они слишком разумно смотрели на жизнь.

Бинне, например, считали, что рабочие бастуют лишь для того, чтобы иметь возможность через неделю купить кусок мяса получше. Они считали даже, что если зарабатывать в день на три франка больше, то семья будет не только более сытой, но и более прочной и счастливой. И рассудительная Ивонна полагала, что любовь существует для того, чтобы доставлять нам обоим удовольствие. Ну а я, – видно, это чувство было у меня в крови, во я его, конечно, скрывал, – я знал, что «люблю» подчас рифмуется со «скорблю», что недаром иногда насвистываешь песенки про смерть, разлуку и страдание, что счастье приходит так же неожиданно, как и несчастье, и что радость порой незаметно сменяется печалью.

Но теперь разумность семьи Бинне оказалась для меня благословением. Они мне обрадовались и приютили меня у себя. То, что я был немцем, вовсе не значило для них, что я – нацист. Я застал стариков Бинне, их младшего сына – его год еще не призывался – и второго, постарше, который снял военную форму и вернулся домой, когда увидел, как обернулись события. Только муж их дочери Аннет, которая тоже жила теперь со своим ребенком у стариков, был в немецком плену. А моя Ивонна – они рассказали мне об этом несколько смущенно – эвакуировалась на юг и неделю назад вышла там замуж за своего двоюродного брата. Но меня, это несколько не взволновало – меньше всего я думал в то время о любви.

Мужчины проводили весь день дома – фабрика, на которой они работали, была закрыта. Что до меня, то если я еще чем-то располагал, то лишь временем. Итак, у нас не было иного занятия, как обсуждать происходящие события – обсуждать с утра до позднего вечера. Мы все сходились на том, что вторжение немецких войск было на руку здешним правителям. Старик Бинне понимал многое лучше профессоров Сорбонны. Споры разгорались у нас, только когда разговор касался России. Одни Бинне утверждали, что Россия думает лишь о себе, что она бросила нас на произвол судьбы, другие же считали, что здешние правители договорились с немцами, чтобы те двинули свои армии на Восток, а не на Запад, но русские сорвали эти планы. Старик Бинне, стараясь нас примирить, говорил, что когда-нибудь люди узнают правду – ведь секретные документы рано или поздно станут достоянием гласности, – но он, вероятно, уже не доживет до этого.

Простите меня, пожалуйста, за это отступление! Мы уже подходим к самому главному. Аннет, старшая дочь Бинне, нашла себе работу надомницы. Мне нечего было делать, и я помогал ей приносить и относить белье. Мы ехали на метро в Латинский квартал и выходили на станции Одеон. Аннет отправлялась в свою мастерскую на бульваре Сен-Жермен. Я

ждал ее на скамейке у выхода из метро.

В тот деязь Аннет долго не возвращалась. Но в конце концов куда мне было торопиться? Я грелся на солнышке и глядел на людей, которые спускались и поднимались по лестнице метро. Две старые продавщицы газет выкрикивали наперебой: «Пари-суар!» Они были исполнены застарелой вражды друг к другу, и, как только одной и в них удавалось выручить лишние два су, их ненависть вспыхивала с новой силой. И в самом деле, хотя они стояли рядом, торговля шла бойко только у одной, а у другой кипа газет не уменьшалась. Вдруг неудачливая газетчица обернулась к удачливой и принялась ее честить на чем. свет стоит, – казалось, она швыряет ей в лицо всю свою загубленную жизнь, перемежая эту ругань выкриками: «Пари-суар!» Два немецких солдата, спускавшиеся по лестнице, поглядели на них и засмеялись. Их смех показался мне очень обидным, словно эта кричащая спившаяся старуха француженка была моей приемной матерью. Консьержки, сидевшие рядом со мной на скамейке, говорили об одной молодой особе, которая проплакала всю ночь потому, что ее задержала полиция, когда она гуляла с немцем; муж ее был в плену. По бульвару Сен-Жермен по-прежнему непрерывным потоком двигались грузовики беженцев. Их обгоняли легковые машины со свастикой, в которых сидели немецкие офицеры. Время от времени на нас падали уже пожелтевшие листья платанов – в тот год все рано начало увядать. А я думал о том, как тяжело иметь столько свободного времени. Да, тяжело переживать войну чужаком в чужой стране. И тут я увидел Паульхена.

Паульхен Штробель был вместе со мной в лагере. Однажды на разгрузке ему отдавили руку. В течение трех суток все думали, что рука пропала. Он плакал, и, знаете, я его понимал. Потом, когда объявили, что немцы вот-вот окружат лагерь, он стал молиться. Поверьте, я и тогда его понимал. Но теперь все эти переживания были далеко позади. Паульхен появился на углу улицы Ансьен-Комеди. Товарищ по лагерю! Посреди Парижа, разукрашенного свастикой! Я крикнул:

– Пауль!

Он вздрогнул, но тут же узнал меня. Он выглядел на удивление бодрым, был хорошо одет. Мы уселись на террасе маленького кафе на Карфур де ль'Одеон. Я был рад нашей встрече. Но он казался рассеянным. Мне прежде никогда не приходилось сталкиваться с писателем. По воле родителей я выучился на монтера. В лагере мне кто-то сказал, будто Пауль Штробель – писатель. Мы с ним разгружали пароходы в одном доке. Немецкие самолеты пикировали прямо на нас. Паульхен был моим лагерным товарищем – немного смешным, странноватым, но все же

товарищем. С момента побега я не пережил ничего нового, и прошлое пока еще всецело владело мной: собственно говоря, мой побег продолжался – ведь я жил нелегально. Но Паульхен, казалось, покончил со всем этим. С ним, видимо, произошло нечто такое, что придало ему силы, и все то, чем я еще жил, стало для него лишь воспоминанием.

– На той неделе я уеду в неоккупированную зону, – сказал он. – Моя семья живет в Касси, под Марселем. Я получил данже-визу в Соединенные Штаты.

Я спросил его, что это такое. Он объяснил, что это специальная виза для людей, которым угрожает особая опасность.

– Разве тебе угрожает особая опасность?

Я хотел узнать, не угрожает ли ему здесь, в этой части света, ставшей такой ненадежной, и в самом деле какая-нибудь еще более серьезная опасность, чем всем нам: Он посмотрел на меня с изумлением и даже с некоторой досадой. Потом прошептал:

– Ведь я написал книгу против Гитлера и множество статей. Если меня здесь поймают... Над чем ты смеешься?

А я вовсе не смеялся. В тот момент мне было не до смеха. Я думал о Гейнце, которого нацисты в 1935 году избили до полусмерти и бросили в концлагерь. Оттуда он бежал в Париж, но только для того, чтобы вступить в Интернациональную бригаду. В Испании он потерял ногу. Несмотря на это, его гоняли потом по всем концлагерям Франции, пока в конце концов он не попал в наш. Гейнц... Где-то он теперь? Я думал также о птицах, которые могут стаями лететь куда хотят... В мире сейчас весьма неуютно... И все же мне нравилось жить так, как я жил. Я не завидовал Паульхену из-за этой штуки... как она там называется?

– Данже-визу мне выдали в американском посольстве на площади Согласия. Понимаешь, подруга моей сестры обручена с одним торговцем шелком из Лиона. Он привез мне письма от родных. На днях он возвращается на своей машине обратно в Лион и хочет взять меня с собой. Чтобы Проехать из одной зоны в другую на автомобиле, нужно разрешение с указанием количества пассажиров, и только. Таким образом я обойдусь без немецкого пропуска.

Я взглянул на его правую руку, которую отдавили там, в доке. Большой палец был слегка деформирован. Он зажал его в кулак.

– Как ты попал в Париж? – спросил я.

– Чудом, – ответил он. – Мы бежали втроем: Герман Аксельрот, Эрнст Шпербер и я. Ты, конечно, знаешь Аксельрота? Его пьесы?

Пьес Аксельрота я не знал. Но зато знал его самого. – На редкость

красивый малый, которому офицерский мундир был бы куда более к лицу, чем наши вонючие лохмотья трудовой армии. Впрочем, и в них у него был молодцеватый вид. Паульхен уверял, что этот Аксельрот знаменит. Так вот, они втроем добрались до селения Л. Дорогой здорово вымотались. «Наш крестный путь вывел нас на перекресток», – сострил Паульхен и сам засмеялся. Я больше не чувствовал к нему неприязни, он мне даже нравился, я был очень рад, что мы оба выжили и сидим сейчас вместе. – «Понимаешь, классический перекресток с заброшенным постоялым, двором». Они уселись на ступеньках крыльца. Вблизи остановился французский военный грузовик, доверху груженный каким-то армейским снаряжением. Шофер принялся разгружать машину. Они втроем наблюдали за ним. Некоторое время спустя Аксельрот встал, подошел к шоферу и начал с ним болтать. Паульхен и Шпербер не обратили на это никакого внимания. И вдруг этот Аксельрот залез в кабину, дал газ, и машина умчалась. Даже рукой не махнул на прощание. А шофер зашагал по другой дороге в ближайшую деревню.

– Сколько же он заплатил за это шоферу? – спросил я. – Тысяч пять? Шесть?

– Да ты с ума сошел! – воскликнул Паульхен. – Шесть тысяч за грузовик, да еще военный! А доброе имя шофера! Ведь это не только кража машины, но и дезертирство! Измена родине! Шестнадцать тысяч, не меньше! Мы, конечно, и не подозревали, что у Аксельрота водятся такие деньги. Я же говорю тебе, он даже не взглянул на нас. Как все ужасно, как подло!

– Нет, не все ужасно, не все подло. Помнишь Гейнца, ну, этого, одноногого? Ребята перетащили его через лагерную стену. И потом они его не бросили, а несли на себе, в этом я уверен. Пробирались все вместе в неокупированную зону.

– Им удалось уйти от немцев?

– Не знаю...

– Ну а Аксельрот наверняка удрал, можешь не сомневаться! Небось преспокойно плывет себе сейчас на Кубу.

– На Кубу? Аксельрот? Почему на Кубу?

– Ты еще спрашиваешь? Такой, как он, первым получит и визу, и билет на лучший пароход.

– Знаешь, Паульхен, если бы он поделился с вами деньгами, то не смог бы купить машину.

Вся эта история забавляла меня своей бесподобной откровенностью.

– Что ты намерен делать? – спросил меня Паульхен. – Какие у тебя

планы?

Мне пришлось признаться, что у меня нет никаких, планов, что будущее мое окутано туманом. Он спросил, состою ли я в какой-нибудь партии. Я ответил, что нет, но что тем не менее угодил в Германии в концлагерь. Потому что, и не занимаясь политикой, не мог равнодушно глядеть на свинство. И я бежал из немецкого концлагеря, – ведь если уж суждено подохнуть, то лучше, чтобы это случилось не за колючей проволокой. Мне хотелось рассказать, как я ночью в непогоду переплыл Рейн, но я вовремя вспомнил, сколько людей за последние годы переплывали различные реки. Боясь наскучить, я не стал рассказывать эту историю.

Я отпустил Аннет Бинне одну домой. Я думая, что Паульхен предложит провести вместе вечер. Но он молча глядел на меня, и я не мог понять, что выражает его взгляд. Наконец он сказал совсем другим тоном, чем прежде:

– Да, послушай-ка... Ты мог бы мне оказать большую услугу... Хочешь?

Я был удивлен его просьбой. Что ему могло от меня вдруг понадобиться? Конечно, я хотел.

– Подруга сестры, – продолжал он, – я тебе уже говорил о моей сестре и о ее подруге... Ну та, что помолвлена с торговцем шелком, который готов взять меня в свою машину... Так вот, она вложила в письмо ко мне еще одно письмо. Оно адресовано человеку, которого я очень хорошо знаю. Его жена просила переправить это письмо в Париж. Да что просила – просто умоляла, как пишет подруга сестры. Человек, о котором идет речь, остался здесь, в Париже. Он не смог вовремя выехать. Он и теперь еще здесь. Да ты, наверно, слыхал его имя – это писатель Вайдель.

О писателе Вайделе я никогда ничего не слышал... Но Паульхен стал уверять, что это нисколько не мешает мне оказать ему ту услугу, о которой он намерен меня просить.

Он вдруг начал заметно нервничать. Может быть, он и раньше нервничал, только я не обращал на это внимания. Я слушал его с напряженным интересом, стараясь понять, к чему он клонит... Господин Вайдель живет совсем рядом, на улице Вожирар, в том маленьком отеле, который находится между улицей Ренн и бульваром Распай. Паульхен сам заходил туда сегодня утром, но, когда он спросил, дома ли господин Вайдель, хозяйка отеля как-то странно на него посмотрела. И отказалась передать письмо. А на вопрос, не выехал ли господин Вайдель из отеля, ответила уклончиво.

– Не мог бы ты, – нерешительно сказал Паульхен, – сходить сегодня в этот отель и узнать новый адрес Вайделя, чтобы переправить ему письмо? Ты не откажешь мне в этой услуге?

Я не смог сдержать улыбки и спросил:

– И это все?

– Но, быть может, его схватили гестаповцы?

– Будь спокоен, я все выясню.

Этот Паульхен меня просто смешил. В доках, когда мы под бомбежкой разгружали пароходы, я не заметил, чтобы он трусил больше других. Нам всем было страшно, и ему, конечно, тоже. Но, несмотря на этот общий страх, терзавший и его, он болтал, не больше глупостей, чем мы все. И работал не хуже остальных. Когда страшно, лучше что-то делать, выбиваться из сил, чем дрожа ждать смерти, как цыпленок – коршуна. Способность к действию перед, лицом смерти не имеет ничего общего с мужеством. Верно? Хотя часто их путают и награждают людей не по заслугам.

Однако теперь Паульхен боялся куда больше меня. Полупустой Париж и флаги со свастикой были ему явно не по душе, и в каждом встречном он видел шпика.

Должно быть, в свое время Паульхену выпал на долю какой-то успех, и с тех пор он мечтал о славе и никак не мог допустить, что он такой же горемыка, как я. Поэтому он внушил себе, что его преследуют больше всех. Он готов был поверить, что все гестаповцы только тем и занимаются, что караулят его у того отеля, где живет Вайдель.

Итак, я взял у Паульхена письмо. На прощание он еще раз заверил меня, что Вайдель и в самом деле знаменитый писатель. Видимо, он считал, что это заставит меня выполнить его поручение с большей охотой. Но Паульхен напрасно старался. По мне, этот Вайдель мог быть хоть продавцом галстуков. Мне всегда казалось забавным развязывать узлы, как, впрочем, и завязывать их. Паульхен назначил мне свидание на следующий день в кафе «Капулад».

Отель на улице Вожирар – высокое узкое здание – был самым заурядным заведением. Но хозяйка его не была заурядной – она поражала своей красотой. Ее нежное свежее личико обрамляли черные как смоль волосы. На ней была белая шелковая блузка. Не долго думая, я спросил, нет ли у нее свободной комнаты. Она улыбнулась, внимательно разглядывая меня своими холодными глазами:

– Сколько угодно.

– Отлично. Но прежде о другом. У вас живет господин Вайдель. Он

сейчас дома?

Ее лицо, все ее поведение изменились так резко, как это бывает только у французов. Стоит задеть их за живое, как их вежливая невозмутимость вдруг сменяется самым неистовым бешенством.

– Меня сегодня второй раз спрашивают об этом человеке, – сказала она хриплым от негодования голосом, но уже овладев собой, – этот господин съехал. Не знаю, сколько раз еще надо это объяснить.

– Я, во всяком случае, слышу об этом впервые, поэтому не откажите в любезности сообщить мне новый адрес господина Вайделя.

– Почем мне знать!

Я начал понимать, что и она боится. Но чего?

– Я не знаю его адреса. Поверьте, мне больше нечего вам сказать.

«Видно, его все-таки схватили гестаповцы», – подумал я и взял ее за руку. Она руки не отняла и взглянула на меня полунасмешливо, полутревожно.

Я с этим господином незнаком, – заверил я хозяйку. – Просто меня попросили кое-что ему передать. Вот и все. Кое-что весьма важное, и мне не хотелось бы понапрасну заставлять ждать даже незнакомого человека.

Хозяйка внимательно посмотрела на меня и повела в маленькую комнатку рядом со входом. После минутного колебания она заговорила:

– Вы даже представить себе не можете, сколько неприятностей доставил мне этот человек. Он явился сюда пятнадцатого вечером, уже после прихода немцев в Париж. Я, видите ли, не закрывала отеля и не собиралась покидать город. «Во время войны, – сказал мне отец, – нельзя уезжать, а то твой дом загадят и обкрадут». Да и чего мне бояться немцев! Во всяком случае, я их предпочитаю красным, – моего текущего счета в банке они не тронут. Так вот, под вечер сюда заявился господин Вайдель. Он дрожал от страха. По-моему, смешно бояться своих соотечественников. Но я была рада получить постояльца. Я ведь осталась одна в нашем квартале. А когда я принесла ему регистрационный листок для прописки, он попросил не заявлять о нем полиции. Господин Ланжерон, начальник полиции, строго требует, как вы знаете, немедленно прописывать всех вновь прибывших иностранцев. Ведь должен же быть порядок, верно?

– Право, не знаю, что вам сказать, – возразил я. – Нацистские солдаты – тоже иностранцы. Они здесь тоже без прописки.

– Господин Вайдель, во всяком случае, устроил целую канитель со своей пропиской. Он объяснил мне, что сохранил за собой комнату в Отейле и не выписался оттуда. Все это мне совсем не понравилось. Господин Вайдель прежде уже как-то останавливался у меня со своей

женой. Красивая женщина, только не следила за собой и часто плакала. Уверяю вас, этот человек всем причинял одни неприятности. В общем, я пожалела его и не стала прописывать. Но предупредила – только, мол, на одну ночь. Он заплатил вперед. Утром смотрю – он не выходит из номера... Не буду утомлять вас подробностями. Я открыла номер запасным ключом. Отодвинула задвижку. У меня есть для этого специальная отмычка, мне сделали ее на заказ.

Она открыла ящик и показала мне хитроумно изогнутый металлический крючок.

– Господин Вайдель, – продолжала она, – лежал одетый на кровати, а на тумбочке валялся пустой аптечный пузырек. Если этот пузырек был накануне полон, то господин Вайдель принял такую порцию яда, какой можно спровадить на тот свет всех кошек нашего квартала. К счастью, у меня есть хороший знакомый в полицейском участке Сен-Сюльпис. Он помог мне уладить это дело. Мы прописали господина Вайдёля задним числом, затем заявили о его смерти и похоронили. Уверяю вас, господин Вайдель причинил мне больше неприятностей, чем приход немцев.

– Значит, он умер, – сказал я и встал.

Эта история показалась мне скучной. Я слишком много паз видел, как умирали люди при самых невероятных обстоятельствах.

– Если вы думаете, что на этом мои неприятности кончились, вы ошибаетесь, – продолжала хозяйка. – Этот человек даже после смерти досаждаёт другим...

Я снова сел.

– У меня остался его чемоданчик. Что мне с ним делать? Он стоит тут, в моем кабинете, во всей этой суматохе я и забыла о нем... Не обращаться же мне снова в полицию и будоражить всю эту историю?

– Ну, так бросьте его в Сену, – сказал я, – или сожгите в отопительном котле.

– Что вы, я никогда на это не решусь.

– Ну, знаете... Если вы сумели избавиться от трупа, то уж с чемоданчиком вы как-нибудь справитесь.

– Это совсем другое дело. Человек умер, факт смерти подтвержден документально. А чемоданчик – это юридическая улика, да к тому же еще и материальная ценность. Он входит в наследство, за ним могут прийти родственники покойного.

Мне все это так надоело, что я сказал:

– Я охотно возьму у вас чемоданчик. Для меня это не составит труда. Я знаю человека, который дружил с покойным, он передаст чемоданчик его

жене.

Хозяйка отеля чрезвычайно обрадовалась моему предложению, но попросила, выдать ей расписку. Я и это охотно сделал, подписавшись вымышленным именем. Она тут же зарегистрировала мою расписку, поставив число и номер, и горячо пожала мне руку. Но я поспешил уйти. Хозяйка мне совсем разонравилась, хотя вначале я нашел ее такой красивой. Я глядел на ее хитрое продолговатое лицо, но видел лишь череп, украшенный черными локонами.

## IV

На другое утро я, захватив чемоданчик, отправился в кафе «Капулад». Но я только напрасно прождал Паульхена. Быть может, он неожиданно уехал с торговцем шелком, а быть может, он не пришел в «Капулад» потому, что на дверях кафе появилось объявление: «Евреям вход воспрещен». Но тут я вспомнил, что в день прихода немцев Паульхен шептал «Отче наш». Следовательно, это объявление к нему не относится. Кроме того, когда я выходил из кафе, объявление уже исчезло. Возможно, кому-нибудь из посетителей или самому хозяину этот запрет показался нелепым, возможно также, что бумажку плохо прикололи, она упала на землю и не нашлось человека, который счел бы нужным поднять ее и снова прикрепить к дверям кафе.

Погода была отличная, чемоданчик – легкий, и я дошел пешком до площади Согласия. Но хоть солнце и сияло, на меня напала тоска. Та черная тоска, которую французы называют «кафар». Французы жили так весело в своей прекрасной стране, им были доступны все радости бытия, но все-таки иногда и у них пропадал вкус к веселью, их начинала одолевать скука, гнетущая пустота – кафар. Теперь весь Париж мучился кафаром. Почему же он должен был пощадить меня? Мой кафар начался еще накануне вечером. С того момента, как хозяйка отеля на улице Вожирар вдруг перестала казаться мне красивой. А теперь кафар завладел мной целиком. Иногда вода в луже булькает и пенится потому, что где-то на дне этой лужи есть яма – нечто вроде стока. Так булькал и пенился во мне кафар, проникая все глубже в душу. А когда я увидел на площади Согласия огромное знамя со свастикой, я удрал в темноту метро.

Кафар одолел и всех Бинне. Аннет злилась на меня за то, что я вчера не проводил ее. Мать Аннет считала, что мне пора раздобыть какие-нибудь документы – в газете писали, что скоро введут хлебные карточки. Я обиделся и отказался от обеда. Я уполз в свою берлогу – в каморку под крышей. Конечно, я мог бы привести к себе какую-нибудь девчонку, но у меня и к этому не было охоты. Говорят «смертельная рана», «смертельная болезнь», говорят также «смертельная скука». Уверяю вас, моя скука была смертельной. Только эта скука и заставила меня открыть чемоданчик Вайделя. Кроме какой-то рукописи, в нем почти ничего не было.

От скуки я начал ее читать. Я читал и читал, не отрываясь; быть может, оттого, что прежде я еще ни разу не прочел до конца ни одной книги, я

читал словно зачарованный. Нет, дело здесь было, конечно, в другом. Паульхен оказался прав. Что и говорить, в книгах я ничего не смыслил, книги – не моя стихия. Но я уверен, что тот, кто написал это, был настоящим мастером. Я забыл о кафаре, забыл о смертельной скуке. А будь у меня смертельная рана, я забыл бы и о ней. Я глотал страницу за страницей и все острее чувствовал, что это написано на моем родном языке, – я не мог оторваться от рукописи, как младенец от материнской груди. Этот язык не скрежетал и не щелкал, в нем не было тех звуков, что вырывались из глоток нацистов, когда они выкрикивали смертоносные приказы, подобострастно рапортовали начальству или хвастались своими гнусными подвигами. Речь Вайделя была тиха и серьезна. Мне казалось, что я вновь вернулся к своим. Я узнавал слова, которыми давным-давно моя бедная мать успокаивала меня, когда я сердился или мне было страшно, слова, которыми она корила меня, когда я врал или дрался. Мне попадались и слова, которые были когда-то у меня в обиходе, но, которые я потом забыл, забыл потому, что перестал испытывать то, что раньше выражал этими словами. Были там и новые для меня слова, которые я с тех пор стал иногда употреблять. Я читал довольно путаную и сложную историю о довольно путаных и сложных людях. Мне показалось даже, что один из героев похож на меня. Речь там шла о... Да нет, не буду вас утомлять пересказом. Вы за свою жизнь прочли, видно, немало книг. А для меня эта была едва ли не первая. Пережил я, пожалуй, даже больше, чем надо, а вот читать не читал. И мне словно что-то открылось. Я читаю запоем! Вайдель рассказывал, как я уже говорил, о судьбах нескольких запутавшихся, прямо-таки сумасшедших людей. Почти все они были втянуты в какие-то скверные, непонятные дела, даже те, кто старался держаться в стороне. Так читать, нет – слушать, я умел, только когда был мальчишкой. Я вновь испытывал ту же радость, тот же страх. Лес был таким же дремучим, как в детстве, но это был уже лес для взрослых. Волк был таким же лютым, но волк этот обманывал больших детей. И я оказался во власти того стародавнего колдовства, которое в сказках превращает мальчиков в медведей, а девочек в лилии, – оно вновь пугало меня, когда я читал повесть Вайделя с ее жестокими превращениями. Все эти люди не раздражали меня ни своей усложненностью, как раздражали бы в жизни, ни тем, что они так глупо попадались на удочку и неумолимо шли навстречу своей злой судьбе. Я понимал каждого из них, потому что мог наконец проследить поступки людей во всей их последовательности, от зарождения мысли, желания, и вплоть до того момента, когда неизбежное свершалось. И потому только, что описал их Вайдель, они стали мне менее

отвратительны. Даже тот, с кем мы были похожи как две капли воды. Под пером Вайделя они сделались понятными и чистыми, словно уже искупили свою вину, словно прошли сквозь чистилище – сквозь очистительный огонь мысли покойного. И вдруг, примерно на трехсотой странице, все оборвалось. Так я Никогда и не узнаю конца... Немцы вошли в Париж. Писатель запаковал свои вещи – какое-то жалкое барахло и рукопись. И он бросил меня одного перед последним, недописанным листом. Меня вновь охватила безграничная тоска, смертельная скука. Почему он убил себя? Он не должен был оставлять меня одного. Он должен был дописать, эту историю до конца, тогда я мог бы читать ее до рассвета. Он должен был написать еще тысячи других историй, которые уберегли бы меня от беды... Если бы он успел познакомиться со мной, а не с этим болваном Паульхеном, впутавшим меня во все это. Я умолил бы его не губить себя, я сумел бы его надежно спрятать, я носил бы ему еду... Но теперь он мертв... На последнем листе рукописи напечатаны всего две строчки...

И вот, я снова один! Такой же несчастный, как и прежде... Весь следующий день прошел в поисках Пауля, но он словно сквозь землю провалился. Должно быть, с перепугу... А ведь погибший был его «сорайн» – его товарищ. Я вспомнил рассказ Пауля о парне, купившем на перекрестке автомобиль. Ну а сам Паульхен... Тоже хорош гусь!

Вечером я снова очень рано уполз в свою берлогу и снова взялся за рукопись. Однако на этот раз я пережил разочарование. Мне хотелось перечитать все сначала, но, к сожалению, у меня ничего не вышло. Накануне я слишком жадно впитал в себя эту историю. Я так же мало был расположен перечитывать повесть Вайделя, как пережить второй раз какое-нибудь приключение, заранее зная, чем оно кончится...

Итак, мне нечего было читать. Мертвый не воскреснет ради меня, повесть его осталась неоконченной, а я снова тосковал один в своей мансарде. Я принялся рыться в чемоданчике Вайделя и нашел там пару новых шелковых носков, два носовых платка и пакетик иностранных марок. У покойника явно была эта слабость. Что ж, тут ничего не скажешь... Еще я обнаружил изящный кожаный футлярчик с пилочками для ногтей, учебник испанского языка и пустой флакон из-под духов. Я отвинтил пробочку и понюхал – ничем не пахло. Покойник, видно, был чудак. Но он уже свое отчудил. Кроме этих вещей, я нашел в чемоданчике еще два письма.

Я их внимательно прочел. Поверьте, я сделал это не из пошлого любопытства. В первом письме кто-то сообщал Вайделю, что считает его новую повесть очень интересной, что это будет, видимо, лучшее из того,

что он написал за всю жизнь, но что, к сожалению, сейчас, во время войны, никто больше не печатает произведений такого рода. А в другом письме какая-то женщина, должно быть, его собственная жена, писала ему, чтобы он больше не ждал ее, что их совместной жизни пришел конец.

Я сунул оба письма назад в чемодан и подумал: «Никто уже не хотел печатать того, что он писал. И жена от него ушла. Он был совсем один. Мир рухнул. Немцы вступили в Париж. Для Вайделя это было слишком. И он покончил со всем». Я принялся чинить замки, которые взломал, открывая чемодан. Мне хотелось вновь закрыть его. Что мне с ним делать дальше? Почти дописанная повесть! Бросить в Сену с моста д'Альма? Нет, уж легче утопить ребенка... И тут я вдруг вспомнил – скажу вам сразу, это и решило мою судьбу – о письме, которое дал мне Паульхен. Почему-то до той минуты я ни разу не вспомнил об этом письме, словно чемодан попал ко мне волею providения. Быть может, письмо укажет мне, куда я должен все это отнести.

В конверте лежало два письма. Одно из них оказалось уведомлением мексиканского консульства в Марселе, в котором сообщалось, что в консульстве его ждут виза и деньги на дорогу. Затем шел перечень каких-то данных – имен, цифр, названий комитетов. Их я тогда читать не стал.

Второе письмо было от той самой женщины, которая бросила Вайделя. Тот же почерк. Только теперь, когда я сравнил письмо, найденное в чемоданчике с этим, я обратил внимание на почерк. Узкий, аккуратный почерк, совсем детский. Вернее, ясный, а не аккуратный. Она умоляла Вайделя приехать в Марсель. Им необходимо вновь встретиться, немедленно встретиться. Как только он получит это письмо, пусть, не теряя ни минуты, любым способом приедет к ней. Они должны быть вместе. Конечно, уйдет немало времени, прежде чем им удастся выехать из этой проклятой страны. И визы могут оказаться просроченными. Но главное – визы уже есть, и за проезд тоже уплачено. Загвоздка в том, что ни один пароход не идет прямо к месту назначения. Придется ехать через порты других стран. Для этого надо иметь транзитные визы. Получить их очень трудно, и на это нужно много времени. Если сейчас же не приняться вдвоем за хлопоты, поездка может сорваться. Пока же реально есть только визы в Мексику, но ведь и они выданы на определенный срок. Теперь все дело в транзите...

Письмо показалось мне каким-то путанным. Что ей вдруг понадобилось от человека, которого она навсегда бросила? Уехать с ним?... Хотя она ни за что на свете не хотела больше с ним жить? Мне вдруг почудилось, что Вайдель сумел избежать новых мучений, какой-то новой путаницы. Когда я

перечел еще раз это письмо – всю эту мешанину из заклинаний приехать в Марсель, сведений о транзитных визах, адресов консульств и дат отправления пароходов, – мне показалось, что Вайдель укрылся в надежном месте и достиг наконец полного покоя. Во всяком случае, я теперь знал, что мне делать с чемоданчиком. На следующий день я спросил у полицейского, где находится мексиканское посольство. Посольство перешлет бумаги и вещи Вайделя в марсельское консульство, а там их передадут жене покойного. Так по крайней мере я представлял себе дальнейшие события. Полицейский – обычный парижский полицейский, регулировщик уличного движения на площади Клиши – пристально взглянул на меня. Должно быть, у него впервые спрашивали адрес мексиканского посольства. Он полистал красный справочник, в котором, видимо, были адреса всех посольств, затем еще раз взглянул на меня, стараясь понять, что у меня может быть общего с Мексикой» Да и меня самого, забавлял мой вопрос. Ведь есть страны, с которыми ты сроднился еще мальчишкой, хотя никогда их не видел. Они волнуют бог знает почему. Какая-то видовая открытка, голубая змейка реки в атласе, необычно звучащее название, почтовая марка. Но с Мексикой меня действительно ничто не связывало. Ничто меня там не привлекало. Я никогда ничего не читал об этой стране, потому что даже в детстве читал неохотно. И не слышал ничего такого, что бы запомнилось. Я знал только, что там есть нефть, кактусы и огромные соломенные шляпы. В общем, какой бы ни была Мексика, она интересовала меня не больше, чем покойного Вайделя.

Я вышел с чемоданчиком в руках из метро на площади д'Альма и направился на улицу Лонген. «Красивый район», – подумал я. Большинство домов было заколочено, улицы пустынные. Ведь все богатые люди уехали на юг. Они вовремя удрали из Парижа, так и не понюхав войны, которая сжигала их страну. Как мягки, были очертания Медонских холмов на том берегу Сены! Как сине было небо! Тяжелые немецкие грузовики непрерывным потоком катились по набережной. Впервые с того дня, как я оказался в Париже, я вдруг подумал: «Чего я здесь, собственно говоря, жду?» Проспект Вильсона был засыпан опавшими листьями. Во всем уже чувствовалась осень, хотя август только начался. Лето у меня украли.

Мексиканское посольство находилось в маленьком особняке, выкрашенном светлой краской; он живописно стоял в глубине окаймленного зеленью, аккуратно вымощенного двора. Такие дворы бывают, наверно, в Мексике. Я позвонил в ворота. Их единственное высокое окошечко было наглухо закрыто. Над дверью особняка висел герб, и, хотя этот герб был совсем новый, я не мог толком разобрать, что на нем

изображено. Я различал только орла, восседавшего на кактусе. Сперва мне показалось, что этот дом тоже необитаем. Но когда я для очистки совести позвонил во второй раз, дверь особняка открылась, на лестнице показался грузный человек и мрачно уставился на меня своим единственным глазом – другая глазница была у него пуста. Это был первый мексиканец, которого мне довелось увидеть. Я с любопытством разглядывал его. На мой вопрос он только пожал плечами. Он всего-навсего сторож, посольство находится теперь в Виши, и посол еще не вернулся а Париж, а телеграфная связь с Виши прервана. Сказав все это, сторож удалился. Я представил себе, что все мексиканцы такие, как он, – широкоплечие, молчаливые, одноглазые. Народ циклопов. Я размечтался о том, что хорошо бы знать все народы мира. И мне стало жалко Вайделя, хотя до сих пор я ему завидовал.

Всю следующую неделю я почти ежедневно ходил с чемоданчиком в мексиканское посольство. Одноглазый всякий раз кивал мне с лестницы. Должно быть, я казался ему сумасшедшим. Почему я был так упорен? Из чувства долга? От скуки? Или потому, что меня манил этот особняк? Однажды утром я увидел у его ворот автомобиль. Быть может, вернулся посол. Словно ошалев, я бросился к звонку. Мой циклоп, как обычно, появился на лестнице, но на этот раз он гневно крикнул мне, чтобы я убирался прочь, – звонок тут повесили не для меня. Я в нерешительности стал ходить взад и вперед по улице.

Когда я в очередной раз повернул назад, чтобы идти по направлению к посольству, я застыл от изумления. Машина по-прежнему стояла перед посольством, а у ворот собралась огромная толпа. Все эти люди сбежались сюда за три минуты, пока я шел от особняка до угла. Не знаю, силой какого притяжения они вдруг оказались здесь, какими мистическими путями узнали о появлении посольской машины – ведь трудно допустить, чтобы вся эта орава жила в этом районе. Как смогли они все в один миг слететься сюда? Это были испанцы, мужчины и женщины, скрывавшиеся во всевозможных потайных уголках города, как я скрывался в своем, и бежавшие, наверно, от фашистов, как бежал и я. Теперь и их настигла свастика. Я задал несколько вопросов и узнал, что приманило сюда этих людей: слух, надежда, что эта заморская страна приютит у себя всех испанских республиканцев. В Бордо будто бы стоят пароходы, и они находятся под мощной защитой. Даже немцы бессильны задержать их. Но старый, высохший, изжелта-бледный испанец, сказал с горечью, что все это, к сожалению, вздор. Визы Мексика дает, это правда, ведь там теперь народное правительство, но увы, немцы не разрешают ехать в неоккупированную зону. Более того, фашисты хватают и здесь и в

Брюсселе испанских эмигрантов и выдают их Франко. Другой испанец, молодой, с круглыми черными глазами, стал уверять, что готовые к отплытию пароходы ждут не в Бордо, а в Марселе; он знал даже их названия: «Республика», «Эсперанса» и «Пасионария».

В этот момент на лестнице показался мой циклоп. Я был ошеломлен: он улыбался. Значит, он только со мной был таким угрюмым, словно я какой-то авантюрист. Каждому он выдал бумажку и ласковым голосом терпеливо объяснил, что на ней нужно написать свое имя и фамилию, чтобы посол смог принять всех по очереди. Мне он тоже протянул такую бумажку, но молча, с гневным взглядом. Если бы я дал тогда себя запугать! На моей бумажке было указано время, когда меня примет посол. Не знаю почему, но я написал ту фамилию, которую назвал хозяйке отеля, где Вайдель покончил с собой. Мое настоящее имя в этой игре не участвовало.

Мне назначили прийти в следующий понедельник. К концу недели в Париже произошло несколько событий, последствия которых коснулись и меня. В Клиши, как и повсюду, немцы расклеили плакаты, на которых был изображен немецкий солдат, помогающий французской женщине и заботящийся о детях. В первую же ночь эти плакаты сорвали. В ответ последовали аресты. Тогда антифашистские листовки посыпались дождем. Во Франции такие небольшие листовки называют «бабочками». Лучший друг младшего Бинне был причастен к этому делу, и старики Бинне испугались за своих сыновей. Их племянник Мишель предложил всем уехать на некоторое время в неоккупированную зону. Оба сына Бинне, друг, замешанный в истории с листовками, и Мишель решили вместе двинуться в путь. Их приготовления к отъезду заразили и меня. Мне вдруг совсем расхотелось скрываться в Париже. Неоккупированная зона Представлялась мне необъятной территорией, на которой царит хаос. И я думал, что во всей этой неразберихе такому человеку, как я, легко затеряться. И даже если на первых порах моя жизнь будет состоять из сплошных скитаний, то лучше скитаться по красивым городам, по незнакомым местам. Мое намерение присоединиться к отъезжающим семья Бинне приветствовалась.

Утром накануне нашего отъезда я еще раз отправился с чемоданчиком Вайделя в мексиканское посольство. На сей раз благодаря бумажке меня впустили. Я оказался в прохладной круглой комнате, которая вполне соответствовала необычной архитектуре особняка. Кто-то выкликнул мое вымышленное имя. Его трижды повторили, прежде чем я сообразил, что это относится ко мне. Поэтому циклоп проводил меня в кабинет неохотно и, как мне показалось, с явным недоверием.

Я не знал, кто был тот толстенький человек, который меня принял. Сам

ли посол, или советник, исполняющий обязанности посла, или секретарь этого советника, или чиновник, исполняющий обязанности секретаря... Я сунул ему *под* нос чемоданчик. При этом я вполне правдиво объяснил, что он принадлежал человеку, который покончил с собой, что человек этот имел визу на въезд в Мексику и что теперь необходимо переслать содержимое этого чемоданчика жене покойного. Я не успел даже назвать имени Вайделя – мексиканец тут же прервал мой рассказ, который пришелся ему явно не по вкусу.

– Извините меня, мосье, – резко сказал он, – но даже в мирное время я едва ли смог бы вам помочь. А тем более теперь, когда прервана почтовая связь. Не можете же вы требовать, чтобы мы сунули вещи этого самоубийцы в портфель дипкурьера только на том основании, что мое правительство в свое время выдало ему визу. Извините меня, но вы должны принять во внимание тот факт, что я вице-консул, а не нотариус. Быть может, этот господин успел при жизни получить и другие визы, например уругвайскую, чилийскую или мало ли еще какую. Вы можете с тем же основанием обратиться к моим коллегам. Впрочем, вы получите тот же ответ. Это вы должны понять...

Я был вынужден согласиться с вице-консулом и ушел в смущении. Перед посольством толпилось еще больше народу, чем в прошлый раз. Сотни людей не сводили горящих глаз с ворот. Для собравшихся здесь мужчин и женщин это посольство было вовсе не учреждением, а виза – не канцелярской бумажкой. В своем одиночестве – таком же безграничном, как их доверчивость, – они принимали посольский особняк за страну, в которую стремились уехать. А сама страна представлялась им в виде огромного особняка, где живет народ, пригласивший их к себе. Вот и дверь в этот особняк, четко выделяющаяся на желтой стене. Казалось, стоит переступить порог, и ты уже в гостях.

Когда я пробирался назад сквозь толпу, в моей душе встрепенулось все живое, все, что способно надеяться и страдать вместе с другими, людьми; та же часть моего «я», которая находила гордое наслаждение в одиночестве, а чужие страдания, как, впрочем, и свои, считала всего лишь приключениями, смирилась и затихла.

Я решил сам воспользоваться вайделевским чемоданчиком, так как мой рюкзак разорвался. Бумаги покойного я оставил на дне, а сверху уложил свое барахлишко. Быть может, я и сам когда-нибудь попаду в Марсель.

Нам надо было перейти демаркационную линию без немецкого пропуска. Несколько дней мы, в нерешительности околачивались в

пограничных селениях. Они кишмя кишели немецкими солдатами. Наконец в одном трактире мы нашли крестьянина, у которого была земля в неоккупированной зоне. В сумерках он провел нас через табачную плантацию. Мы обняли его и щедро одарили. Мы расцеловали первого попавшегося нам французского часового. Мы были взволнованы и чувствовали себя на свободе. Мне незачем говорить вам, что это чувство нас обмануло.

## **Глава вторая**

Вы ведь сами знаете, как выглядела неоккупированная Франция осенью 1940 года. Вокзалы, всевозможные приюты, городские площади и даже церкви были, забиты беженцами с севера, из оккупированных областей и из «запретной зоны», из Эльзаса, из Лотарингии и из департамента Мозель остатками того страшного потока беженцев с которым я повстречался, когда шел в Париж. А ведь уже тогда мне казалось, что я вижу лишь остатки. Многие за это время умерли в дороге, прямо в вагонах, но я не учел, что многие и родились. Когда на вокзале в Тулузе я искал место, чтобы прилечь, я перешагнул через женщину, которая, устроившись на полу между чемоданами, узлами и составленными в пирамиды винтовками, давала грудь крошечному ребенку со сморщенным личиком. Каким, однако, постаревшим выглядел мир в этот год! Младенец походил на старичка, седыми были волосы кормящей матери, а старообразные лица двух мальчишек постарше, выглядывавших из-за ее плеча, показались мне дерзкими и печальными. Старчески мудрым был взгляд этих ребят, так рано познавших и таинство смерти, и таинство рождения.

Все поезда были битком набиты французскими солдатами в потрепанной форме, они в открытую на чем свет стоит ругали своих начальников. С проклятиями ехали они согласно своим предписаниям, – но все же ехали, – черт знает куда, чтобы охранять в неоккупированной части страны концентрационный лагерь или границу, которую завтра, безусловно, изменят, или даже чтобы отправиться в Африку, потому что там комендант какого-то маленького порта твердо решил покончить с немцами; но этого коменданта, скорее всего, снимут еще до того, как солдаты успеют добраться до места назначения. И все же они ехали, – возможно, потому, что эти бессмысленные предписания были хоть чем-то определенным, являлись эрзацем патетичных приказов, великих слов, загубленной «Марсельезы». Однажды к нам посадили обрубок – голова да туловище. Вместо рук и ног по сторонам болтались пустые рукава мундира да пустые штанины. Мы устроили его между собой и сунули ему в рот сигарету – ведь рук-то у него не было. Он скривил губы, недовольно пробурчал что-то и вдруг зарыдал:

– Если бы я только знал, ради чего!

Мы сами готовы были зареветь вместе с ним.

Мы бессмысленно кружили по неоккупированной территории, ночуя то в приютах для беженцев, то прямо в поле, перебирались с места на место, – когда на грузовиках, когда поездом, нигде не находя себе пристанища, не говоря уже о работе, и постепенно все дальше продвигались на юг. Пересекли Луару, потом Гаронну и добрались наконец до берегов Роны. Старинные красивые города были забиты бездомными, одичалыми людьми. Повсюду я видел хаос, но совсем не такой, на какой надеялся. Как в средневековье, каждый городок устанавливал свои особые порядки, местные власти хозяйничали как хотели. Озверевшие чиновники, словно живодееры, рыскали по улицам, вылавливая из толпы «подозрительных» беженцев. Их арестовывали, бросали в городские тюрьмы и отправляли в лагеря, если они вовремя не вносили выкупа или не находили изворотливого адвоката, который чаще всего делил свой непомерно большой гонорар с теми же живодеерами.

Поэтому все приезжие, особенно иностранцы, заботились об исправности своих документов с не меньшим рвением, тем о спасении души. Меня удивляло, как среди всеобщей разрухи местные власти изобретали все более и более длительные и сложные процедуры для штемлелевки людей, над чувствами которых они давно уже утратили всякую власть. С тем же успехом можно было во время великого переселения народов регистрировать каждого вандала, каждого гота, каждого гунна, каждого лангобарда.

Благодаря ловкости моих товарищей я много раз благополучно уходил от живодееров. Ведь у меня вообще не было никаких документов. Я бежал из лагеря, а мои бумаги остались там в комендантском бараке. Я мог бы предположить, что они уже давно сгорели, если бы не убедился на опыте, что бумага горит куда хуже, нежели металл или камень. Как-то раз в одном трактире у нас потребовали документы. У моих четырех друзей были французские удостоверения личности, составленные по всей форме, хотя старший Бинне вовсе не был демобилизован. Приставший к нам живодеер был пьян и не заметил, как Мишель, едва у него проверили документы, протянул мне под столом свое удостоверение. Вслед за тем этот же чиновник вывел из трактира очень красивую девушку, несмотря на проклятия и вопли ее теток и дядей, евреев, бежавших из Бельгии, которые взяли ее с собой под видом своей дочери. Преданности у них было хоть отбавляй, но вот документов не хватало. Девушку, видимо, ожидал какой-нибудь женский лагерь где-нибудь в Пиренеях. Мне она запомнилась, потому что была красива. Я не мог забыть выражения ее лица в тот момент, когда, оторвав от родственников, ее выводили из зала. Я спросил у своих

друзей, что произошло бы, если бы один из них заявил, что готов сию минуту жениться на этой девушке. Хотя все они, за исключением старшего Бинне, были несовершеннолетние, между ними разгорелся такой горячий спор о том, кому из них жениться на этой девушке, что дело едва не кончилось дракой. Мы все тогда уже изнемогали от усталости. К тому же моим друзьям было стыдно за свою родину. Если ты здоров и молод, то от поражения легко оправиться, но измена парализует. Следующей ночью мы признались друг другу, что тоскуем по Парижу. Там мы столкнулись лицом к лицу с жестоким, ужасным врагом, и нам казалось, что этого нельзя вынести. Но тут мы поняли, что этот явный враг был все же лучше, чем невидимое таинственное зло – все эти слухи, все это взяточничество, весь этот обман.

Жизнь превратилась в непрекращающееся бегство, все стало преходящим, но мы еще не знали, как долго продлится это состояние – сутки, несколько недель или несколько лет, а быть может, до самой смерти.

Мы приняли решение, которое показалось нам очень разумным. Мы установили по карте наше местонахождение. Выяснилось, что мы были недалеко от той деревни, где теперь жила изменившая мне Ивонна. Мы тут же отправились в путь и через неделю прибыли на место.

## II

В деревне, где жила Ивонна, было уже много беженцев. Некоторых из них направили в качестве работников на ферму ее мужа. Но в остальном там шла еще обычная крестьянская жизнь. Ивонна ждала ребенка. Было видно, что она очень гордится своим новым состоянием, но все же она казалась слегка смущенной, когда представляла меня своему мужу. Узнав, что у меня нет никаких документов, она в тот же вечер послала мужа, который теперь исполнял обязанности мэра, в кабачок «Золотая лоза» и велела ему выпить там как следует со своими друзьями, в том числе и с председателем объединения беженцев из коммуны Энь-сюр-Анж. Домой муж вернулся после полуночи, с желтой бумажкой. Это было свидетельство, которое выдавали беженцам. Должно быть, его прежний владелец вернул его объединению, после того как выхлопотал себе более солидный документ. Человека этого звали Зайдлер, а удостоверение, которое он, видимо, считал негодным, показалось мне великолепным. Как явствовало из документа, этот Зайдлер переехал в Эльзас после присоединения Саарской области к Германии. Муж Ивонны поставил на удостоверение еще одну печать. Затем мы отыскивали в школьном атласе деревню, где прежде проживал Зайдлер. Судя по ее местоположению, она, на мое счастье, по-видимому, сгорела вместе со списками жителей. Муж Ивонны добился даже того, что в главном городе департамента мне выдали немного денег – что-то вроде пособия для беженцев, на которое, как он считал, я имел теперь все права, поскольку бумаги мои оказались в полной исправности.

Я понял, что Ивонна взялась за все это так энергично, чтобы поскорее от меня избавиться. Тем временем мои товарищи списались со своими родными, которые были рассеяны по неоккупированной зоне. Мишель разыскал своего дядю, у которого была ферма и персиковый сад где-то на берегу моря. Младший Бинне рассчитывал вместе со своим лучшим другом остаться у сестры. Я же, как бывший, возлюбленный Ивонны, оказался там лишним. Но Ивонна: снова позаботилась обо мне. Она вспомнила о своем кузене Жорже. Прежде он работал на фабрике в Невере, затем вместе с фабрикой эвакуировался на юг и неизвестно почему застрял в Марселе. Жорж писал, что устроился неплохо что живет с уроженкой Мадагаскара, которая тоже кое-что зарабатывает. Мишель, в свою очередь, обещал позаботиться о том, чтобы я смог поскорее приехать к нему на ферму. Пока

же друзья советовали мне пожить в Марселе. Кузен Ивонны поможет мне на первых порах. Короче говоря, я цеплялся за семью Бинне, как ребенок, который, потеряв родную мать, цепляется за юбку чужой женщины. Конечно, эта женщина никогда не станет ему матерью, но от нее исходит какая-то доброта.

Мне всегда хотелось побывать в Марселе. Кроме того, я соскучился по большому городу. А вообще говоря, мне на все было наплевать.

– Мы распрощались. Нам с Мишелем было пока еще по пути. В толпе солдат, беженцев, демобилизованных, которыми были забиты поезда и дороги, я все время невольно искал знакомое лицо, кого-нибудь, кто был хоть как-то связан с моей прошлой жизнью. Как был бы я счастлив, если бы вдруг, откуда ни возьмись, появился Франц, с которым я бежал из лагеря, а тем более – Гейнц. Как только я замечал человека на костылях, у меня появлялась надежда, что я увижу сейчас его высохшее лицо с чуть перекошенным ртом и светлыми глазами, в которых всегда таилась насмешка над собственной беспомощностью. С тех пор как я убежал из лагеря, я что-то утратил. Я даже не знал в точности, что именно. И почти не жалел о том, что утрачено, настолько все это отдалилось от меня в сумятице последних недель. Но я знал – стоит мне встретить хоть одного из моих старых товарищей, и я сразу вспомню, что именно я утратил.

Я был и остался один. Мишель распростился со мной, и я поехал в Марсель.

### III

Дорогой я узнал, что на марсельском вокзале шныряют весьма ловкие сыщики и ни одному. Из вновь прибывших не миновать их сетей. Нельзя сказать, что я испытывал безграничное доверие к тому удостоверению, которое мне добыла Ивонна. За два часа до Марселя я слез с поезда и пересел в автобус. Из автобуса я тоже вышел, не доезжая до города, в какой-то деревушке в горах.

Итак, в Марсель я спустился с гор. На одном из поворотов дороги, далеко внизу между холмами, блеснуло море. Несколько позже я увидел и город, раскинувшийся на берегу. Он показался мне голым и белым, как африканские города. И я успокоился. Полный покой снизошел на меня, как всегда бывает со мной, когда мне что-нибудь очень нравится. Мне даже на миг почудилось, что я достиг цели. «В этом городе, – думал я, – мне удастся наконец найти все то, что ищу, все то, что всегда искал». Сколько раз еще меня будет обманывать это чувство, когда я буду входить в незнакомые города!

На окраине, на конечной остановке, я сел в трамвай и беспрепятственно доехал до центра. Двадцать минут спустя я уже шел медленным шагом по улице Каннебьер с чемоданчиком в руке. Обычно вид улиц, о которых много слышал заранее, разочаровывает, но я – я не был разочарован. Я шел, затерявшись в толпе, вниз по Каннебьер. Сильный ветер гнал тучи, солнце то и дело сменялось дождем. Та легкость, которую я чувствовал в своем теле от голода и усталости, вдруг превратилась в какую-то изумительную, сказочную невесомость, словно созданную для здешнего ветра, который все быстрее и быстрее гнал меня вниз по улице. Когда я понял, что искрящаяся синь в конце Каннебьер – это море у Старой гавани, я почувствовал наконец, после стольких дней бессмыслицы и бедствий, единственное настоящее счастье, ежеминутно доступное каждому человеку, – счастье жить.

Последние месяцы я часто спрашивал себя, куда несется весь этот поток – люди, бежавшие из концентрационных лагерей, разбредшиеся солдаты, наемники разных стран, насильники всех рас, дезертиры всех армий? Так, значит, он стекал сюда, в эту канаву, – на улицу Каннебьер, а отсюда в море, где для всех находились и место, и покой.

Зажав чемоданчик между ногами, я стоя выпил кофе в закускойной. Вокруг я слышал разноязыкую, непонятную речь, словно стойка, у которой

пил, находилась между двумя опорами Вавилонской башни. Но некоторые слова лезли мне в уши, и наконец я их разобрал. Они повторялись много раз, в каком-то определенном ритме, словно должны были врезаться мне в память: виза на Кубу и Мартинику, Оран и Португалия, Сиам и Касабланка, транзитная виза, оккупированная зона.

Я благополучно добрался до Старой гавани – день уже клонился к вечеру, как и теперь. Гавань была почти совсем заброшена из-за войны. Как и теперь, паром медленно скользил под железнодорожным мостом. Но сегодня мне показалось, что я все это вижу впервые. Как и теперь, реи рыбацких баркасов перечеркивали гладкие фасады старинных домов, теснящихся на той стороне залива. Солнце заходило за фортом св. Николая. Я подумал, как думают только очень молодые люди, что события последних лет привели Меня в конечном счете сюда. И поэтому все происшедшее со мной показалось мне благом. Я спросил, как пройти на улицу Шевалье Ру. Там жил кузен Ивонны, Жорж Бинне. На уличных базарах толпились люди. В узких улочках, похожих на ущелья, уже сгустились сумерки, и от этого еще ярче пылали багрянцем и золотом фрукты на лотках. И я услышал аромат, которого прежде никогда не знал. Я искал глазами фрукт, от которого он исходил, но так и не нашел. Я присел отдохнуть на край фонтана в корсиканском квартале, положив чемодан к себе на колени. Затем я поднялся по каменным ступеням, не зная еще, куда они ведут.

У моих ног лежало море. Лучи прожекторов, установленных в порту и на островах, были еще размыты сумерками. Как я ненавидел море, когда работал в доках! Оно казалось мне жестоким в своей бесчеловечной наготе. Но теперь, после того как я мучительно долго пробирался сюда сквозь всю разгромленную, загаженную страну, для меня не могло быть большего утешения, чем глядеть на эту пустынную, безлюдную, девственно чистую морскую равнину.

Я Спустился назад, в корсиканский квартал. Там теперь стало тише, рыночные лотки убрали. Я отыскал улицу Шевалье Ру. Ударил бронзовым молотком, вернее, бронзовой рукой со сжатым кулаком в красную резную дверь. Высунулся какой-то негр и спросил, что мне надо. Я сказал, что ищу Жоржа Бинне.

Искусная резьба перил, остатки мозаичных плит и полустертый герб на стене говорили о том, что этот дом некогда принадлежал богатому человеку – купцу или мореплавателю. Теперь здесь жили мальгаши, несколько корсиканцев и Жорж Бинне.

Я с любопытством разглядывал возлюбленную Бинне. Она показалась

мне необычайно красивой, хотя и чересчур экзотичной. У нее была головка черной дикой птицы – орлиный нос, искрящиеся глаза и нежная, хрупкая шея. Узкие бедра, длинные гибкие руки, даже пальцы ног, видневшиеся сквозь легкие сандалии, были так подвижны, как могут быть подвижны только черты человеческого лица, где гнев, радость и печаль мгновенно сменяют друг друга, словно гонимые порывами ветра.

Я спросил Бинне. Она сухо ответила, что Жорж работает в ночной смене на мельнице, а сама она только что пришла с сахарного завода. Затем она отвернулась от меня и зевнула. Я был обескуражен.

На лестнице мне повстречался тоненький черноволосый мальчик, который поднимался, перескакивая через несколько ступенек. Он обернулся как раз в тот момент, когда я тоже оглянулся, чтобы снова посмотреть на него. Я хотел проверить, передалось ли этому мальчику мое возбуждение.

А он, должно быть, хотел убедиться, в самом ли деле я совершенно чужой человек, неожиданный пришелец. Затем я услышал, как подруга Бинне, которая в нерешительности все еще стояла в дверях, думая, не лучше ли вернуть меня и попросить подождать (она потом мне в этом призналась), принялась ругать своего сына за опоздание. Вы позднее поймете, почему я все это так подробно рассказываю. Тогда же я решил, что визит мой не удался. Предстоящий вечер был пуст. А я-то вообразил, что город уже открыл мне свое сердце, как я ему – свое, что он приютит меня в первую же ночь, что его жители дадут мне кров. Радость, охватившая меня при виде Марсея, сменилась глубоким разочарованием. Видимо, Ивонна ничего не написала своему кузену, она солгала, чтобы поскорей от меня избавиться. К тому же у меня екнуло сердце, когда я услышал, что Жорж ушел в ночную смену. Значит, были еще люди, которые жили обычной жизнью.

## IV

Мне снова пришлось искать ночлег. Я обежал с десятков отелей, но номеров нигде не было. Я устал как собака и зашел в первое попавшееся захудалое кафе на маленькой тихой площади. Сел за столик, стоявший на тротуаре. Город был затемнен – боялись, бомбежки. Но все же во многих окнах горел слабый свет. Я подумал о том, что десятка тысяч марсельцев считают этот город родным и спокойно живут в нем, как и я когда-то жил в своем городе. Я поглядел на звезды и утешился, сам не знаю почему, мыслью о том, что звезды эти светят скорее для меня и мне подобных, чем для тех, кто сейчас зажигает свет у себя дома.

Я заказал пива. Я бы охотно посидел в одиночестве, но ко мне за столик подсел сухонький старичок. На нем был такой старомодный сюртук, что можно было только удивляться, как он еще не превратился в лохмотья. Это, безусловно, и произошло бы, не попади он волею случая к владельцу, который педантичным уходом и достойной удивления аккуратностью не дал ему погибнуть. Старичок был под стать своему сюртуку. Ему бы давно пора лежать в могиле, однако лицо его поражало волевым, серьезным выражением. Редкие волосы были тщательно расчесаны на пробор, а ногти старательно подстрижены. Бросив взгляд на мой чемоданчик, он спросил меня, в какую страну у меня виза. Заметьте, он не спросил, куда я хочу ехать, а куда у меня виза. Я ответил, что у меня не только нет никакой визы, но и никакого намерения ее побывать – я собираюсь здесь остаться.

– Вы не можете остаться здесь без визы! – воскликнул старик.

Я не понял его возгласа. Из вежливости я спросил, что он сам собирается предпринять. Он рассказал мне, что он дирижер и прежде жил в Праге, а теперь получил приглашение возглавить знаменитый оркестр в Каракасе. Я спросил его, где находится этот город. Усмехнувшись, он ответил, что это главный город Венесуэлы. Я поинтересовался, есть ли у него дети. Он сказал, что и есть и нет: старший сын пропал без вести в Польше, второй – в Англии, третий – в Праге. Но разыскивать их он больше не может, не успеет... Я подумал, что старик говорит о своей смерти, но, как выяснилось, он имел в виду место дирижера, которое он должен был занять с нового года. У него уже был контракт, благодаря которому он смог получить и визу в Венесуэлу, и даже все транзитные визы, но оформление визы на выезд из Франции длилось так долго, что он просрочил сначала транзитные визы, затем визу в Венесуэлу, а затем и

контракт. Неделю назад он получил наконец вождеденную визу на выезд и теперь ждет не дождется продления контракта, так как от этого зависит получение новой визы в Венесуэлу, а без нее нечего даже и пытаться вновь хлопотать о транзитных низах. Ничего толком не поняв, я в растерянности спросил:

– Пойдите, а что это такое – «виза на выезд»?

Старик взглянул на меня с искренним восхищением: я был еще не искушенным новичком. И он пустился в весьма пространные разъяснения, с радостью ухватившись за эту возможность как-то скоротать долгие минуты одиночества.

– Виза на выезд – это разрешение покинуть Францию. Неужели вас еще до сих пор никто не просветил, несчастный молодой человек? – спросил он.

– Не понимаю, какой смысл властям задерживать здесь людей, только и мечтающих поскорее покинуть страну? Ведь их посадят в концлагерь, если они останутся?

В ответ старик так расхохотался, что у него заскрипели челюсти. Мне показалось, что скрипит и сотрясается весь его скелет. Костяшками пальцев старик постукивал по столу. Признаюсь, он был мне противен, но я не ушел. В жизни блудных сыновей бывают минуты, когда они переходят на сторону отцов. Пусть даже чужих отцов.

– Вы ведь знаете, сын мой, – сказал он, – Что истинными хозяевами сейчас являются немцы. А так как вы сами, по-видимому, принадлежите к этому народу, то вам также известно, что значит немецкий порядок, нацистский порядок, который теперь повсюду прославляется. Он не имеет ничего общего со старым миропорядком. Новый порядок – это своего рода контроль, проверка. Немцы не упускают случая проверить людей, покидающих Европу. Быть может, таким путем они найдут какого-нибудь возмутителя спокойствия, которого искали долгие годы.

– Ну хорошо, допустим... Но если вас уже проверили если вам уже оформили визу, то зачем нужны еще эти транзитные визы и почему их срок так быстро истекает? Да и вообще, что это за штука транзитная виза? Почему не разрешить людям уехать в те страны, где они намерены обосноваться?

– Да ведь каждое правительство боится, сын мой, что мы намерены навсегда остаться в его стране. Транзитная виза – это разрешение на проезд, которое выдается только в том случае, если власти убеждаются, что человек действительно не собирается задержаться в стране...

Старик вдруг преобразился. Он заговорил совсем другим,

торжественным тоном, каким отцы напутствуют сыновей, когда те навсегда покидают отчий дом:

– Молодой человек, вы приехали сюда почти без багажа, один, не имея перед собой никакой определенной цели, и у вас нет визы. Более того, вы даже не знаете, что сам префект не может вам разрешить проживать в Марселе без визы. Ну, предположим, что по какому-нибудь счастливому стечению обстоятельств или благодаря собственным хлопотам – это, конечно, случается редко, но все же случается – вы получите визу. Быть может, вам протянет, как говорится, руку помощи какой-нибудь неизвестный друг, ну, скажем, из-за океана, когда вы этого меньше всего ожидаете, быть может, это произойдет волею провидения, быть может, с помощью какого-нибудь комитета... Итак, предположим, вы получите визу и в первую минуту почувствуете себя счастливым... Но скоро, очень скоро вы заметите, что, собственно говоря, ничто не сдвинулось с места. Правда, у вас появилась цель, но этого еще мало. В конце концов у каждого есть цель. Не можете же вы только силою своего желания прямо по стратосфере перенестись в нужную вам страну. Вам придется долго плавать по морям, пересечь целый ряд государств. Вам нужны транзитные визы. Вот для этого-то потребуется много изобретательности и еще больше времени... Вы даже не представляете себе, сколько времени!.. А мне ведь надо торопиться... Вот гляжу я на вас, и мне кажется, что для вас время еще дороже; вы – сама молодость. Вам нельзя разбрасываться, вы должны думать только об одном – о транзите! Вы должны, если позволительно так выразиться, пока начисто забыть о своей главной цели и заняться теми странами, через которые вам предстоит проехать, иначе вы не сдвинетесь с места. Сейчас для вас главное – объяснить консулам всех государств, что у вас серьезные намерения, что вы нимало не похожи на тех людей, которые так и норовят застрять где-нибудь в пути. И в подтверждение этого вы должны привести веские доказательства. Каждый консул потребует их от вас. Предположим теперь, что произойдет такой счастливый случай, по сути дела – чудо, если учесть, сколько людей хотят уехать и как мало отплывает пароходов, предположим, вы получите билет на пароход и ваш отъезд будет обеспечен. Будь вы евреем, это могло бы произойти при содействии еврейских организаций, но вы не еврей. Если вы ариец – можете обратиться в «Христианскую помощь». Если вы никто – ну, безбожник там или красный, – тогда вас могут поддержать ваша партия, ваши единомышленники. Короче, так или иначе, но вам удастся попасть на пароход. Не думайте, однако, сын мой, что этим билетом решаются все проблемы транзита. Даже если ваш проезд будет обеспечен, на все эти

хлопоты уйдет столько времени, что вы не сумеете уже осуществить своей главной задачи, – виза на въезд в страну окажется просроченной. Конечно, транзитные визы были необходимы, но с ними одними далеко не уедешь... и так далее, и так далее, и так далее...

Теперь представь себе, сын мой, что ты добился всего. Давай помечтаем вместе! Итак, ты добился всего. У тебя есть виза на въезд, транзитные визы, разрешение на выезд. Ты готов отправиться в путь. Ты попрощался с самыми дорогими тебе людьми. Ты обрубил все связи с прошлым. Ты думаешь теперь только о своей цели. Ты хочешь наконец подняться на борт парохода... Я разговаривал вчера с одним молодым человеком, твоим ровесником. У него были в порядке все документы, и все же перед посадкой на пароход портовый чиновник отказался поставить ему последнюю, необходимую печать.

– Почему?

– Он бежал из лагеря, когда подошли немцы, – сказал старик, вдруг опять перейдя на свой прежний, усталый тон. Он не то чтобы поддался отчаянию – для этого он держался чересчур бодро, но как-то весь сник. – У него не было справки, что его отпустили из лагеря, и поэтому все его усилия пропали даром.

Я насторожился. Во всем этом диком нагромождении непонятных и ненужных мне наставлений только последние слова задели меня за живое. До сих пор я и понятия не имел, что для отъезда необходима какая-то печать Управления порта. Да, тому молодому человеку можно было только посочувствовать! Но все же он сам был виноват – он оказался недостаточно предусмотрительным. Я бы не споткнулся на последней печати – я стреляный воробей! Но и ни за что на свете не уехал бы из Марсея.

– К счастью, меня все это нисколько не касается. У меня только одна мечта: пожить здесь некоторое время спокойно.

– Как вы заблуждаетесь! – воскликнул старик. – Ведь я вам повторяю в третий раз: вам дадут пожить здесь некоторое время спокойно только в случае, если вы докажете, что намерены уехать. Неужели вы этого не поняли?

– Нет, – ответил я.

Я встал. Старик мне порядком надоел.

– Вы забыли ваш чемоданчик! – крикнул он мне вслед.

И тут я вспомнил то, о чем совсем не думал последние недели. Я вспомнил о письмах, адресованных человеку, покончившему с собой на улице Вожирар, когда немцы вступили в Париж. Я уже давно привык считать чемоданчик своим. Ведь то небольшое, что Вайдель оставил после

себя, лежало на дне чемодана, под ворохом моих вещей, и занимало так мало места, что я совершенно забыл об этом. Теперь я сам мог отнести все, что принадлежало Вайделю, мексиканскому консулу. Жена покойного, наверно, ходит туда. Мне показалось странным, что мысли, так безраздельно владевшие мною в Париже, совершенно не волновали меня все последнее время. Вот из какого непрочного материала было соткано волшебство Вайделя! А может быть; дело было вовсе не в нем, а во мне. Может быть, я сам из такого материала, что ничто во мне надолго не удерживается.

Так или иначе, мне снова пришлось отправиться на поиски комнаты. Я вышел на огромную бесформенную площадь, три стороны которой были почти полностью погружены во тьму, а четвертая искрилась огоньками, словно берет, если глядеть на него с моря. Это была площадь Кур Бельзенс. Я двинулся на огоньки и снова заблудился в лабиринте переулков. Я вошел в первый попавшийся отель и по крутой лестнице поднялся к освещенному окошечку; где сидела хозяйка. Я заранее приготовился услышать: «Свободных номеров нет», но она тут же сунула мне регистрационную книгу для вновь прибывших. Она внимательно следила за мной, когда я списывал данные из моего удостоверения для беженцев. Потом попросила предъявить ей пропуск. Я замялся. Она усмехнулась и сказала:

– Что же, не я, а вы попадетесь, если будет облава. А пока уплатите мне за неделю вперед. Ведь вы здесь без разрешения. Прежде чем приехать сюда, вы должны были выхлопотать себе разрешение у нашего префекта. В какую страну вы собираетесь эмигрировать?

Я ответил ей, что никуда ехать не намерен. Я бежал от немцев, скитался по разным городам, пока не попал в Марсель. У меня нет ни визы, ни билета на пароход. Не могу же я в самом деле пешком отправиться за океан. Хозяйка казалась спокойной, пожалуй, даже флегматичной женщиной. Но от моих слов она встрепенулась.

– Уж не думаете ли вы, мосье, остаться здесь? – воскликнула она.

– А почему бы и нет? Ведь вы же остаетесь?

Хозяйка засмеялась моей шутке. Затем она протянула мне ключ с жестяным номером. Я с трудом пробрался к двери своей комнаты. Весь коридор был заставлен вещами. Они принадлежали группе испанцев, которые собирались этой ночью уехать через Касабланку на Кубу, а оттуда в Мексику. «Значит, тот испанский юноша у ворот мексиканского посольства на улице Лонген, в Париже, был прав, – подумал я с удовлетворением, – значит, идут пароходы. Они уже стоят в порту наготове».

Когда я засыпал, мне вдруг почудилось, что я сам нахожусь на пароходе – не потому, что я в этот день слышал столько разговоров о пароходах и мне самому захотелось попасть на пароход, а потому, что меня укачала зыбь новых впечатлений и ощущений и разобраться в них у меня не было сил. Сквозь сон я слышал шум, доносящийся из соседних номеров, и мне казалось, что я сплю на скользкой палубе среди перепившейся команды. Я слышал, как падают и перекатываются с места на место какие-то ящики и тюки, словно их плохо уложили в трюме парохода, попавшего в шторм. Я слышал французскую и испанскую речь, проклятия, слова прощания. Наконец совсем-совсем далеко зазвучала, перекрывая все остальные звуки, нехитрая песенка, которую я слышал в последний раз на своей родине, когда никто еще не знал, кто такой Гитлер, – даже он сам. Я решил, что все это мне только снится. И я в самом деле крепко заснул.

Мне приснилось, что я где-то оставил свой чемоданчик: Я искал его в самых невероятных местах – в школе, где когда-то учился, у Жоржа Бинне в Марселе, на ферме у Ивонны, в нормандских доках. Там на трапе и стоял чемоданчик Вайделя. Самолеты с ревом пикировали на него. Охваченный смертельным страхом, я убежал прочь.

## **Глава третья**

Внезапно я проснулся. Утро еще не наступило. В гостинице было тихо. Испанцы, должно быть, уже сели на пароход. Заснуть я больше не мог и поэтому принялся писать письмо Ивонне. Я сообщил ей, что мне необходим пропуск, в Марсель. Хотя я благополучно добрался до места, мне предстояло по получении документа как бы вновь приехать в город, на этот раз совершенно легально. Я вышел, чтобы бросить письмо в почтовый ящик. Некрасивая растрепанная девушка, дежурившая у окошечка вместо хозяйки, остановила меня и спросила, заплатил ли я за номер. Я ответил, что да.

– Вы уезжаете? – поинтересовалась она.

– Господи! Да нет же, нет!

В колодцах улиц было еще темно и холодно, но звезды уже померкли. Я с нетерпением ждал наступления дня, словно он должен был осветить не только город, но и все, что до сих пор было от меня скрыто. Но ради меня день не мог наступить прежде, чем ему было положено. Все кафе были еще закрыты, и мне пришлось вернуться в отель.

Коридор снова оказался забит вещами тех испанцев, которые собирались уехать ночью. Они вернулись назад из порта. Женщины и дети сидели на тюках, громко причитали и кого-то проклинали. Мужчин не было видно. Оказывается, ночью испанцы отправились со своим багажом в порт. Они уже вышли на причал, у которого стоял готовый к отплытию пароход. И вдруг нагрянула французская полиция и арестовала всех мужчин, способных носить оружие, ссылаясь на новое соглашение, которое французские власти только что подписали с правительством Франко. Испанки не плакали, они проклинали нынешние порядки – то тихо, убаюкивая детей, то громко, в гневе воздевая руки к небу. Вдруг они решили отправиться в мексиканское консульство, под защитой которого они теперь находились, раз у них были мексиканские визы. Консул должен был заступиться за них.

Испанки выбежали на улицу. Впереди шла молодая женщина с прекрасным, но очень мрачным лицом. Она несла на руках маленькую девочку с круглыми, как вишенки, глазами, закутанную в дорожный плащ с капюшоном. Я присоединился к их шествию, захватив с собой связку бумаг покойного. Когда женщины заговорили о мексиканском консульстве, я вспомнил о письмах Вайделя. Делать мне все равно было нечего. Почему

бы мне не отправиться вместе с ними? Тем временем рассвело, стало даже, слишком светло для моих воспаленных от бессонницы глаз. Мы пошли вверх по Каннебьер. Я был единственный мужчина в группе испанских женщин и детей. Они сразу как-то привыкли ко мне. Мне казалось, что из всех людей, шедших по улице, только я один никуда не хочу уехать. Но утверждать, что, пожелай я уехать, мне все равно пришлось бы остаться, было бы неверно. «Как ни трудно уехать, – думал я, – у меня хватит сил одолеть все препятствия. До сих пор мне как-то удавалось выпутываться из беды. Ведь особых несчастий со мной еще не случилось, если не считать ужасов, происходящих в мире, а они, как на грех, случайно совпали с моей юностью. Конечно, это не могло не отразиться на мне. А в Париже теперь уже, наверно, облетели листья. Люди мерзнут – нацисты крадут у них уголь и хлеб...»

Мы свернули на бульвар Мадлен и миновали большую некрасивую протестантскую церковь. Вдруг женщины приумолкли. Неужели это мексиканское консульство? Оно занимало всего один этаж в жилом доме, ничем не отличавшемся от других домов. Входная дверь тоже ничем не отличалась от других дверей, если не считать герба, который, впрочем, едва ли замечали невнимательные прохожие. Но мы этот герб сразу заметили, потому что с тревогой искали его глазами. Он был еще темнее того герба, который я пытался разглядеть в Париже. Я едва различил на нем орла, сидящего на кактусе. Когда я его увидел, у меня екнуло сердце от мучительно-радостной тоски по путешествиям, от вспыхнувшей надежды. Сам не знаю, отчего она родилась. Быть может, оттого, что мир так велик и есть в нем неведомые прекрасные страны.

Привратник – его уж никак нельзя было назвать циклопом, – бронзовокожий человек с умным, пронизательным взглядом узких глаз, неизвестно почему выбрал меня из толпы ожидающих. Он велел мне написать на бумажке свое имя и цель посещения. Я написал: «По делу писателя Вайделя». Не знаю почему, но он сразу решил, что должен провести меня без очереди прямо наверх. В узкой маленькой приемной томилось человек двенадцать ожидающих – видимо, привилегированные просители. Трое тощих испанцев и один толстый о чем-то так ожесточенно спорили, что казалось, вот-вот начнется поножовщина, хотя говорили они, вероятно, о вещах самых обыденных, только с присущей испанцам неумеренной страстностью. Какой-то бородатый человек в грязной обтрепанной форме трудовой армии устало прислонился к кричаще пестрому плакату, висевшему на стене. На плакате были изображены двое ярко размалеванных детей в огромных сомбреро. Это был рекламный

плакат; он сохранился еще с тех времен, когда прибегали к броскости и пестроты, чтобы заставить путешествовать тяжелых на подъем людей. На единственном стуле сидел страдающий одышкой старик. В комнате находились еще несколько мужчин и женщин. Судя по их одежде, прическам и специфическому запаху, все они совсем недавно выбрались из концлагерей. Потом в приемную вошла красивая, хорошо одетая золотоволосая девушка. Вдруг все заговорили одновременно. Я даже не сумел понять, на каком языке, – это было скорее похоже на хоровое пение.

– Иностранцев больше не пускают в Оран.

– Нашему брату не дадут проехать через Испанию.

– Португалия закрыла въезд.

– Говорят, на днях уйдет пароход на Мартинику. Оттуда можно добраться до Кубы!

– А что толку! На Мартинике тоже французские, власти.

– Все-таки хоть из Европы удрать!..

В ожидании своей очереди я, то скучая, то забавляясь наблюдал за происходящим. Когда же назвали имя Вайделя, я равнодушно и спокойно, не строя никаких планов, переступил порог кабинета консула.

Передо мной стоял сравнительно молодой человек, маленького роста с невероятно живыми глазами. Увидев меня, он засиял от удовольствия, но вовсе не потому, что мое посещение его как-то особенно обрадовало. У него – возможно, у единственного среди всех его коллег – была такая натура, что он мог оживляться при появлении каждого нового посетителя, будь их хоть тысяча в день. От любого даже самого ничтожного происшествия глаза его загорались – достаточно было какому-нибудь спекулянту попытаться пролезть без очереди или бывшему министру выразить надежду, что для него сделают исключение. Своими невероятно живыми глазами он сверлил любого человека, желавшего поехать в Мексику, – будь то коммерсант из Голландии, у которого в Роттердаме сгорели склады, но сохранилось еще достаточно денег, чтобы предложить огромную сумму в виде залога за себя и членов своей семьи, или испанец на костылях, перебравшийся после гражданской войны через Пиренеи во Францию, мотавшийся все эти годы по концлагерям и очутившийся наконец здесь, на бульваре Мадлен. Глаза консула пронизывали насквозь каждого просителя визы. И если он считал, что данного человека стоит пустить в Мексику, то делал все возможное, чтобы поскорее заполнить пробелы в его личном деле и дать ему визу.

Консул холодно спросил меня, что мне угодно. Взгляд его внимательных глаз, в которых светились юмор и проницательность, вывел

меня из состояния апатии и пробудил и у меня чувство юмора и проницательность.

– Я пришел, – сказал я, – по делу Вайделя.

– Да-да, – сказал он, – эта фамилия у меня значит. И консул, обращаясь к толстому человеку, который возился с досье, повторил фамилию, слегка исказив ее звучание своим своеобразным произношением. Затем он снова повернулся ко мне:

– Извините меня, пожалуйста. Я займусь пока что другими посетителями.

Я хотел было перебить его, положить на стол сверток с бумагами и уйти, но по всему было видно, что он не терпит, когда его перебивают. Опасаясь, что я заставлю его зря терять время, он кивнул мне, давая понять, что наш разговор окончен, и поспешно вызвал следующего. Посетители шли непрерывным потоком: сначала четверо испанцев, они вскоре ушли, пожимая плечами, явно ничего не добившись, маленький консул тоже пожимал плечами; затем золотоволосая девушка, которая разыскивала своего возлюбленного, служившего в бригаде на Эбро, – консул сказал ей что он, к сожалению, не располагает списком бригады, и при этом его живые глаза привычно оценивали девушку и степень ее привязанности к пропавшему; вслед за девушкой появился торговец, вспотевший от желания получить визу; за ним – бородатый человек, которому США отказали в транзитной визе; потом – маляр, который должен был красить здание консульства. Последними вошли, держась за руки, юноша и девушка. Они были так молоды, что казались почти детьми. Я не понял, о чем шла речь, но понял, что произошло: консул выдал им визы. Все трое сияли и кланялись друг другу. Я позавидовал влюбленным, когда они упорхнули, по-прежнему держась за руки. Я остался один в кабинете мексиканского консула. Тем временем ему принесли досье.

– А вот и документы Вайделя, – сказал он.

У меня в голове промелькнуло смутное воспоминание о письме, которое я прочитал в Париже. Я не мог отвести глаз от бумаг покойного, лежавших на письменном столе консула. Визы, разрешения, справки. Все, казалось, вселяло надежды.

Вдруг я почувствовал свое, пусть самое ничтожное, превосходство над консулом. Находишь здесь живой Вайдель, консул имел бы над ним превосходство – он, забавляясь, сверлил бы его своим проницательным взглядом. А теперь забавлялся я, глядя, как он внимательно, с бесполезной проницательностью изучает лежащее перед ним досье – досье тени, затесавшейся в круг просителей, хлопочущих о визах, тени, которая от

всего отрешилась. Но вместо того чтобы все сразу объяснить консулу, я дал ему еще некоторое время позаниматься своим ненужным делом. Тут как раз зазвонил телефон.

– Нет! – крикнул консул. Даже когда он говорил по телефону, глаза его сверкали. – Подтверждение моего правительства еще не получено... Этот случай, – сказал он вдруг, повернувшись ко мне, – очень напоминает ваш.

– Извините, – с изумлением возразил я. – Вы ошибаетесь. Моя фамилия Зайдлер. Я пришел лишь затем, чтобы...

Я хотел все подробно объяснить ему, но консул, ненавидевший длинные объяснения, гневно прервал меня:

– Знаю, все знаю!..

Он не выпускал из рук бумажки, на которой я написал свою фамилию и цель посещения.

– ...Вы сможете, как я это уже в десятый раз объяснил сейчас по телефону вашему коллеге, получить на руки визу только в том случае, если мое правительство подтвердит, что Вайдель – писательский псевдоним господина Зайдлера. Мое правительство сделает это, если кто-нибудь поручится, что вы и есть писатель Вайдель.

При этом объяснении голова моя загудела, словно телеграфные провода на ветру. Моя собственная сигнальная система – своего рода механизм самосохранения – обычно срабатывает у меня прежде, чем я успеваю осознать, что намерен сделать шаг, который может роковым образом изменить мою жизнь.

Однако я ответил ему так, как должен был ответить:

– Пожалуйста, выслушайте меня сначала... В данном случае речь идет совсем о другом. Я уже однажды объяснял все это вашему послу в Париже. Вот пакет с бумагами, рукопись, письма...

Консул, не скрывая своего раздражения, нетерпеливо махнул рукой.

– Вы можете предъявлять мне все, что угодно, – начал он, глядя мне прямо в глаза. Его живой, пронизательный взгляд снова пробудил живость моего ума, и мне непреодолимо захотелось помериться с ним пронизательностью. – Но давайте не будем зря терять время. Время одинаково-дорого и вам и мне. Вам следует как можно скорее предпринять необходимые шаги.

Я встал. Я взял пакет с бумагами Вайделя. Консул не спускал с меня глаз. Но теперь я твердо встретил его взгляд.

– Так что же я должен сделать? – спросил я. – Посоветуйте мне, пожалуйста.

– Повторю в последний раз, – сказал он, – обратитесь к тем друзьям,

которые выхлопотали для вас визу, пусть они поручатся моему правительству, что вы, по паспорту господин Зайдлер, и являетесь писателем Вайделем.

Я поблагодарил его за совет. Мы с трудом оторвали глаза друг от друга.

В глубокой задумчивости шел я домой, иными словами, в тот отель, где поселился со вчерашнего вечера. Я впервые внимательно осмотрел этот дом при дневном свете. Улочка, на которой он стоял, казалась узкой щелью, но мне она понравилась. Название ее мне тоже понравилось – улица Провидения. Гостиницу назвали по имени улицы. Вчера я очень обрадовался, что получил наконец отдельную комнату; но теперь я понял, что мне нужно снова научиться быть одному. Я подошел к окну и посмотрел вниз. В это время как раз поливали улицу, стремительный поток воды нес по мостовой целую флотилию бумажек и щепок. К чему мне эти четыре стены? Что мне делать в этой комнате? Ждать полицейской облавы? Я остро чувствовал, что единственное, чего я еще боюсь на этом свете, – это лишиться свободы. В третий раз я не дам засадить себя за решетку – ни при каких обстоятельствах. Да, мой вчерашний знакомец, ну, этот старый чудак, дирижер из Каракаса, был прав. Отсюда нужно сматываться, а уж если оставаться здесь, то необходимо получить на это законное право. Но я никак не принадлежал к избранным, у меня не было ни визы, ни транзитных виз, ни вида на жительство в Марселе. Мне лезли в голову мысли, которые я упорно отгонял. И голова моя снова загудела – потемневший герб, живой, пронизательный взгляд маленького консула... Я больше не мог выносить одиночества. Несмотря на вчерашний холодный прием, я решил еще раз попытаться зайти к Жоржу Бинне – единственному человеку, которого я знал в Марселе. Я отправился на улицу Шевалье Ру. Я взялся за бронзовый молоток и постучал.

Быть может, я вам уже наскучил рассказами о семье Бинне, но мы подошли почти вплотную к главному. Вы сами увидите, что есть тени, которые проникают сквозь все двери.

Жорж Бинне был первым человеком, который не спросил меня, куда я собираюсь уехать, а, наоборот, поинтересовался, откуда я приехал. Я тут же рассказал ему то, что уже рассказал вам. Только я полностью опустил все, что связано с именем Вайделя. Какое могло быть дело Жоржу Бинне до иностранца, отравившегося в Париже в день, когда туда входили немцы? Жорж слушал меня внимательно. Это был среднего роста, ладно скроенный человек с серыми глазами, как у большинства уроженцев севера Франции. В Марсель Жорж попал из-за дурацкого распоряжения дирекции фабрики, на которой работал. Расчета ему не дали – он считался мобилизованным,

ему приказали эвакуироваться. Но как только он прибыл на юг, фабрику закрыли и весь персонал оказался брошенным на произвол судьбы. Жорж нашел себе плохо оплачиваемое место ночного сторожа на мельнице. Но в свободное от работы время он жил привольно, весело, легкомысленно. Он опекал как мог свою подругу, эту диковинную заморскую птицу, и ее сынишку, с мальчиком надо было обходиться особенно бережно, чтобы его не задеть, так как он был очень гордый.

С первой же минуты я почувствовал к мальчику непреодолимую симпатию. Он сидел за столом и молча слушал мой рассказ. Ради него я старался говорить как можно интереснее, «Зачем так горят его глаза? – думал я. – Ведь все равно они ничего не увидят, кроме этой земли. Зачем его нежная кожа отликает золотом? Девушка, которую он когда-нибудь обнимет, будет, наверно, не такой, как он. Зачем он так внимательно следит за нашим разговором, так напряженно, что у нег дрожат губы? Ведь от нас двоих взрослых, он не может услышать ничего, кроме рассказов о нашей путаной, трудной жизни в год, полный предательства и всеобщего смятения».

В тот вечер подруга Жоржа пригласила меня поужинать с ними. На стол подали большую миску риса с пряностями. Я чувствовал, что все трое готовы терпеть мое присутствие. И я... я был им благодарен за это. Обычно много говорят о рождении большой любви. Но несколько часов уютного нечаянного уюта, стол, за которым люди, потеснившись дают тебе место, – вот чем ты жив, вот что помогает тебе не погибнуть.

У Жоржа Бинне я немного успокоился. Когда долго живешь один, достаточно кому-нибудь расспросить тебя о твоей жизни, как ты успокаиваешься. Мне вновь стало страшно лишь тогда, когда я опять оказался в четырех стенах своего номера в отеле на улице Провидения.

Едва я лег в постель, как за стеной справа раздался адский шум. Я побежал туда, чтобы установить тишину. Человек двенадцать, разделившись на две группы, резались в карты. По их мундирам и огромным арабским тюрбанам я понял, что они из Иностранного легиона. Почти все были пьяны или делали вид, что пьяны, чтобы иметь право орать во всю глотку. Драка между ними пока еще не завязалась, но, когда они обращались друг к другу, чтобы спросить вина или объявить козыри, в их голосах звучала угроза – словно от людей можно чего-то добиться только грубостью. Я присел на чемодан, хотя меня никто не пригласил остаться. И вместо того чтобы потребовать тишины, я стал пить. Я не был больше один – это главное. А они, несмотря на азарт игры и взвинченность, даже не удивились, увидев меня, и позволили сидеть на чемодане. Они понимали,

почему я не хочу уходить. Значит, несмотря ни на что, эти пьяные легионеры понимали самое важное. Невысокий человек в менее обтрепанном мундире, чем остальные, и в чистом бурнусе внимательно рассматривал меня своими серьезными глазами. На его груди блестело много медалей. Да, нельзя сказать, что в этой комнате пили слабые напитки! Мне стало жарко. словно в тумане поблескивали медали на груди легионера.

– Что вы здесь делаете? – спросил я его.

– Мы приехали в отпуск из пересыльного лагеря Лемиль. Мы сняли этот номер всем скопом. Понимаешь, это наша комната... Общая...

– Куда вы едете?

– В Германию! – крикнул карлик с невероятно высоким тюрбаном на голове, которым он, видимо, пытался компенсировать свой малый рост. – На той неделе поедem домой.

Один из легионеров курил, сидя верхом на подоконнике и свесив ногу на улицу; своей красивой дерзкой головой он прислонился к оконной раме.

– В Сиди-бель-Аббес прибыла немецкая комиссия, – рассказал он, – и потребовала, чтобы все немцы, служившие в легионе, вернулись на родину. Великая амнистия! Отпущение всех грехов!

– Вам нравится Гитлер?

– Нам-то что до него? – ответил другой легионер, чье лицо было так изуродовано, что я даже подался вперед, чтобы понять, не спяну ли мне это мерещится – ни нос, ни рот не находятся на своем месте, все черты растянуты – где в длину, где в ширину. – Плевать нам на него, как и на всех остальных, если не больше!

Легионер, сидевший на окне теперь уже спиной к комнате – он перекинул на улицу и другую ногу, – сказал:

– Пусть уж лучше меня на родине поставят к стенке, чем ужокошат в Иностранном легионе.

– У нас больше не расстреливают, у нас отрубают голову! – захохотал карлик.

Легионер, сидевший на окне, обеими руками схватил себя за уши и, делая вид, что отрывает голову, крикнул:

– Можете играть вот этим в кегли!

Человек с обезображенным лицом запел:

– На родине, на родине...

Просто и трогательно полилась эта песня из его уродливого рта. Значит, песенка, которую я слышал прошлой ночью, была не сном. А может быть, мне сейчас все это снится. Маленький легионер с множеством

медалей на груди присел рядом со мной на чемодан.

– Я не еду домой, – сказал он мне, – я еду в другую сторону. Мне это совсем не безразлично. А ты?

– Я остаюсь здесь, – ответил я, – вот увидишь, я все-таки останусь здесь.

– Это ты спьяну болтаешь, здесь оставаться нельзя.

Он чокнулся со мной, серьезно и спокойно глядя на меня. Мне хотелось его обнять, но меня останавливал золотой туман, окутывавший его грудь в медалях.

– За что тебе это все повесили? – спросил я.

– За храбрость.

Я скрючился как мог и улегся на чемодане. Большую часть своих денег я отдал за то, чтобы иметь отдельную комнату. Но теперь мне хотелось спать здесь. Маленький человек с серьезными глазами ловко взял меня на руки и вынес из комнаты. Он втолкнул меня в мой номер и даже положил на кровать.

### III

Я жил в Марселе уже неделю, когда рано утром кто-то бешено забарабанил в дверь моего номера. Ко мне ворвался легионер с медалями.

– Полиция!

Он поволок меня через маленькую дверцу в конце коридора по какой-то лестнице вверх на чердак. Сам же он побежал вниз, чтобы лечь в мою постель и при проверке предъявить свои документы. На чердаке я обнаружил еще одну лестницу, которая вела на крышу. Я поднялся по ней и спрятался за трубу.

Ветер был такой сильный, что мне приходилось крепко держаться. Зато я видел весь город, и горы вокруг, и церковь Нотр-Дам де ля Гард, и голубой прямоугольник Старой гавани с металлическими фермами путепровода над ним. А немного погодя, когда туман рассеялся, я увидел открытое море и острова. Я прополз еще несколько метров по черепице, Я забыл, что происходит внизу, забыл о полицейских, которые рыскали по всем этажам. Я смотрел на мол Жолиетт с его бесчисленными пакгаузами и причалами. Но все они были пусты. Как я ни напрягал зрение, я не видел ни одного пассажирского парохода. А вчера в кафе только и было разговоров, что о пароходе, уходящем на днях в Бразилию. «Для всех нас нет места, – подумал я. – Ноев ковчег. Каждой твари по паре. Но тогда, видно, больше и не надо было. Повеление было мудрым – ведь сейчас нас опять полный комплект».

Вдруг я услышал какой-то шорох и вздрогнул. Но это была всего лишь кошка. Она с ненавистью взглянула на меня. Так мы, не мигая, глядели друг на друга, дрожа от страха. Я зашипел, и тогда она перепрыгнула на другую крышу.

Потом до меня донесся автомобильный гудок. Я вытянул шею и поглядел вниз. Двое полицейских вывели кого-то из отеля. По их движениям я понял, что тот, кого они тащат, прикован к ним наручниками. Затем все влезли в машину. Когда машина умчалась, я со злорадством подумал, что этот «кто-то» не я.

Я спустился с чердака на свой этаж. В номере, расположенном слева от моего, столпились люди. Они расспрашивали и утешали рыдающую жену арестованного. От слез лицо этой женщины вспухло и стало красным, как у гнома.

– Мой муж вчера ночью приехал из Вара, – всхлипывала она, – Мы

собирались завтра отбыть в Бразилию. У него был даже пропуск в Марсель. Правда, разрешение на жительство он не получил, но оно ему и не нужно было, мы завтра все равно собирались уехать. Если бы мы даже попросили это разрешение, ответ пришел бы уже после нашего отъезда. А теперь у нас пропадут и билеты и визы...

Женщину больше никто ни о чем не спрашивал, да никто и не утешал, потому что сказать ей было нечего. По тупым физиономиям легионеров, которые тоже там стояли, можно было представить себе, сколько плачущих женщин видели они на своем веку. Я ничего не понял из сбивчивого рассказа этой женщины. Да и что было ломать над этим голову – все это сплошная чушь, бессмыслица!

## IV

Через несколько дней я готов был поверить, что в моей жизни наступил наконец период относительного покоя. Ивонна прислала мне пропуск на въезд в Марсель. С этой бумажкой я отправился на улицу Лувуа в Управление по делам иностранцев. Таким образом, я как бы снова приехал в Марсель, на этот раз официально. Меня зарегистрировали. Чиновник спросил о цели моего приезда. Умудренный опытом, я ответил, что приехал, чтобы подготовить отъезд за границу. Он дал мне разрешение на пребывание в Марселе в течение месяца «в связи с оформлением отъезда». Мне показалось, что это огромный срок. Я был почти счастлив.

Я жил спокойно и довольно уединенно, не смешиваясь с дикой ордой ошалевших, рвущихся уехать людей. Я пил на голодный желудок свой горький эрзац– кофе или сладкий лимонад и с восхищением слушал всевозможную болтовню о пароходах, до которых мне не было никакого дела. Уже наступили, холода, но в кафе я всегда садился за столик на тротуаре или, когда дул резкий пронизывающий мистраль, в углу зала, у окна. Голубой квадрат в конце Каннебьер – так вот, значит, где он, рубеж Старого Света, рубеж мира, простирающийся от Тихого океана, от Владивостока и Китая до этих мест. Не зря, видно, наша часть планеты зовется Старым Светом. И здесь, у этой голубой воды, лежит его предел. Я видел, как горбатый служащий пароходства, расположенного как раз напротив моего кафе, выбегал из своей конторы, чтобы написать мелом на черной доске у двери название очередного парохода и дату отплытия. Тотчас за спиной горбуна выстраивалась длиннейшая очередь людей, которые надеялись именно на этом пароходе покинуть Старый Свет, расстаться со своей прошлой жизнью и, возможно, навсегда уйти от смерти.

Когда мистраль дул уж очень сильно, я обычно приходил сюда в пиццерию и садился вот за этот столик. В то время я еще удивлялся, что пицца не сладкая булочка, что в ней запечены сардельки, маслины и перец. От постоянного голода я чувствовал какую-то легкость. Я ослабел, был всегда усталый и почти всегда слегка пьяный, потому что денег у меня хватало только на кусок пиццы и стакан розе. Всякий раз, когда я приходил сюда, мне оставалось решить в жизни только еще один, правда очень важный, вопрос: куда мне сесть – на то ли место, где сейчас сидите вы, и глядеть на Старую гавань, или на то место, где сейчас сижу я, и глядеть на

огонь в печи. Каждое имеет свои преимущества. Я мог часами смотреть на ту сторону Старой гавани, где фасады домов, перечеркнутые реями рыбацких баркасов, белели на фоне вечернего закатного неба. Но я мог и часами смотреть, как повар катал и месил тесто, как его руки ныряли в огонь, в который все подбрасывали и подбрасывали новые поленья. Затем я шел к Бинне – они ведь живут в пяти минутах ходьбы отсюда. Подруга Жоржа всегда оставляла мне немного риса с пряностями или тарелку ухи. Затем она приносила нам крошечные чашечки – ну прямо наперстки – настоящего кофе. Она обычно выбирала те немногие кофейные зерна, которые примешивали к ячменному кофе, выдававшемуся по карточкам. Я вырезал для мальчишки какую-нибудь вещицу из дерева, чтобы он, наблюдая за моей работой, мог прислонить голову к моему плечу. Я чувствовал, как обычная человеческая жизнь обступает меня со всех сторон, но в то же время я остро ощущал, что для меня она стала уже недостижимой. Жорж между тем одевался, собираясь на ночное дежурство. Мы спорили о том, о чем тогда спорили все, – удастся ли немцам высадиться в Англии, долго ли просуществует русско-немецкий пакт, отдаст ли Виши немцам военно-морскую базу Дакар?

В то время я познакомился с одной девушкой. Зовут ее Надин. Прежде она работала на сахарном заводе вместе с подружкой Жоржа, но благодаря своей красоте и ловкости добилась лучшего положения. Надин стала продавщицей шляп в большом магазине «Дам де Пари». Она высокого роста, держится прямо, гордо подняв свою красивую, умную головку со светлыми локонами. Она выглядит всегда элегантно в своем темно-синем пальто. Я сразу сказал ей, что беден, но она сказала в ответ, что пока это не имеет никакого значения: она влюбилась в меня, и ведь мы, собственно говоря, не вступаем в брак, не обещаем друг другу быть вместе до гробовой доски. Я заходил за ней каждый вечер в семь часов. Как мне тогда нравился ее красивый большой рот, сильно накрашенные губы, острый запах пудры, тонким желтовато-розовым слоем лежавшей на ее лице и шее, словно пыльца на крыльях бабочки, настоящие, а не нарисованные темные круги под ее серыми холодными глазами! Я охотно голодал весь день, чтобы вечером повести Надин в ее любимое кафе «Режанс», где чашечка кофе, к сожалению, стоила целых два франка. Затем мы каждый раз немного спорили о том, куда нам пойти: к ней или ко мне. Легионеры прищелкивали языком, когда встречали меня с Надин в коридоре. Я вырос в их глазах оттого, что завел себе такую красивую подружку. Едва мы входили в комнату, они начинали свое дикое пение – то ли для того, чтобы торжественно отметить наш приход, то ли, чтобы нас подлить. А скорее всего, и для того

и для другого. Надин спрашивала меня, что это за черти там, за стеной, и что они поют. Как я мог ей это объяснить, когда и сам не понимал, какая сила влечет меня в их шальную орду, почему я готов ради них бросить красивую девушку, которую по воле случая держу в своих объятиях.

Мы с Жоржем забавлялись, глядя на наших подруг, одна из которых была такой светлой, а другая – такой смуглой. Но женщины ревновали нас и друг друга терпеть не могли.

Тем временем истек месяц, который мне разрешили провести в Марселе. Мне казалось, что я уже совсем обжился: у меня была комната, друг, возлюбленная. Но служащий из управления на улице Лувуа был другого мнения. Он сказал мне:

– Завтра вы должны отсюда уехать. Мы разрешаем проживать в Марселе лишь тем иностранцам, которые могут доказать, что намерены покинуть страну. А у вас не только нет самой визы, но даже видов на ее получение. Мы не имеем никаких оснований продлить вам пребывание в Марселе.

Меня затрясло, как в лихорадке. Все во мне задрожало, потому что в глубине души я понимал, что чиновник прав. Я вовсе не обжился здесь. Моя комната на улице Провидения была ненадежным кровом, моя дружба с Жоржем Бинне – не испытанной, моя нежность к мальчику – слабым чувством, которое ни к чему не обязывало, а что касается Надин, то разве она уже не начала мне надоедать? Значит, пришла расплата за мое легкомыслие, за нежелание связать себя – я должен уехать. Мне дали срок – это было своего рода испытанием, – и я его не выдержал. Чиновник поднял голову и увидел, как я побледнел.

– Если вам непременно надо еще остаться, то срочно принесите подтверждение какого-нибудь консульства, что вы ждете оформления документов на отъезд.

Я пошел пешком до площади д'Альма. Было очень холодно, так бывает на юге независимо от времени дня: мистраль может сделать ледяным и полуденное солнце. Ветер обхватил меня со всех сторон, выискивая самые уязвимые места. Итак, чтобы остаться здесь, мне нужно было немедленно получить подтверждение того, что я собираюсь уехать. Я спустился по улице Сен-Фереоль. Не зайти ли мне в кафе напротив префектуры? Впрочем, здесь мне не место. Это кафе отъезжающих, которым уже никуда не надо ходить, разве что в префектуру за разрешением на выезд или в крайнем случае в американское консульство. Быть может, сегодня у меня будет прощальный ужин с Надин. Мне нужно беречь каждое су. Я очутился на Каннебьер. Почему же я не пошел вниз к Старой гавани? Почему двинулся в обратном направлении, вверх по улице, к протестантской церкви? Не там ли мне пришла мысль свернуть на бульвар Мадлен? А может быть, я сразу сознательно выбрал это направление, потому что

решил попытать счастья? Перед мрачным домом, в котором помещалось мексиканское консульство, толпились люди. Герб над дверьми еще больше потускнел – орла уже нельзя было различить. Привратник с бесстрастными умными глазами тотчас заметил меня, словно у меня на лбу было какое-то таинственное клеймо, начертанное властью, которой подчинены все консульства мира, и обозначающее, что дела мои не терпят отлагательства.

– Нет, – сказал мне маленький консул со сверкающими глазами. – Сожалею, весьма сожалею, но мы до сих пор еще не получили подтверждения от моего правительства, «то вы и господин Вайдель – одно лицо. Лично я испытываю к вам полное доверие, но дело же не в этом. Мне очень жаль, но пока что я вам ничем не могу помочь.

– Я пришел лишь затем... – начал я. Наши глаза опять сцепились. Пожалуй, еще никогда мне ничего так не хотелось, как оказаться более ловким, чем этот человек, перехитрить его, во что бы то ни стало добиться своего. – Я пришел лишь затем чтобы... – сказал я.

Он прервал меня:

– Будьте благоразумны. Мне необходимо получить подтверждение моего правительства, мне необходимо...

– Да выслушайте же меня наконец, – негромко сказал я и сам почувствовал, что теперь мой взгляд стал чуточку тверже и настойчивей его взгляда. – Я пришел попросить вас дать мне справку о том, что выдача мне визы задерживается в связи с установлением моей личности. Мне это необходимо для продления права на жительство в Марселе.

Он с минуту подумал.

– Что ж, такую справку я вам вполне могу выдать, – сказал он. – Простите меня, пожалуйста.

С этой справкой я снова помчался на улицу Лувуа. Я получил продление прописки еще на один месяц. У меня сильно билось сердце. Как я использую этот месяц? Теперь-то ведь я ученый.

Но сколько я ни думал, я не находил никакой зацепки, чтобы изменить свою жизнь. В лучшем случае я мог бы изменить свои отношения с Надин. Это и произошло, причем как-то совершенно неожиданно для меня самого. Если бы мне пришлось уехать, Наши отношения сохранились бы в моей памяти, как большая страсть. Но вот я остался, и буквально через два-три дня запах ее пудры стал мне противен. Мне стало противно, что она никогда, никогда, даже в моих объятиях, не делает ни одного бессознательного жеста. Мне стал противен смешок, с которым она по вечерам распускает свои красивые волосы. Я нашел благовидный предлог, чтобы не встретиться с ней вечером. Я не знал толком, как мне быть

дальше, я не хотел ее обидеть. Ведь она была так мила со мной. Но Надин сама пришла мне на помощь.

– Не сердись на меня, милый, – сказала она, – но теперь, перед рождеством, нам приходится работать в воскресенье и задерживаться по вечерам.

Мы оба понимали, что врем друг другу, но считали, что такая ложь куда лучше, куда приличнее правды.

## VI

Тем временем я израсходовал последние деньги. Но меня это все еще не тревожило. Когда я был очень голоден, я шел к Жоржу Бинне. Когда я просто хотел есть, я курил, В обеденное время я отправлялся в самое дешевое кафе. Эрзац-кофе, заменявший мне обед, был невероятно горек, а сахарин невероятно сладок, и все же я не роптал. Я был на свободе, за комнату уплатил за месяц вперед, а главное – я не погиб, значит, мне трижды повезло, – так повезло, как теперь мало кому везет.

Волоча за собой поруганные знамена всех наций и верований, проходили перед моими глазами толпы беженцев. А это был всего только первый эшелон. Они пересекли всю Европу, но теперь, перед узкой полоской синей воды, невинно поблескивающей между домами, их мудрость спасовала, Ведь название парохода, написанное мелом на черной доске, – это еще не пароход, – а лишь слабая надежда на него. Да и названия эти почти всегда тут же стирались, потому что какой-то пролив оказывался заминированным иди какой-то берег попадал под обстрел. Смерть, размахивая пока еще торжествующим знаменем со свастикой, подходила все ближе и ближе. Но мне казалось, – быть может, потому, что я уже однажды встретился с ней и обогнал ее, – мне казалось, что и смерть тоже удирает от кого-то. Кто же это гнался за ней по пятам? Я считал, что надо только запастись терпением и мне удастся ее перехитрить.

Я вздрогнул, когда кто-то коснулся моего, плеча. Это был дирижер, тот, что собирался возглавить оркестр в Каракасе. Днем он носил темные очки, и от этого его глаза, похожие на глазницы черепа, казались бездонными.

– Так вы все еще здесь? – сказал он.

– Вы тоже, – заметил я.

– Я вчера получил визу на выезд. Она опоздала на три дня.

– Как опоздала?

– В начале этой недели кончился срок моей визы в Венесуэлу. Консул продлит ее только в том случае, если оркестр вышлет мне новый контракт.

– А там передумали?

– Почему? – с испугом спросил он. – Нет, они вышлют Комитет уже послал им телеграмму. Но успею ли я получить эту бумагу за месяц? Ведь через месяц истекает срок визы на выезд. Да вы сами испытаете все это на своей шкуре.

– Я? С какой стати?

Он усмехнулся и пошел своей дорогой. Он двигался по-старчески медленно, и мне показалось, что ему никогда не пересечь Каннебьер, а о морях и странах уж и говорить нечего. Я дремал, греясь на солнышке. Долго ли позволит мне хозяин кафе сидеть здесь перед пустой чашечкой кофе? Почему я так равнодушен ко всему? Ведь я молод. Быть может, правы те, кто стремится попасть на пароход. Уж я бы справился с этими демонами-консулами. И вдруг меня словно током пронзило.

Из кафе напротив, из «Мон Верту», вышел Паульхен. Он, хорошо выглядел. На нем был новый костюм. Я бросился к нему и потащил его к своему столику. Правда, я никогда не считал его своим другом. Но мы были вместе в лагере и в Париже, когда туда вошли немцы. Я чуть не расцеловал его. Он же глядел на меня равнодушно. К тому же он торопился.

– Комитет, – сказал Паульхен, – кончает свою работу в двенадцать. А что тебе опять надо?

«Опять?» – подумал я и понял: ему невдомек, что мы впервые увиделись после Парижа. Да и чему тут было удивляться? Он ведь каждый день встречался со столькими людьми.

– Как ты поживаешь, Паульхен?

При этом вопросе он оживился:

– Ужасно! Я в ужаснейшем положении.

Он присел за мой столик, поняв, что нашел во мне человека, которому можно рассказать о своих делах.

– Когда я приехал, я подал заявление, чтобы мне разрешили пребывание в Марселе. Мне хотелось оформить все, как положено, чтобы все документы были в полной исправности. Вот я и подал заявление в Управление по делам иностранцев. А по совету одного чиновника я подал второе, аналогичное заявление лично префекту. Большого, кажется, от меня нельзя было требовать. На оба заявления я получил резолюции. Но что за резолюция! Управление выдало мне новое удостоверение личности. Вот, пожалуйста, полюбуйся. Видишь, здесь штамп: «Безвыездное пребывание в Марселе». Затем меня вызвали в префектуру и поставили штамп на моем старом удостоверении: «Немедленный выезд на прежнее место жительства...»

Я расхохотался.

– Хорошо тебе смеяться, – сказал Паульхен чуть не плача. – А мне во что бы то ни стало надо бежать из Европы. Я ведь занесен у нацистов в черный список. Но мне не дают визы на выезд, потому что в префектуре я числюсь как выбывший.

– Что ж, отправляйся назад, откуда ты приехал, а затем вновь приезжай

в Марсель.

– Да ведь этого-то я как раз и не могу сделать, – простонал Пауль. – ведь на том удостоверении, без которого мне никуда не проехать, стоит штампель «безвизное пребывание в Марселе»... Да перестань ты наконец смеяться!.. К счастью, нашлись друзья, причем весьма влиятельные, которые взялись уладить это дело. Ведь в конце концов у меня есть данже-виза.

Это слово прозвучало для меня как пароль. Я сразу вспомнил, как мы с Паульхеном сидели вдвоем в Париже, в кафе на Карфур де ль'Одеон. Мне показалось, что это было, во время оно. После этого я мотался с бумагами покойного Вайделя по всей Франции и в конце концов воспользовался его именем. Впрочем, с тем же успехом я мог, бы присвоить и любое другое имя, окажись оно мне полезным. Впервые я снова вспомнил о самом Вайделе, об умершем Вайделе, с благоговением и печалью.

– Скажи-ка, Пауль, почему ты не пришел тогда, как мы условились, в «Капулад»? – спросил я – С твоим другом, ну, с этим Вайделем, получилась скверная история.

– Ах, – ответил Пауль, – этот мир вообще скверный.

– Да, мир достаточно скверный. А ведь Вайдель получил в мексиканском консульстве визу, настоящую визу.

– Ну да? Просто удивительно! Разве у него виза не в Штаты? Ведь в Мексику едут только...

– Знаешь, Пауль, мне кажется, ты был тогда прав, я ведь ничего не смыслю в искусстве, но думаю, что твой друг, этот Вайдель, умел писать.

Паульхен как-то странно взглянул на меня.

– Ты точно выразился, когда-то он действительно умел писать. А его последние вещи – как бы это сказать... они куда бледнее...

– Повторяю, Пауль, я ничего в этом не смыслю. Я прочел только одну вещь этого Вайделя... Последнее, что он написал. Я, конечно, ничего не смыслю, но мне понравилось...

– Как она называется?

– Не знаю.

Тогда Пауль сказал!

– Сильно сомневаюсь, чтобы человек его типа смог бы написать что-нибудь толковое в Мексике.

От изумления я не мог слова вымолвить. Теперь мне нечего было стыдиться того, что мы встретились так холодно. Ведь он даже не знал, что Вайдель погиб! Может быть, он и не мог ничего узнать о Вайделе в водвороте войны?... А может быть, все-таки мог?... Во всяком случае,

должен же он был всех расспрашивать, искать, никому не давать покоя. Ведь погибший был его товарищем. Теперь я еще лучше понял, почему у Вайделя не было охоты продолжать всю эту канитель. Видно, они все уже давно его бросили, и он оказался совсем один...

– Главное, у него есть виза, – сказал Пауль.

Мы помолчали, и, пока мы Молчали, голова у меня гудела.

– С визой у него тоже не все в порядке, – сказал я. – Виза выдана ему на его писательский псевдоним...

– Такие случаи встречаются сплошь и рядом. Так, значит, Вайдель не его настоящая фамилия? А я и не знал...

– Ты многого не знаешь, Пауль. – Я посмотрел ему прямо в глаза и подумал при этом: «Ты просто глуп, Паульхен, – и больше ничего. Вот в чем твоя беда. Это твой тайный недуг. А ведь я не сразу догадался об этом, потому что ты умно разговариваешь и расхаживаешь с умным видом, Но глупость так и светится в твоих карих глазах...»

– Как же его настоящая фамилия? – спросил Пауль.

Я подумал «Жив ли твой друг или нет, это тебя не интересовало, а вот эта болтовня насчет псевдонима вызывает у тебя живейший интерес».

– Его зовут Зайдлер, – сказал я.

– Просто удивительно! – воскликнул Паульхен. – Брат псевдоним Вайдель, когда тебя в действительности зовут Зайдлер! Я поручу нашему комитету заняться этим случаем – я там имею некоторый вес.

– Если бы ты смог уладить это дело, Паульхен! Ведь у тебя в руках такая власть!.. Ты имеешь такое влияние на многих людей!

– Да, конечно, я имею некоторое влияние в определенном кругу. Пусть Вайдель к нам зайдет.

«Пауль где-то пристроился, – подумал я. – Укрылся за каким-то письменным столом. Разве не был он всякий раз, как я его встречал, в безвыходном положении? В Нормандии? В Париже? Он глуп, это бесспорно, именно поэтому у него не бывает никаких срывов. Он должен напрячь все свои слабые силенки, употребить весь свой жалкий умишко, чтобы за что-то ухватиться, к кому-то примазаться и таким образом удержаться на поверхности. В Париже он прилип, если мне не изменяет память, к какому-то торговцу шелком, мужу лучшей подружки...»

– Вайделю теперь трудно встречаться с людьми, – сказал я. – Он стал очень замкнут. Уладь ему это дело, что тебе стоит? Ты ведь все можешь, у тебя такой опыт... Нужна ведь только телеграмма...

– Я поручу это своему комитету. Хотя, должен тебе сказать, что эта, как ты выразился, «замкнутость» Вайделя мне глубоко неприятна, она мне

кажется напускной. А ты уже успел стать его кули?

– Кем я успел стать?

– Его кули. Старая история... Вайдель всегда находил себе кули, но потом они неизменно порывали с ним, да еще со страшным скандалом. Что говорить, Вайдель умеет околдовывать людей, но лишь до поры до времени. И с женой у него вышло то же самое.

– Паульхен, а что за женщина его жена?

Он задумался.

– Не в моем вкусе. Она...

Без всякой причины мне почему-то стало не по себе, я я перебил его:

– Так договорились, ты сделаешь для бедняги Вайделя все, что будет в твоих силах. Ведь, как ты сам сказал, ты имеешь известное влияние в известном кругу. Кстати, не можешь ли ты мне одолжить несколько франков?

– Дорогой мой, не ленись постоять два-три часа в очереди в каком-нибудь комитете.

– В каком комитете?

– Господи, да в любом! Можно у квакеров или у марсельских евреев, можно и в «Хисем», в «Хайас», у католиков, у Армии спасения, у франкмасонов...

И Паульхен поспешил уйти. Торопливым шагом спустился он вниз по Каннебьер, и через мгновение я потерял его из виду, словно его смыло волной.

## VII

Когда я возвращался к себе в отель, меня окликнула хозяйка. Как всегда, она выглядывала из окошечка своей каморки под лестницей. Я еще никогда не видел ее во весь рост – только голову и плечи в окошке. С этого поста она равнодушно, но внимательно наблюдала за тем, как входят и выходят ее постояльцы. Она сказала, что мне повезло – в мое отсутствие полиция вновь устроила облаву и увела мою соседку.

– Почему?

– Потому, что она проживает в Марселе одна – ведь в прошлый раз увели ее мужа. Всех женщин, которые живут в Марселе без мужей, не имея при этом соответствующих удостоверений, отправляют теперь в новый женский лагерь под Бомпаром.

Хозяйку все это нисколько не трогало, это было ясно. Она откладывала каждый франк, который ей удавалось выманить из своих ненадежных клиентов, чтобы как можно скорее купить себе бакалейную лавку. Возможно, она даже была связана с кем-нибудь из полиции, например с агентом, проводившим эти облавы, – ведь она все про нас знала. А затем он делил с ней ту премию, которую получал за удачную охоту на человека. Она была весьма предприимчива в своем тихом убежище. Рыдания и отчаяние арестованных в конечном счете превращались в ее голове в горох, мыло и макароны – в товары ее будущей лавки.

На следующий день я попробовал последовать совету Паульхена. Я посетил несколько комитетов, но всюду потерпел неудачу. Сначала я говорил правду – жду, мол, работы на ферме, и мне нужно немного денег, чтобы некоторое время перебиться. Но в ответ все только пожимали плечами. Я не получил ни гроша, и у меня не было даже мелочи на сигареты. Тогда я послал ко всем чертям правило, которое мне с детства вдолбили мои родители и которому я все еще невольно следовал: человек должен держаться до последнего и сдаваться только тогда, когда дальнейшая борьба уже невозможна. Итак, я стал рассказывать в комитетах, что решил все бросить и уехать. Это было понятно. Попроси я у них денег на покупку ну хотя бы мотыги, чтобы сажать репу на каком-нибудь клочке земли, то есть захоти я еще раз попытать счастья в Старом Свете, они бы не дали мне и пяти франков. Ведь они помогали только тем, кто стремился уехать прочь, кто все бросал. Вот я и сделал вид, что рвусь уехать, и сразу же получил приличную сумму «на время ожидания»

парохода». Я заплатил за комнату, купил себе сигареты, а мальчишке Бинне – книги.

Второй месяц пребывания в Марселе не подошел еще к концу, но уже перевалил за середину.

Тем временем Мишель написал мне, что с дядей у него отношения неплохие и что весной я, наверно, смогу приехать на ферму. Но сообщив я в Управление по делам иностранцев истинную причину моего ожидания, меня бы немедленно засадили за решетку либо отправили назад, черт знает куда. Беженцы должны бежать – и чем дальше, тем лучше, – а не выращивать персики. Чтобы снова продлить вид на жительство в Марселе, мне нужно было получить еще одну справку, подтверждающую, что я жду визу. Значит, волей-неволей мне пришлось снова отправиться в мексиканское консульство. «В том, что я возьму такую справку, нет ничего плохого, – думал я тогда, – я ведь ее ни у кого не отнимаю, просто она мне позволит как следует отдышаться. А за это время может произойти немало событий, которые изменят мою жизнь. Ведь не исключено, что я смогу, не дожидаясь весны, отправиться на ферму к Мишелю. Главное – сохранить свободу». Так думал я в то время, так все мы думали уже не первый год. В худшем случае какой-то чиновник поставит какую-то печать на какую-то бумажку. Покойному Вайделю это вреда не принесет. Зато я получу еще на некоторое время вид на жительство в Марселе, а это мне необходимо. Я твердо верил, что если мне удастся раздобыть этот документ, то я смогу здесь обжиться по-настоящему и, как знать, избавлюсь, быть может, от своей страсти к постоянным переездам.

Сердце у меня сильно билось, когда я шел вверх по бульвару Мадлен. Сперва я подумал, что ошибся номером. Герб не висел больше над входной дверью! Ворота были заперты!

На улице перед домом на ледяном ветру топтались сбитые с толку люди.

– Консульство закрыто в связи с переездом в другое помещение... – Слова их звучали как стон. – Виз больше не выдают. Мы не сумеем уехать. На этой неделе, говорят, уходит последний пароход... Быть может, завтра придут немцы...

– Нечего зря волноваться, – вдруг громко сказал бородатый человек в форме французской трудовой армии. – Немцы, возможно, и придут, но в ближайшие дни наверняка никакого парохода не будет. Так что есть у вас виза или нет – один черт. Расходитесь-ка лучше по домам!..

Но люди не расходились. Гонимые страхом, они бесцельно кружились перед зданием, где прежде помещалось консульство, словно осенние

листья, взвихренные порывом ветра. Видимо, люди все еще надеялись, что железные ворота сжалятся над ними и распахнутся. Они были настолько измождены, что, казалось, пароход, которого они так страстно ждали, был лодкой Харона, но и эта лодка была для них недостижима, потому что в них еще теплилась жизнь, и это обрекало их на нескончаемые страдания.

Наконец все разошлись. Остался только высокий старик с гривой блестящих седых волос.

– С меня хватит, – мрачно сказал он. – Надеюсь, вы не считаете, что я должен идти искать новое помещение консульства? Все мои дети погибли в гражданскую войну. Жена скончалась, когда мы переходили через Пиренеи. Я все пережил... Смерть почему-то не берет меня. У меня седая голова и истерзанное сердце, зачем мне, молодой человек, воевать здесь, в Марселе, с этими сумасбродными консулами?

– Этот маленький мексиканский консул вовсе не сумасброд, – возразил я, – и обращается он с вами наверняка почтительно.

– Да, но ведь все дело в транзитных визах, – ответил мне старик. – Если даже я получу мексиканскую визу, мне придется начать бесконечные хлопоты, чтобы добиться транзитных виз. – Я хочу, чтобы пароход затонул в пути. Этого желания я не в силах в себе подавить. Так какой же мне смысл еще раз идти в мексиканское консульство, которое на днях снова откроется?

– Да, смысла нет, – согласился я.

Старик пристально посмотрел на меня и ушел.

## VIII

Я тоже ушел. Я направился вниз по улице. Трамвай обогнал меня и остановился метрах в пяти. На остановке произошла какая-то заминка. Кому-то помогали выйти из вагона.

– Гейнц! – заорал я.

И в самом деле, на асфальте мостовой стоял Гейнц. Опираясь на костыли, он медленно заковылял вверх по бульвару Мадлен. Он меня тоже узнал, но так задыхался, что не мог ответить.

Со времени лагеря он еще больше высох. Голова его казалась еще тяжелей, а плечи – еще уже. Глядя на него, я впервые изумился тому, что жизнь заперта в слабом теле, которое можно увечить и мучить. Да, именно заперта. В его ясных глазах искрилась насмешка над собственной беспомощностью, а большой рот кривился от напряжения.

Когда мы были в лагере, я часто пытался, причем самым нелепым способом, привлечь к себе его внимание.

Обычно он с глубочайшей сосредоточенностью вдруг останавливался на ком-нибудь свой взгляд и всякий раз обнаруживал что-то такое, от чего ясный свет его глаз вспыхивал еще ярче, – словно костер, в который подбросили охапку хвороста.

Быть может, поэтому я всегда искал случая завладеть его взглядом. Ведь даже во мне Гейнц находил что-то, сам не знаю, что именно, – нечто такое, что, мне казалось, я уже давным-давно утратил. И только пока глаза Гейнца были устремлены на меня, я чувствовал по его светлеющему взгляду, что это не так. Но при этом я понимал, как мало общего может быть у Гейнца со мной. Ему нравились качества, которых у меня уже не было и которые я не ценил – тогда, во всяком случае, я был в этом уверен. Такие, как безусловная верность, казавшаяся мне в то время бессмысленной и скучной, или надежность, в которой я все равно сомневался, или неколебимая вера, ставшая для меня чем-то наивным и бесцельным. Все это напоминало мне торжественное шествие со знаменами былой воинской славы по бескрайнему полю боя. И всякий раз, когда Гейнц отводил от меня глаза, у него вырывался жест, который я понимал так: «Конечно, ты тоже человек, но...»

После этого гордость удерживала меня от попытки сблизиться с ним до тех пор, пока другие чувства не оказывались сильнее, и тогда я снова старался привлечь к себе его взгляд – иногда тем, что предлагал ему

помощь, а иногда дурачествами. Все это вдруг всплыло в моей памяти, пока Гейнц ковылял мне навстречу. За последние недели я почти забыл Гейнца, забыл, что меня с ним связывало. Да, в Париже и позднее, по пути в Марсель, я много думал о нем и даже бессознательно искал его в потоке несчастных беженцев, потоке, который захлестнул все дороги и вокзалы. Но в Марселе он у меня совершенно вылетел из головы. Ведь часто вопреки обычным представлениям быстрее забываешь самое главное, забываешь потому, что оно не? заметно становится как бы частью тебя самого. А всякая чушь постоянно приходит на ум именно оттого, что она никак не растворится в сознании.

Когда Гейнц на мгновение ткнулся в мою грудь головой – он не мог выпустить костылей из рук – и когда его взгляд снова встретился с моим, я вдруг понял, что искали во мне его светлеющие глаза и что они сразу нашли: меня самого, и только. И я, к своей величайшей радости, вдруг осознал, что я все еще существую, что я не погиб ни на войне, ни в концлагере, ни от рук фашистских палачей, ни во время бесконечных странствий, ни от бомбежек, ни от всеобщей неразберихи, как бы велика она ни была, я не погиб, я не истек кровью, я был жив, и я стоял сейчас здесь, и Гейнц тоже стоял рядом со мной.

– Откуда ты? – одновременно спросили мы друг друга.

– Я спустился в Марсель с гор. Только что на твоих глазах вылез из трамвая. Первым делом я должен пойти в мексиканское консульство.

Я объяснил ему, что консульство на несколько дней закрыто. Мы сели за столик в каком-то маленьком грязном кафе. Тогда еще четыре раза в неделю пирожные продавали без карточек, и я побежал за ними. Гейнц засмеялся, когда я вернулся с большим пакетом, и сказал:

– Я ведь не девушка.

Но я заметил, что он, видимо, давно уже не ел ничего подобного.

– Мои друзья унесли меня от немцев, – рассказал он. – Несли по очереди. Так мы добрались до Луары. Я здорово страдал – можешь мне поверить, – что был для них обузой. Однако на Луаре нам встретился рыбак, который сказал, что только ради меня перевезет нас всех на тот... берегу И этим я как бы расквитался с моими товарищами. Но с нами был один парень – ты, верно, помнишь его – Гартман, – ему пришлось остаться, потому что лодка была перегружена. Понимаешь, он заставил меня поехать, а сам остался.

– Удивительно, – сказал я, – что ты все же добрался до Луары быстрее меня. Меня ведь немцы обогнали.

– Это потому, что ты, видно, был один... Так вот, чтобы я снова не

угодил в лагерь, меня спрятали в одной деревушке в департаменте Дордонь. А теперь мне достали визу. Надо же, чтобы консульство оказалось закрыто именно в тот день, когда я приехал в Марсель! – Он взглянул на меня, засмеялся и сказал: – А я иногда думал о тебе во время своих странствий.

– Обо мне?

– Да, я обо всех думал и о тебе тоже. Каким ты всегда был беспокойным, в любую минуту готов был сорваться с места. То одно тебе взбредет в голову, то другое. Я был уверен, что когда-нибудь еще встречу с тобой. Что ты здесь делаешь? Тоже хочешь уехать?

– Нисколько! – возразил я. – Я должен своими глазами увидеть, чем все это кончится.

– Если только хватит нашей жизни, чтобы увидеть конец. События этих лет меня здорово покорежили. Если бы ты только знал, как мне горько уезжать. Но мое имя стоит в списке «преступников», которых немцы требуют им выдать. И все же я остался бы, если бы не потерял ногу. Ведь теперь одно мое появление в любом публичном месте уже самодонос.

– Я хорошо знаю город, – сказал я. – Может, я могу тебе чем-нибудь помочь? Ты еще, чего доброго, от меня и помощи принять не захочешь?

Гейнц улыбнулся, пристально посмотрел на меня, и его глаза снова зажглись тем же ясным светом, что и прежде, когда мы встретились на улице. И я вновь почувствовал, что во мне есть еще нечто такое, от чего его глаза светлеют.

– Я знаю тебя достаточно хорошо. Какую бы штуку ты ни выкинул, как бы ни разошелся, каких бы глупостей ни натворил, я все равно убежден, что никогда, ни при каких обстоятельствах ты меня не подведешь.

Почему он мне раньше этого не сказал, до того как нас всех перемололи события последних месяцев? Я спросил его есть ли у него документы.

– У меня есть отпускное свидетельство из лагеря. – Как ты сумел его раздобыть? Ведь мы все вместе перелезли ночью через стену.

– Один из нас не растерялся и в последнюю минуту, когда все в лагере уже пошло вверх тормашками, сунул в карман пачку пустых бланков отпускных свидетельств. Потом я заполнил бланк на свое имя. На основании этого документа я получил разрешение на жительство в той деревне, где меня спрятали. Теперь у меня есть документ.

В кармане у Гейнца было еще несколько пустых бланков. Он дал мне один из них и объяснил, что не надо писать там, где стоит печать. Надо постараться так заполнить бланк, чтобы казалось, что печать поставлена на

нем в последнюю очередь.

Я попросил Гейнца еще раз встретиться со мной.

– Быть может, – сказал я, – я смогу быть тебе полезным. Я хорошо знаю район Старой гавани, места, где можно спрятаться. Кроме того, мне хотелось бы с тобой поговорить. В голове у меня вертятся разные мысли, с которыми я не могу справиться.

Гейнец внимательно посмотрел на меня, и вдруг я понял, что дела мои обстоят из рук вон плохо. Правда, меня это не очень-то беспокоило, но не признаться себе в этом я уже не мог. Молодость моя больше не повторится, а она идет прахом. Я растратил ее, мотаясь по концентрационным лагерям, скитаясь по дорогам, ночуя в номерах грошовых гостиниц, обнимая нелюбимых девушек. А впереди маячила ферма на берегу моря, где меня будут терпеть из милости. И я сказал вслух:

– Жизнь моя идет прахом...

Гейнец назначил мне свидание ровно через неделю, в тот же день, в тот же час, в том же кафе. Я по-детски радовался предстоящей встрече. Считал дни. И все же в конце концов я не пришел на свидание. Так уж вышло...

## **Глава четвертая**

Как-то поздно вечером ко мне вдруг пришел Жорж Бинне. Он был единственным человеком в Марселе, который знал, где я живу. Но до этого он никогда не бывал у Меня. Так далеко наша дружба в то время еще не зашла. Жорж сказал, что их мальчик внезапно заболел. Что-то вроде астмы. Приступы бывали и прежде, но не такие сильные. Нужно срочно найти врача.

– Правда, поблизости живет один врач, – объяснил мне Жорж. – Он обосновался в корсиканском квартале лет десять назад, когда его выгнали с флота. Но он пьяница и неопрятен. А Клодин уверяет, что среди немецбеженцев есть хорошие врачи. Она просит тебя помочь нам найти врача.

С первого дня знакомства с Жоржем Бинне я привязался к мальчишке. Ради него я часами простаивал в каких-то дурацких комитетах, чтобы на деньги, которые там выдавали беженцам, ожидавшим отъезда, купить ему то, о чем он мечтал. Болтая с Бинне, я всегда поворачивался к окну, у которого мальчик готовил уроки. А если я что-нибудь рассказывал, то бессознательно выбирал понятные ему слова. Иногда я брал его с собой – мы катались на лодке или гуляли в горах. Сперва он был молчалив. Когда он порывисто вскидывал голову, когда глаза его вдруг загорались, я думал, что в нем просто играет кровь, как в молодом жеребенке. Но все равно мне это нравилось. Я жил в свихнувшемся мире, но меня иногда успокаивал безмятежный, еще невинный взгляд ребенка; кроткое и гордое движение, которым Клодин предлагала мне рис; радостная улыбка мальчика при моем появлении. Потом я обнаружил, что ничто не ускользало от его внимания. И что он знал о нас всех куда больше, чем мы о нем. И эта внезапная болезнь, серьезность которой я тогда, безусловно, преувеличил, показалась мне покушением на его жизнь, попыткой каких-то неведомых мне сил – а может быть; просто грубой, тупой, подлой действительности – избавиться от него, навсегда закрыть его загорающиеся, пытливые глаза. Мне еще больше, чем Жоржу, не терпелось найти врача. Я навел справки в своем отеле. Меня послали в отель «Омаж» на улице Релэ – узенькой улочке возле Кур Бельзенс; там, в номере 83, живет в прошлом знаменитый врач, бывший директор дортмундской больницы. Из-за слова «в прошлом» я ожидал увидеть старика. Я совсем забыл, что для беженцев время оборвалось в день их отъезда с родины. Когда я постучал в дверь номера 83, я услышал молодой встревоженный женский голос. Женщина кого-то

успокаивала, должно быть, Врача. Видно, они испугались этого позднего стука – уж не полиция ли? Затем дверь открылась, но никто не вышел ко мне. Я увидел только голубую шелковую кайму на узком запястье. Я почувствовал легкое волнение – что-то вроде ревности, которая мучает меня иногда без всякого основания, – быть может, оттого, что этот незнакомый мне врач был таким известным и талантливым, что люди нуждались в нем, что он, возможно, был вовсе не старым, а женщина – кто знает – была нежной и красивой...

– Мне нужен врач, – сказал я.

И женский голос повторил, как мне показалось, не без радости:

– Нужен врач.

И тотчас же в дверях появился мужчина. Таким я и представлял себе врача. У него были волосы с сильной проседью и молодое лицо. И все же, несмотря на его молодость, на нем лежал отпечаток профессии. Тысячу или даже две тысячи лет назад врач, наверно, выглядел точно так же – тот же кивок головы, те же внимательные, пристальные и вместе с тем бесстрастные глаза, которые несметное число раз останавливались на людях, измученных физическими страданиями. В тот вечер мы едва обратили внимание друг на друга. Он коротко спросил меня о больном. Но мои сведения были для него недостаточно точными. Я так волновался за мальчика, что не мог ничего толком объяснить.

Мы молча пересекли пустынную, почти незастроенную Кур Бельзенс. На ее северной стороне все еще стояли фургоны беженцев. На веревке висело белье.

В окошке одного из фургонов горел свет. Оттуда доносился смех.

– Люди давно забыли, – сказал мой спутник, – что у фургонов есть колеса. Этот уголок на Кур Бельзенс кажется им теперь родиной.

– Пока их не прогонит отсюда полицейский.

– На другой конец площади – не дальше. А потом второй полицейский снова пошлет их назад. Им хоть не придется, как нам, пересекать океан.

– Вы, доктор, тоже хотите пересечь океан?

– Я вынужден это сделать.

– Почему?

– Да потому, что хочу лечить больных. Мне обещали дать отделение в больнице в Каксакас. Если бы эта больница находилась на Кур Бельзенс, мне не пришлось бы пускаться в такое путешествие.

– А где это, Каксакас?

– В Мексике, – сказал он с удивлением.

– Так вы тоже собираетесь в Мексику? – воскликнул я с еще большим

удивлением.

– Мне случилось как-то, много лет назад, вылечить сына одного крупного мексиканского чиновника.

– Трудно туда добраться?

– В том-то и дело, что чертовски трудно. Прямых пароходов нет. Вся сложность заключается в транзитных визах. Видимо, придется ехать американским пароходом. А значит, надо пересечь испанские и португальские воды. Теперь, говорят, иногда удается попасть в Мексику и другим путем: доехать на французском пароходе до Мартиники, а оттуда добираться через Кубу.

«Этот человек – врач до мозга костей, – подумал я. – Он нужен людям. Ему и в самом деле надо уехать. Не то что этому маэстро с черепом мертвеца, которому во что бы то ни стало хочется еще раз помахать дирижерской парочкой».

На пустыре, расположенном между родильным домом и Арабским кафе, спали двое нищих, тех самых, что лежат там всегда и днем. Руки, которые они день-деньской тянули за милостыней, служили им теперь подушкой. Нищие безмятежно спали на своей родной земле, им не было дела до того, что происходит вокруг. Стыд был им так же неведом, как и прогнившим деревьям, которые превращаются в труху. Бороды нищих кишели вшами, кожа покрылась струпьями. Так же как и у деревьев, у них не могло возникнуть желания покинуть свою родину.

Мы пересекли улицу Республики, совсем пустынную в этот час. Когда мы проходили по лабиринту переулков в районе Старой гавани, врач внимательно глядел по сторонам, запоминая, видимо, дорогу, чтобы не заблудиться, когда он будет один возвращаться домой. Ночь была тихая и холодная.

Я стукнул молотком в дверь на улице Шевалье Ру. Врач бросил острый взгляд на Клодин – мать ребенка, которого он должен вылечить. Затем он быстро прошел через крохотную кухню, прямо к кровати мальчика. Он сделал нам знак, чтобы мы вышли из комнаты. Жорж уже отправился на свою мельницу. Клодин, присев за кухонный стол, подперла рукой голову. Нежно-розовая полоска ладони подчеркивала линию ее подбородка. До сих пор я любовался Клодин, словно она была цветком или раковиной, только теперь, когда у нас появилась общая тревога, Клодин превратилась для меня в обыкновенную женщину, которая день-деньской работает, заботится о муже и ребенке, бьется из последних сил.

Для Жоржа Клодин была не чудом, а чем-то более обыденным и вместе с тем куда более значительным. Она стала меня спрашивать о

враче, а я все из того же странного чувства ревности рассыпался в похвалах. Вскоре он сам вошел в кухню. Он успокоил Клодин, сказав ей на хорошем французском языке, без всякого акцента, что болезнь кажется страшнее, чем есть на самом деле, что сейчас главное – ничем не волновать ребенка. Мне показалось, что это последнее замечание относилось ко мне, хотя на меня он и не взглянул, да мне и не в чем было себя упрекнуть. Он выписал рецепт. Несмотря на его возражения, я проводил его до улицы Республики. Он и теперь не глядел на меня и не задал мне ни одного вопроса о семье Бинне, словно он ни во что не ставил чужие рассказы и до всего хотел дойти сам. Я чувствовал себя школьником, которому и нравится новенький, и вместе с тем досадно, что тот не обращает на него никакого внимания. На деньги, полученные иной от какого-то комитета «для подготовки отъезда», я тут же, ночью, купил лекарство.

Когда я снова поднялся, к Бинне, мальчик уже совсем успокоился. Глядя на нас сонными глазами, он рассказал; что врач обещал ему принести завтра разнимающийся муляж человеческого тела. Засыпая, мальчик все еще говорил о враче. «Он был здесь всего десять минут» – подумал я, – и уже ребенок живет его обещаниями. У мальчишки появились новые мечты, ему открылся целый новый мир».

## II

Ну вот, теперь я подошел к главному. Это было двадцать восьмого ноября. Я запомнил дату. Разрешение на жительство в Марселе, продленное мне еще на месяц, истекало через несколько дней. Я долго ломал голову над тем, что предпринять. Заново зарегистрироваться, как вновь прибывший, предъявив отпускное свидетельство из лагеря, которое мне дал Гейнц? Снова пойти к, мексиканцам? Я сел за столик в «Мон Верту». В этом кафе я бывал теперь регулярно раза четыре в неделю.

В кафе я пришел от Бинне. Мальчик уже почти выздоровел. С врачом мы за это время не то чтобы подружились – для этого он мало подходил, – но стали добрыми знакомыми. Нам было с ним интересно – он так отличался от нас. Едва переступив порог, он принимался рассказывать, как продвигаются его дела с отъездом. Все время возникали какие-то новые затруднения. Денно и ночью, говорил он нам, его преследует одно видение: белая стена той больницы, где он должен работать, и больные, которые ждут врача. Его одержимость нравилась мне, а самоуверенность забавляла. Врач был так поглощен своей будущей деятельностью, что ему казалось, мы не можем, не разделять его чувства. Штамп, визы уже стоял у негр – в паспорте. Когда начинались разговоры о визах, мальчик всегда отворачивался к стене. Я думал тогда по своей глупости, что ему просто наскучили эти разговоры.

Как только врач прикладывал ухо к груди ребенка, чтобы его выслушать, он успокаивался и забывал о своих визах. На его лице, напряженном лице затравленного человека, одержимого навязчивой идеей, появлялось выражение мудрости и доброты, словно жизнь его вдруг перестала зависеть от решений чиновников, консулов и подчинилась силам иного порядка.

Я сидел в кафе и думал об отъезде доктора и о способах продлить свое пребывание в Марселе. Кафе «Мон Верту» находится на углу Каннебьер и Бельгийской набережной. То что произошло затем, не только не омрачило, я, наоборот, словно озарило в тот предвечерний час и меня, и все вокруг, все – даже самое праздное и незначительное в моей прежде праздной и незначительной жизни. Между столиком, за которым я устроился, и буфетом были еще Два столика. За одним из них сидела маленькая женщина с растрепанными волосами. Она всегда была здесь в это время, всегда ставила свой стул боком и всегда рассказывала всем одно и то же, и

всякий раз глаза ее наполнялись при этом ужасом. Она рассказывала, как потеряла своего ребенка во время бегства из Парижа. Она посадила мальчика в машину к солдатам, потому что он устал. И вдруг появились немецкие самолеты и принялись бомбить шоссе. Пыль, вопли... А когда все кончилось, ребенка не оказалось в машине. Она нашла его только через несколько недель недалеко от шоссе, на каком-то хуторе. Он никогда уже не будет таким, как другие дети.

За ее столиком сидел еще долговязый, неприятный чех, который во что бы то ни стало хотел уехать в Португалию. Не только для того, чтобы оттуда отправиться в Англию и принять участие в борьбе с немцами. Все это он нашептывал на ухо каждому встречному. Некоторое время я даже прислушивался, цепenea от скуки, к их разговору. За другим столиком сидела группа местных жителей. Правда, это были не настоящие марсельцы, но все они уже прочно обосновались в здешних местах и жили неплохо, умело извлекая выгоду из страха и предотъездной горячки прибывающих беженцев. Один из них, под общий хохот; рассказывал остальным, как два молодых человека, бежавших вместе из лагеря, наняли за бешеные деньги маленький пароходик, чтобы со своими женами – оба они только что женились – покинуть Францию. Однако судовладелец обманул их – в его посудине оказалась течь. Они добрались до испанских берегов, но дальше плыть не смогли, им пришлось вернуться назад. Они вошли в устье Роны, там их обстреляла береговая охрана и вынудила стать на якорь. Эту историю я слышал уже тысячу раз, новым для меня был только ее конец. Обоих мужчин вчера осудили на два года каторжных работ!

Та часть кафе, в которой мы сидели, выходила на Каннебьер. Со своего места я видел Старую гавань. У Бельгийской набережной стояла канонерка. За парашетом набережной среди мачт и рей рыбачьих лодок поднимались высокие серые трубы, – я видел все это в окно, сквозь клубы табачного дыма, наполнявшего кафе.

Заходящее солнце освещало форт. Уж не задул ли снова мистраль? Женщины на улице натянули на головы капюшоны. Лица людей, входивших в кафе через вертящуюся дверь, были напряженными. От ветра и тревоги. Никто не любовался морем, освещенным солнцем, зубцами церкви св. Виктора, сетями, которые рыбаки разложили для просушки вдоль всего причала. Люди говорили, не умолкая, о транзите, о паспортах, срок которых истекал, о трехмильной зоне, курсе доллара, о разрешении на выезд и опять о транзите. Мне захотелось встать и уйти. Мне все опротивело.

И вдруг мое настроение изменилось. Почему? Я никогда не знаю, чем бывают вызваны такие перемены. Болтовня вокруг показалась мне уже не отвратительной, а захватывающей. Извечная портовая болтовня, такая же древняя, как сама Старая гавань, а быть может, ещё древнее. Чудесные, старые как мир портовые сплетни, не затихавшие с тех пор, как шумит Средиземное море. Сплетни финикийские я критские, греческие и римские... Никогда не переводились болтуны, боявшиеся не попасть на отходящий корабль и не сберечь своих денег; люди, бегущие от всех действительных и мнимых опасностей; дети, потерявшие своих матерей; матери, потерявшие своих детей; остатки разгромленных армий, беглые рабы, изгои – выходцы из разных стран. Все они в конце концов добирались до моря и старались попасть на корабли, чтобы открыть новые страны, откуда их тоже потом прогонят. Все они бежали от смерти, и смерть преследовала их по пятам. Здесь, должно быть, всегда стояли на якоре корабли – ведь это был рубеж Европы, и море врзалось в сушу. Здесь всегда искали временного прибежища, потому что дороги здесь упирались в море. Я чувствовал себя древним, как мир, мне казалось, что я живу на земле уже тысячи лет, казалось, что все это я уже пережил, и вместе с тем я ощущал себя молодым, жадным до всего, что ждет меня впереди, я чувствовал себя бессмертным. Но это чувство вскоре прошло, оно было слишком сильным для меня, слабого. Меня снова охватило отчаяние, отчаяние и тоска по родине. Мне было жаль своих зря потраченных двадцати семи лет, растерянных в чужих странах.

За соседним столиком теперь говорили о пароходе «Алезия», который направлялся в Бразилию, но был задержан англичанами в Дакаре, потому что на его борту находились французские офицеры. Все пассажиры попали в концлагерь где-то в Африке. Как весело говорил об этом рассказчик! Должно быть, оттого, что те, кому посчастливилось попасть на «Алезию», были теперь так же далеки от цели, как и он сам. Я и эту историю слышал уже несметное число раз. Я тосковал по простой песне, по птицам и цветам, я тосковал по голосу матери, которая меня бранила, когда я был мальчишкой. О, убийственная болтовня!

Солнце скрылось за фортом св. Николая. Пробыло шесть. Мой равнодушный взгляд упал на дверь. Она снова завертелась, и в кафе вошла женщина. Что мне вам об этом сказать? Я могу сказать только одно: она вошла. Человек который покончил с собой на улице Вожирар, мог бы это выразить иначе. Я могу сказать только одно: она вошла Вы, надеюсь, не потребуете, чтобы я вам ее описал. Да в ту минуту я и не разглядел толком, была ли она блондинкой или брюнеткой, совсем молоденькой или

постарше. Она вошла, остановилась у дверей и оглядела зал. Лицо ее выражало напряженное ожидание, почти страх. Словно она надеялась и вместе с тем боялась кого-то здесь увидеть. Какие бы мысли ни волновали ее, они не имели никакого отношения к визам, в этом я был уверен. Сначала она пересекла ту часть зала, которую и я мог оглядеть со своего места и которая выходила на Бельгийскую набережную. Я следил за ней и видел, как острый кончик ее капюшона вырисовывается на фоне большого, уже посеребрившегося окна. Вдруг меня охватил страх, что она больше никогда не вернется – ведь в дальней части кафе тоже была дверь на улицу, она могла выйти через эту дверь. Но незнакомка сразу же повернула назад. Ее юное лицо выражало уже не ожидание, а разочарование.

Когда я видел женщину, которая мне нравилась, но которую ждал другой, мне до сих пор всегда удавалось уверить себя, что я с легкостью уступаю ее тому, кто ее ждет, что я не теряю при этом чего-то бесценного. Но женщину, которая только что прошла мимо меня, я никому не мог уступить. То, что она пришла сюда не ко мне, было ужасно. Ужасней могло быть только одно – если бы она вообще не пришла. Она еще раз внимательно осмотрела ту часть зала, где я сидел. Она оглядывала каждый столик, каждое лицо, искала, как ищут дети, – старательно и беспомощно. Что же это был за человек, которого она искала с таким отчаянием? Кто в состоянии заставить ждать себя так напряженно? По ком можно так тосковать? Я был готов избить человека, посмеявшегося не прийти сюда.

Наконец она заметила и наши три столика, стоявшие несколько в стороне. Она внимательно оглядела сидевших за ними людей. Как это ни глупо, но мне на мгновение показалось, что она ищет меня. Она взглянула и на меня, но пустыми глазами. Я был последним, не кого она посмотрела. Затем она и в самом деле ушла. В окне еще раз мелькнул острый кончик ее капюшона.

### III

Я поднялся к Бинне. Врач сидел на кровати мальчика. Видно, он уже окончил свой неизбежный доклад о том, как идут дела с отъездом. Его седая, коротко остриженная голова лежала на обнаженной, смуглой груди ребенка. И пока он выслушивал мальчика, его лицо, измученное ожиданием виз, искаженное постоянной спешкой и страхом остаться здесь, в Марселе, совершенно изменилось – оно выражало бесконечное терпение. Человек, за минуту до того одержимый стремлением во что бы то ни стало, ценою любых жертв, как можно скорее покинуть Европу, казался теперь воплощением доброты, словно он ничем другим не был занят и ничего другого не желал, как только расслышать все шумы в легких ребенка и найти способ побыстрее поставить его на ноги. Мальчик тоже притих, врач как бы возвращал ему покой, который сам черпал в ребенке. Наконец врач выпрямился, ласково шлепнул мальчишку, одернул его рубашонку и обернулся к родителям. Дело в том, что он относился к Жоржу Бинне, поскольку тот был единственным мужчиной в доме, как к отцу ребенка. Мне даже казалось, что он несколько изменил отношение Жоржа не только к мальчику, но и к Клодин благодаря тому, что обращался с ними обоими, как с родителями, – ведь больному ребенку положено иметь родителей. Так врач незаметно повлиял на взаимоотношения людей, живших в этой комнате. Он сделал это ради скорейшего выздоровления своего маленького пациента. Но как, только болезнь будет побеждена, все эти люди снова станут ему безразличны.

Врач наставлял родителей, чем кормить мальчика. Я сидел на ящике с углем. Я весь превратился в слух и зрение. Я стал вдруг – удивительно пронизательным. То, что я пережил только что в кафе, было так мимолетно, что не оставило во мне никакого следа, если не считать какого-то жжения в груди и страшной, иссушающей жажды. Вдруг меня охватила безумная ревность к врачу. Я ревновал к врачу, потому что он уже почти вылечил мальчика, до которого ему, вероятно, не будет никакого дела, как только тот выздоровеет, и еще потому, что он имел известную власть над людьми – и вовсе не благодаря интригам и хитрости, а благодаря знаниям и терпению. Я завидовал его знаниям, его голосу, который мальчик так любил. Я ревновал потому, что он был не таким, как я, потому что он не страдал, потому что у него не пересыхало во рту, как у меня, потому что в этом человеке было нечто недоступное мне, хотя он сам никогда не смог бы

раздобыть себе нужные визы или вид на жительство.

Я грубо прервал его. Я заявил, что медицинской науке – грош цена, что ее вообще не существует. Никогда еще доктора не вылечили ни одного человека – больные сами выздоравливают от стечения различных обстоятельств. Врач пристально посмотрел на меня, словно хотел поставить диагноз моему недугу, затем спокойно сказал, что я прав.

– Врач только в силах устранить от больного все то, что мешает его выздоровлению, в лучшем случае очей, осторожно попытаться дать больному то, чего не хватает его. телу или душе, – продолжал он. – Но даже если все это удастся сделать, есть еще нечто, и, быть может, самое главное, хотя я не знаю, как это выразить словами, нечто такое, над чем не властен ни больной, ни врач... Я имею в виду врожденный запас жизненных сил.

Мы слушали врача, но он вдруг вздрогнул, взглянул на часы и убежал, крикнув на ходу, что у него свидание с секретарем сиамского консула, а сиамский консул дружен с начальником одной экспедиционной конторы, которая может помочь достать транзитную визу в Португалию, несмотря на отсутствие визы в Америку. Хлопнула дверь. Жорж рассмеялся, а мальчик отвернулся к стене.

## IV

Следующий день был безветренный и пасмурный. Небо было таким же серым, как канонерка, которая все еще стояла у Старой гавани. Люди по-прежнему толпились на набережной и с любопытством разглядывали канонерку, словно она могла рассказать им, как адмирал Дарлан намерен с ней поступить. Англичане подходили к границе Триполитании. Отдаст ли Франция добровольно свой порт Бизерту немцам или окажет сопротивление? Оккупируют ли немцы в ответ на это юг Франции? Вот вопросы, которые волновали всех в те дни. В случае оккупации англичане могут разбомбить Марсель. Тогда сразу отпадут все заботы, связанные с транзитными визами.

Я отправился в кафе «Мон Верту». Мое вчерашнее место было свободно. Я курил и ждал. Конечно, ждать ее на том же месте было бессмысленно, но где еще я мог бы ее ждать?

Уже давно прошел тот час, когда накануне она появилась здесь. Но я был не в состоянии подняться с места. Ноги словно налились свинцом. Меня парализовало это глупое ожидание. Быть может, я сидел так только оттого, что почувствовал смертельную усталость. Кафе было полно народу – в четверг разрешали продажу алкогольных напитков. Я уже изрядно выпил.

Вдруг к моему столику подошла Надин. Милая Надин, моя бывшая подруга. Хотите я вам ее опишу? Я легко могу себе ее представить. Она всегда была мне совершенно безразлична. Надин спросила меня, что я делал все это время.

– Ходил по консульствам.

– Ты? С каких это пор ты тоже решил уехать?

– А что мне делать, Надин? Ведь все уезжают. Разве лучше окопаться здесь в каком-нибудь паршивом лагере?

– Мои братья тоже в лагере, – успокоила меня Надин, – один в оккупированной зоне, другой в Германии. В каждой семье теперь кто-нибудь сидит за колючей проволокой. Вы, иностранцы, какие-то странные люди. Вы никогда не ждете, пока все образуется само собой.

Надин легко провела рукой по моим волосам. Я не знал, как мне от нее отделаться, не обидев ее.

– Какая ты красивая, Надин! – сказал я. – Видно, тебе неплохо жилось все это время.

– Мне повезло, – ответила она, лукаво усмехнувшись, и наклонилась ко мне так, что наши лица соприкоснулись. – Он – моряк. Его жена куда старше его. К тому же теперь она застряла в Марракеше. Он недурен собой, но, к сожалению, меньше меня ростом.

Надин сделала жест, которому научилась в магазине «Дам де Пари», – она слегка спустила с плеч пальто для того, чтобы показать его светлую шелковую подкладку и свое новое платье песочного цвета. Я был ошеломлен этой недвусмысленной демонстрацией земного счастья.

– Смотри, не обидь своего дружка! Он ведь ждет тебя. Она ответила, что это не имеет значения. Но все же в конце концов – ценою обещания встретиться с ней через неделю – мне удалось от нее отделаться. Я твердо знал, что никогда не явлюсь на это свидание. С тем же успехом, казалось мне, я мог бы условиться с Надин о встрече через семь лет.

Я увидел в окно, как Надин шла вверх по Каннебьер. Вслед за тем спустили жалюзи. Наступил час затемнения. Мне было тяжело не видеть больше моря и теней на улице. Мне казалось, что меня хитростью заманили сюда и заперли со всеми демонами, наполнявшими сегодня кафе «Мон Бертю». В моем усталом, истерзанном ожиданием мозгу билась только одна мысль: как не хотелось бы мне погибнуть вместе со всем этим сбродом, если на город вдруг налетит эскадрилья бомбардировщиков! Впрочем, и это было мне в конечном счете безразлично. Чем, собственно говоря, я отличался от них? Тем, что не хотел уехать? Но ведь и в этом я, пожалуй, обманывал себя.

И вдруг мое сердце отчаянно забилося. Еще не видя ее, я уже знал, что она появилась в дверях. Она вошла так же торопливо, как накануне, словно бежала от кого-то или кого-то искала. Ее юное лицо было так напряжено, что мне стало больно. Я подумал о ней, будто она была моей дочерью: «Здесь ей не место, особенно в этот час». Она опять осмотрела все кафе, переходя от столика к столику. Затем вернулась назад, поблуднев от отчаяния. И все же снова начала искать, вглядываясь в незнакомые лица сидевших людей. Одинокая и беспомощная бродила она посреди этого сонма вырвавшихся из ада чертей: Наконец она подошла к моему столу, и ее взгляд остановился на мне. «Она ищет меня! – подумал я. – Кого же ей искать?» Но она уже отвела глаза и выбежала из кафе.

Я отправился на улицу Провидения. Комната моя показалась мне холодной и пустой, словно меня ограбили во время моего отсутствия. Голова моя была тоже пуста. Память не сохранила даже ясного образа. След был потерян.

Я сидел за столом, когда постучали в дверь. Вошел незнакомый мне коренастый человек в очках. Он спросил меня, не знаю ли я; куда исчезла его жена. Она почему-то не живет в своем номере. Из его вопросов я понял, что он и есть тот самый человек, которого уводили в наручниках, Когда я на крыше спасался от облавы. Я принялся ему деликатно объяснять, что потом, к сожалению, арестовали и его жену. Он пришел в неопишную ярость. Глядя на его толстую шею, я всерьез испугался, что он задохнется от бешенства.

– Меня самого, – рассказал он, – под конвоем отвезли в тот департамент, откуда я приехал в Марсель. Но тамошний чиновник был в добром расположении духа и крикнул моим конвоирам: «Отпустите его на все четыре стороны!..» Я еще надеялся попасть на пароход, а теперь вдруг оказывается; что жену бросили в лагерь Бомлар! Понятно, они Хотят получить за нее выкуп.

И он тут же помчался в город, чтобы поднять на ноги всех друзей; Как я ему завидовал! Маленькой толстенная женщина была его женой, это был непреложный факт. Правда, она попала в лагерь, но зато он знал, где она находится. Она не могла исчезнуть. Он имел полную возможность сбиться с ног, вызволяя ее из лагеря. Он мог ломать свою круглую как шар голову над тем, как ее поскорее освободить.

А у меня, у меня не было ничего, за что я мог бы ухватиться. Я лег в постель – меня знобило. Я хотел вновь увидеть ее лицо, хоть на миг представить себе ее светлый облик. Я искал и искал его в клубах горького табачного дыма, который постепенно наполнил всю комнату. Дом словно вымер. Легионеры отправились на какую-то попойку. Это был один из тех вечеров, когда ты вдруг теряешь все, словно весь мир в заговоре против тебя,

Я проснулся от воя собак в соседнем номере. Я постучал в стену, но вой только усилился. Тогда я вскочил с постели, и бросился туда, чтобы установить тишину. Я увидел двух огромных догов и кособокую, до безобразия пестро одетую женщину с дерзкими глазами. Я тут же решил, что она циркачка и выступает с этими псами в одном из тех убогих балаганов, которые показывают свои дурацкие представления в переулках возле Старой гавани. Я объяснил ей по-французски, что ее Питомцы мешают мне спать. Она ответила мне по-немецки, и весьма наглым тоном, что, увы, мне придется привыкнуть к вою, так как эти собаки – ее дорожные спутники, а она ждет не дождется получения транзитной визы, чтобы поскорее отправиться с ними в Лиссабон.

– Неужели вы так дорожите этими псами, что готовы тащить их за собой через весь мир? – спросил я ее.

Она рассмеялась и закричала мне в ответ:

– Да я бы их тут же прирезала ко всем чертям, не будь я с ними связана особыми обстоятельствами. У меня был билет на пароход «Экспорт-лайн». Американскую визу я тоже получил а. Но когда я на днях отправилась к консулу за продлением, то оказалось, что я должна представить еще одну новую бумагу – безупречную характеристику, нечто вроде морального поручительства двух американских граждан в том, что я – воплощение всех добродетелей. Ну где мне, одинокой женщине, было найти двух американцев, которые прозакладывали бы свои головы, что я не совершила, никаких растрат, что осуждаю русско-германский договор, что к коммунистам всегда относилась, отношусь и буду относиться отрицательно, что я не принимаю, у себя незнакомых мужчин... Одним словом, что я веду, вела и буду вести высоконравственный образ жизни. Я уж было впала в отчаяние, как вдруг случайно повстречала знакомых американцев из Бостона – пожилую пару, с которыми я, как-то летом вместе жила на одном морском курорте. Он занимает какое-то положение в компании «Электромоторс», а с такими людьми консул считается. Мой американец хотел немедленно уехать на клиппере – ему здесь совсем перестало нравиться, но загвоздка была в том, что их любимых догов не брали на клиппер. Мы стали жаловаться друг другу на наше безвыходное положение и тут же сообразили, что можем друг другу помочь. Я обещала американцам перевезти, их догов через океан на обычном пароходе, а они

дали мне за это пресловутое поручительство. Теперь вы понимаете, почему я этих собак мою, чищу щеткой, ухаживаю за ними – ведь они мои поручители. Будь они не собаки, а дикие львы, я все равно потащила бы их с собой через океан.

Немного развеселившись, я вышел из отеля. Утро было холодное. Я выбрал – дешевизны ради – маленькое захудалое кафе, расположенное тоже на Каннебьер, как раз напротив «Мон Верту». Я наблюдал в окно толчею на улице. Мистраль то сгонял, то разгонял тучи – внезапно начинал брызгать дождь, и так же внезапно опять выглядывало солнце. Стекла кафе дребезжали. Я думал о предстоящем визите в Управление по делам иностранцев, я хотел завтра попытаться там счастья и, если понадобится, предъявить то отпускное свидетельство из лагеря, которое мне дал Гейнц.

И вдруг в дверях появилась она. Как раз в ту минуту я о ней не думал. С порога она одним взглядом охватила помещение этого жалкого кафе, где, кроме меня, сидели еще только трое каменщиков, прятавшихся от дождя. Из-за капюшона лицо ее казалось еще меньше и бледней, чем прежде.

Я выскочил на улицу. Женщина скрылась в толпе. Я бегал вверх и вниз по Каннебьер, расталкивая людей, прерывая их болтовню о визах, пароходах и консульствах. Далеко впереди, в самом конце улицы, я увидел высокий остроконечный капюшон. Я помчался за ним следом, но он повернул на Бельгийскую набережную и исчез. Потом капюшон мелькнул на каменной лестнице, соединяющей набережную с верхней частью города, и я побежал вдогонку по длинным, пустынным улицам до церкви св. Виктора. Женщина остановилась у входа в церковь, возле лотка торговли свечами. И тут я увидел, что это была вовсе не та, которую я искал, а какая-то чужая, уродливая баба со сморщенным лицом скупердяйки. Я услышал, как она торговалась, покупая свечку, которую хотела поставить ради спасения души.

Снова полил дождь. Я зашел в церковь и присел на ближайшую скамью. Не знаю, как долго я просидел, уронив голову на руки. Опять все рухнуло. Я снова остался ни с чем. И все же я не мог отказаться от начатой игры. Вдруг я вспомнил, что сегодня утром должен был встретиться с Гейнцем. Но давным-давно миновал час, на который было назначено свидание, и вместе с ним ушло, как мне казалось, все самое лучшее, что было дано мне в жизни. Как холодно в этой церкви! Да и не только в церкви. Сквозь приоткрытые двери тоже тянуло холодом и сыростью. Мистраль дул так, что пламя свечей на алтаре металось. Люди то и дело входили в церковь, но она по-прежнему оставалась пустой. Куда же все они девались? До меня доносилось тихое пение, но я не понимал, откуда оно

исходит, потому что в церкви не было ни души. Потом я заметил, что прихожан поглощала боковая стена. Я пошел за ними, увидел дверцу и очутился на лестнице, выбитой в скале. Чем ниже я спускался, тем отчетливей слышалось пение. Мерцающий свет лампад падал на ступени. Надо мной был город, а мне чудилось, что я нахожусь под дном морским.

Здесь служили мессу. Обитые капители старинных колонн в чаду ладана казались мордами каких-то священных животных. Седовласый бородатый старик священник был облачен в богато расшитую белую ризу. Он походил на тех евангельских пастырей, которые совершали молебствия в грозные часы божьей кары, когда многогрешные города, не внявшие слову господнему, погружались в морскую пучину. Бледные мальчики-хористы, подобные чахлой поросли, которой не суждено стать могучими деревьями, с пением носили между колоннами мерцающие свечи. Тонкий дымок зыбкими волнами струился к потолку. Да, конечно, над ними шумело море. Вдруг пение стихло. Старческим голосом, слабым и вместе с тем суровым, начал священник свою проповедь. Он поносил нас за трусость, за лживость, за страх перед смертью.

Он говорил, что и сегодня мы собрались здесь только потому, что это подземелье кажется нам надежным убежищем. А почему оно так надежно? Почему устояло оно перед временем, пережило войны двух тысячелетий? Потому, что тот, кто вырубил себе храмы во многих скалах Средиземноморья, не ведал страха.

«Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников... в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями».<sup>[2]</sup>

На лбу у старца вздулись жилы, голос его угас. Казалось, подземная церковь погружалась все глубже, и люди, дрожа от стыда и страха, напряженно вслушивались в исполненное горечи безмолвие старого священника. И тут запел хор. Голоса мальчиков звучали с невыносимой ангельской чистотой, вселяя в наши души бессмысленную надежду, которая не покидала нас, пока не отзвучала последняя нота. Священник подхватывал молитву, и глухие звуки, вырывавшиеся из его груди, как бы спорили с ангельским пением, пробуждая в нас тяжелое раскаяние.

Мне не хватало воздуха. Я не хотел навсегда оставаться на дне морском. Я предпочитал погибнуть там, наверху, вместе с такими же людьми, как я. Я украдкой выбрался наверх. Воздух был холодный и ясный. Дождь прекратился, мистраль затих, звезды уже сияли между зубцами

форта св. Николая, расположенного как раз напротив церкви св. Виктора.

## VII

На следующий день мальчику разрешили в первый раз выйти на улицу. Клодин попросила меня погулять с ним на солнышке. Это поручение было мне по душе. Медленно шли мы вверх по солнечной стороне Каннебьер. И я снова почувствовал былую близость с мальчиком, хотя для этого не было никаких оснований. Просто мне хотелось, чтобы улица была бесконечной, чтобы солнце неподвижно застыло в небе, а мальчик шел бы и шел рядом со мной, касаясь головой моей руки. Он с трудом передвигал ноги и сам разговора не заводил – только отвечал на мои вопросы. Так я узнал, что он хочет быть врачом. Я сразу почувствовал ревность, хотя его глубокие и спокойные глаза снова смотрели на меня с полным доверием. Вскоре он так устал, что я его уже почти тащил. Я повел его в кафе на Кур д'Асса. К сожалению, там не было ни шоколада, ни фруктового сока – нам подали какой-то жидкий, сильно подкрашенный напиток. И все же лицо мальчика озарилось радостью, которая, казалось, могла быть вызвана только чем-то необычайным; что редко встретишь в жизни. Я его очень любил. Я смотрел в окно на обсаженную кривыми деревьями, все ещё залитую солнцем площадь. Перед большим домом напротив толпились люди.

– Что там случилось? – спросил я официанта:

– Там? Да ничего, – ответил он. – Это испанцы. Они стоят в очереди у дверей мексиканского консульства.

Я оставил мальчика одного перед стаканом зеленоватого лимонада. Я пересек площадь и взглянул на высокий портал, украшенный большим гербом. К моему изумлению, он сиял свежими красками, на нем больше не было никаких следов времени. Я смог разглядеть даже змею в клюве орла. Испанцы смотрели, как я изучал тер б. и смеялись.

Только од ид из них сказал мне с раздражением:

– Мосье, становитесь в очередь.

Я встал в очередь. До меня долетали те же слова, которые я слышал несколько месяцев назад перед мексиканским посольством в Париже. Снова говорили, и теперь с еще большей уверенностью, что из Марселя в Мексику отправятся пароходы, и снова называли их имена: «Республика», «Эсперанса»; «Пасионария». Как можно сомневаться в том, что эти пароходы и в самом деле отплывут из Марселя, раз люди так упорно называют одни и те же имена? Названия этих пароходов никогда не сотрут губкой с черной дощечки, висящей перед пароходством, никакие бомбежки

не уничтожат порты на их пути, для них не закроют морские проливы! На таком пароходе, с такими попутчиками и я бы охотно уехал куда угодно!

Вскоре я оказался в подъезде. Привратник бросился мне навстречу словно ждал, меня. Этого худого человека с лицом цвета дубленой кожи едва можно было узнать, о новом; костюме у него был весьма горделивый вид, и от одного этого у всех нас окрепла надежда на отъезд. Меня провели в приемную. Теперь это была уже не плохонькая комнатка, а просторный, внушающий уважение зал с перегородкой и окошечками. А за перегородкой – у огромного стола сидел маленький консул, и его самые живые в мире глаза сияли. Я хотел было тут же незаметно сбежать, но он вскочил и крикнул мне:

– Наконец-то вы пришли! Мы вас повсюду искали. Вы неточно указали свой адрес. Мы получили подтверждение моего правительства относительно вас.

Я застыл на месте. «Значит, этот Паульхен и в самом деле имеет власть, – подумал я. – Значит, паульхенам все же дана известная власть на земле». В своем смятении я сделал то, что было проще всего, – я слегка поклонился. Консул весело посмотрел на меня. Я понял, что означал его насмешливый взгляд: я, мол, палец о палец для тебя не ударил, в этой игре действовали совсем другие силы. «Посмотрим еще, – подумал я, – кто из нас будет смеяться последним». Консул попросил меня пройти за перегородку, и, пока я ждал, у окошечка перебивало не менее двадцати испанцев, одержимых манией отъезда. Среди них был и тот седовласый старик, который спрашивал у меня, стоит ли ему еще обивать пороги консульств. Но, несмотря на мой совет, несмотря на свое полное отчаяние, он все же опять пришел. Быть может, он надеялся найти – в Мексике вторую молодость, надеялся на вечную жизнь, на чудо, которое вернет ему его сыновей. Принесли мое досье, и маленький консул принялся его листать, шелестя бумагами.

Вдруг он обернулся ко мне; глаза его искрились, и мне почему-то показалось, что он пытался усыпить мою бдительность.

– А собственно говоря, какие у вас документы, господин Зайдлер? – спросил он, весело, едва ли не со смехом глядя на меня. – Здесь есть несколько ваших соотечественников, которые уже два месяца как получили визы. Они ждут подтверждения немецкого правительства, что больше не являются немецкими гражданами. Дело в том, что без такой бумаги префектура не выдает визы на выезд из Франции.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Мы оба отлично понимали, что наш поединок продолжается, и не скрывали своей радости, вызванной тем,

что являемся достойными друг друга противниками.

– Вам нечего волноваться, господин консул, – сказал я, – у меня есть удостоверение беженца, подписанное саарскими и эльзасскими властями.

– Но вы же родились в Шлезвиге, господин Зайдлер.

Мы снова весело посмотрели друг другу в глаза.

– У нас в Европе, – начал я высокомерно, – почти никто не имеет документов из тех мест, где он родился... Во время плебисцита я находился в Сааре.

– Простите, но тогда я вынужден еще больше тревожиться за вас, – ведь в таком случае вы почти француз. А это значит, что при получении визы на выезд вы столкнетесь с особыми трудностями.

– Надеюсь, что с вашей помощью мне удастся все уладить, – сказал я. – Как вы мне советуете действовать?

Он посмотрел на меня с улыбкой, словно мой вопрос был изящной остротой.

– Получив у меня визу, вы прежде всего отправитесь в американское Бюро путешествий и попросите выдать вам справку, что ваш проезд оплачен.

– Оплачен?!

– Конечно, оплачен, господин Зайдлер. Ваши друзья, которые, заботясь о сохранении вашей жизни, выхлопотали вам визу моего правительства, – полностью оплатили ваш проезд пароходной компании «Экспорт-лайн» в Лиссабоне. В вашем досье есть документ, это подтверждающий. Вы удивлены?

Конечно, я был удивлен. Стоило Вайделю отправиться на тот свет, как выяснилось, что его переезд через океан отлично организован. Его досье заполнилось нужными документами, которые оказались безупречными именно потому, что были ему уже не нужны. Словно для подобных ему людей смерть была неременным условием, чтобы друзья о них вспомнили и все до мелочей уладили.

– Со справкой из Бюро путешествий, – продолжал консул, – и с моей визой вы должны тотчас же пойти в американское консульство и испросить себе разрешение на транзит...

– В американское консульство?

Он бросил на меня острый взгляд.

– Надо думать, что, несмотря на все ваши таланты, вы не ходите по воде, аки по суше. Прямого парохода в Мексику нет. Следовательно, вам нужна транзитная виза.

– Но говорят, что в Мексику будут прямые рейсы.

– Конечно, говорят, Но пока что эти рейсы – плод воображения. «Экспорт-лайн», поверьте, много надежнее. Во всяком случае, попытайтесь получить американскую транзитную визу. У вас более светский вид, чем обычно бывает у ваших коллег. Не сомневаюсь в вашей находчивости. Попробуйте ее применить в американском консульстве. Затем вам надо будет позаботиться о транзитных визах через Испанию и Португалию.

Он сказал эту последнюю фразу скороговоркой, тоном человека, который объясняет что-то бегло потому, что не верит в возможность осуществления этого дела и не хочет поэтому зря тратить силы.

«Во всяком случае, – думал я, пересекая площадь, где за это время стало уже холодно и тихо, – имея такую великолепную визу, я смогу продлить в полиции право на жительство в Марселе. Ведь мне предстоит улаживать всякие предотъездные дела, добиваться транзитных виз, а это длится не одну неделю. Теперь мне поверят, что я всерьез намерен уехать, и поэтому разрешат пока остаться здесь».

Мальчик жевал соломинку, торчавшую из пустого стакана. Я отсутствовал, вероятно, не меньше часа. Мне было стыдно, и я боялся его взгляда. Лишь на обратном пути домой он сказал мне:

– Так вы, значит, тоже удираете?

– Откуда ты это взял? – спросил я.

– Вы были в консульстве, – ответил он. – Все вы внезапно появляетесь и так же внезапно исчезаете.

Я обнял его, поцеловал и поклялся, что никогда от него не уеду.

## VIII

Придя домой, мы застали врача. Он был недоволен, что ему пришлось ждать пациента. Он сам уложил мальчика и выслушал его. Я грустно и смущенно стоял в стороне. Мальчик сразу же заснул – так он устал.

Мы с врачом вместе вышли от Бинне. Нам Нечего было сказать друг другу, кроме того, что на дворе собачий холод. Я пошел по направлению к Бельгийской набережной, а он, не знаю почему, последовал за мной.

– Подумать только, что я мог бы уехать сегодня! – сказал он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне.

– Вы могли сегодня уехать! – воскликнул я. – Почему же вы не уехали?

– Мне пришлось бы бросить здесь одну женщину, – проговорил он, едва разжимая губы, потому что леденящий ветер дул нам прямо в лицо. – У нее нет еще необходимых документов. Мы надеемся уехать вместе следующим пароходом.

– А вы не боитесь потерять работу, дожидаясь этой женщины? – спросил я. – Ведь вы прежде всего врач.

Он впервые внимательно посмотрел на меня:

– Это как раз и есть тот неразрешимый вопрос, над которым я день и ночь ломаю себе голову.

Я с трудом смог ему ответить, потому что ветер задувал мне прямо в глотку.

– Собственно, теперь-то уже поздно ломать себе голову. Ведь вы остались, значит, вопрос решен.

– Все не так просто, – ответил он, задыхаясь, не в силах одолеть сразу двух противников: мистраль и меня. Были также и некоторые внешние причины, которые задержали мой отъезд. Ведь всегда в таких случаях, подчиняясь внутреннему состоянию, мы ищем оправдание во внешних обстоятельствах, в необходимости. Деньги на мой проезд находятся в Лиссабоне. Я намеревался оттуда ехать в Мексику. Я должен был получить еще испанскую транзитную визу, когда мне вдруг рассказали, что на днях отправится маленькое судно прямо на остров Мартиника. Оно везет груз для французского гарнизона и человек двенадцать чиновников. На пароходике есть также тридцать пассажирских мест. Если бы я решил на нём уехать, мне надо было бы срочно найти деньги на дорогу, собрать необходимые документы, внести все налоговые сборы и постараться попасть в число тридцати пассажиров. И одновременно решиться на

разлуку... Понимаете?

– Нет, – возразил я.

Мы смотрели друг на друга искоса, неестественно выворачивая шеи, словно боялись, что ветер сдует наши взгляды. Я остановился на углу, потому что хотел наконец избавиться от врача. Не будет же он в самом деле стоять на улице, где свищет ледяной ветер, только для того, чтобы выслушать мои соображения. Но, видно, все это настолько не давало ему покоя, что он все же спросил меня:

– Чего вы не понимаете?

– Как человек может не знать, что для него главное. Впрочем, это все равно выясняется.

– Как?

– Господи, да через его поступки. А как же еще? Разве что ему все безразлично – тогда он уподобляется вон тому куску бумаги, что уносит ветер...

Врач посмотрел на пустую набережную, скупое освещенную затемненным фонарем, посмотрел так пристально, словно никогда не видел; как ветер несет кусок бумаги. Н – Либо мне, – добавил я.

Он взглянул на меня так же пристально и сказал:

– Нет. – Он дрожал от холода. – Глупости! Это у вас только поза. Вы выбрали ее для того, чтобы никто и ничто не застигло вас врасплох.

На этом мы расстались. У меня было то же чувство, что в детстве, когда наш заводила принял меня наконец в игру, в которую не всех принимали. Но игра эта, как сразу выяснилось, оказалась не такой уж заманчивой. А кроме того; я был недоволен, что снова дай себя втянуть в дурацкую болтовню о транзите.

Окоченев от ледяного ветра, я вошел в ближайшее кафе. Оно называлось «Рим». От тепла у меня закружилась голова. Едва держась на ногах, я искал глазами свободное место. Вдруг, я не без досады почувствовал на себе чей-то острый взгляд. Головокружение прошло. Я заметил за одним из столиков мексиканского консула в обществе нескольких мужчин. Он смотрел на меня веселыми глазами, словно смеялся надо мной. Я обратил внимание на то, что все сидевшие за этим столиком были сотрудники консульства. Среди них я увидел даже привратника с гордым и смуглым лицом. Я подумал, что маленький консул волен в конце концов в этот ледяной вечер пить кофе там, где ему заблагорассудится. И наверно, он встречает на своем пути не меньше просителей виз, чем священник – прихожан. Все же не сел на свободное место, а сделал вид, что продолжаю кого-то искать. Мексиканцы встали и

вышли из кафе. Я занял освободившийся столик, хоть он и был для меня одного слишком велик.

По привычке я сел лицом к двери. Мало-мальски волевой человек не думает денно и нощно, о своем страдании. Но на работе, на улице, во время любого разговора мысль эта существует где-то в его подсознании потому, что он все время чувствует непрекращающуюся боль. Что бы я ни делал – гулял ли с мальчиком, пил ли, сидел ли в консульстве или болтал с врачом, – меня ни на минуту не отпускала моя боль. И где бы я ни находился, я искал глазами мою незнакомку.

Не успел я еще прикоснуться к своему стакану, как распахнулась дверь, и она вбежала в кафе. С трудом переводя дыхание, она остановилась у входа с таким видом, словно захудалое кафе «Рим» было местом казни и некие, высокие инстанции поручили ей задержать исполнение приговора. Какие бы причины ни привели ее сюда, в ту минуту мне показалось, что она пришла потому, что я ее ждал. По ее взгляду я понял, что она опять опоздала, но я на этот раз не хотел опоздать. Я оставил на столе, свой нетронутый стакан и подошел к двери. Она почти сразу же выбежала из кафе, даже не взглянув на меня. Я бросился за ней. Мы пересекли Каннебьер. На улице было еще не так темно, как мне казалось, пока я сидел в кафе. Ветер совсем утих. Она свернула на улицу Беньер. Я надеялся, что сейчас узнаю, где она живет, в каких условиях, в каком окружении. Но она петляла по бесчисленным переулкам между Кур Бельзенс и бульваром д'Атен. Быть может, она сперва собиралась пойти домой, но, потом передумала. Мы пересекли Кур Бельзенс, затем улицу Республики. Она кружила, по лабиринту переулков за Старой гаванью. Мы прошли бы предложить ей свои услуги. Но я безмолвно шагал за ней, словно достаточно было мне проронить хоть слово, чтобы она навеки исчезла. Одна из дверей, мимо которых мы прошли, была задрапирована черными шарфами с серебряной каймой – так по здешним обычаям полагалось завешивать вход, когда в доме лежал покойник. Даже из самой убогой лачуги могущественная гостья – смерть выходила через роскошный портал. Мне все это казалось сном, мне чудилось, что умер я сам и вместе с тем я скорблю о покойнике. Женщина побежала вверх по каменной лестнице, которая ведет к морю. Вдруг она резко обернулась. Мы оказались лицом к лицу, но, представьте, она меня не узнала. Она торопливо пошла дальше. Я взглянул вниз, на ночное море. Его почти не было видно из-за башенных и порталных кранов. Между молами и причалами кое-где проглядывала вода, она была светлее неба. От дальнего выступа берега, освещенного огнем маяка, и до мола Жолиетт тянулась еле заметная, различимая только

по более светлому тону воды узкая полоска открытого моря – вечного и недостижимого. На мгновение меня охватило желание уехать. Ведь стоит мне только захотеть... и я уеду. Я одолею все препятствия. Мой отъезд будет не похож на отъезд других беженцев, я не буду дрожать от страха. Это будет спокойный отъезд, не унижающий человеческое достоинство, – как в мирное время. И я поплыву навстречу этой еле заметной полоске... Я вздрогнул. Когда я обернулся, чтобы взглянуть на незнакомку, она уже исчезла. На каменной лестнице не было ни души, словно эта женщина нарочно завлекла меня сюда.

Я вернулся на улицу Провидения. Спать не хотелось. Что мне было делать? Читать? Я уже однажды занялся чтением в подобный вечер, когда мне было некуда деться. Нет уж, довольно с меня чтения. Я вновь почувствовал свою старую детскую неприязнь к книгам, стыд от соприкосновения с вымышленным, невсамделишным миром. Если уж непременно нужно что-то придумать, если наша нескладная жизнь слишком убога, то я хочу сам придумать, как изменить ее, но только не на бумаге. И все же мне было необходимо немедленно чем-нибудь заняться в моей невыносимо неуютной комнате. Написать письмо? На свете не было ни одного человека, которому я хотел бы написать письмо. Быть может, я написал бы матери, но я не знал, жива ли она. Ведь границы были уже давно закрыты. Вернуться назад в кафе? Неужели я уже настолько заразился этой суетой, что и сам должен непрестанно суетиться? И я все же принялся за письмо. Я писал кузену Ивонны, Мишелю. Я просил его поговорить с дядей обо мне, объяснить ему что я саарец. Должно же и для меня найтись какое-нибудь местечко на большой ферме. А пока я живу в Марселе город пришелся мне по душе, и кое-что даже удерживает меня здесь... На этом месте письмо оборвалось. Ко мне постучали. В комнату вошел маленький легионер, тот самый, который уложил меня пьяного в постель на вторую. Ночь моего пребывания в Марселе. Грудь его по-прежнему была увешана орденами, но бурнуса на нем уже не было. Мне нечем было его угостить, разве что сигаретой «Голуаз блё» из начатой пачки. Он спросил, не помешал ли мне. В ответ я разорвал начатое письмо. Он сел на мою кровать. Он был куда умнее меня: как только он заметил полоску света под моей дверью, он тут же бросил бессмысленную и безнадежную борьбу с одиночеством и постучался ко мне. Он признался мне в том, что я сам уже давно знал:

– Я думал, что иметь отдельную комнату – райское блаженство. А теперь, когда все наши уехали, все до одного, как я по ним тоскую!

– Куда же они делись?

– Отправились назад, в Германию. Сомневаюсь, чтобы там закололи тельца в честь этих блудных сыновей. Их либо упекут на какое-нибудь особо вредное производство, либо отправят на самые опасные участки фронта.

Он сидел на краю моей кровати прямо, словно аршин проглотил, –

маленький, крепко скроенный человек, окутанный клубами табачного дыма.

– Немцы приехали в Сиди-бель-Аббес, – рассказывал он. – Заседала комиссия. Все было вполне в немецком духе. Зачитали воззвание к legionерам. В нем говорилось, что выходцам из Германии надо только зарегистрироваться и объяснить причины своего бегства из страны. Наше отечество, и так далее. Великодушие великой нации, обретшей единство, и так далее. Немцы из Иностранного легиона пачками стали регистрироваться – и рядовые и унтер-офицеры. Но комиссия, несмотря на все обещания, тщательно проверяла каждого в отдельности и разрешила вернуться в Германию только очень немногим. А остальных, всех тех, кого комиссия отсеяла, французы отдали под суд за то, что они нарушили присягу и пытались покинуть легион. Немцы их обманули, а французы потом сослали на какие-то африканские рудники...

Рассказ legionера мне не понравился, от него стадо еще тяжелее на душе. Я спросил у своего гостя, как это ему, удалось пройти комиссию живыми невредимым.

– Я – дело-другое. Я – еврей. На меня великодушие, «великой нации, обретшей единство», все равно не распространяется.

Я спросил его, почему он пошел в Иностраный легион Мой вопрос, видно, всколыхнул в его голове целый рой неприятных мыслей.

– Война загнала меня туда, и я завербовался на всю войну. Это длинная история, боюсь вам ею наскучить. Освободился я благодаря ранению и орденам... Лучше расскажите мне, куда исчезла красивая девушка, которая к вам ходила. Я вам так завидовал в первые дни.

Я не сразу сообразил, что он говорит о Надин. Legionер уверял меня, что он все глаза проглядел, разыскивая ее по Марселю, когда понял, что мы с ней расстались. Он говорил о Надин так, как мог бы говорить и я, но только не о ней. Его влюбленные слова смертельно испугали меня; мне показалось, будто порыв ветра рассеивает туман моей собственной околдованности.

## **Глава пятая**

Прошло несколько дней, но я больше не встречал ее. Возможно, она прекратила свои бессмысленные поиски. Возможно, нашла того, кого искала. Мое сердце то сжималось от страха, что она уехала на пароходе, быть может, на том самом пароходе, который, если верить слухам, шел на Мартинику и о котором столько говорили в последнее время. То сердце подсказывало мне, что я вновь повстречаю ее там, где всегда, так, как всегда. Я дал себе зарок не ждать ее больше, но в кафе по-прежнему сидел лицом к двери.

По городу толпами ходили люди, одержимые манией отъезда. Многих из них я уже знал в лицо... С каждым днем, с каждым часом беженцы все больше наводняли город. И ничто – ни усиленные полицейские кордоны, ни облавы, ни страх угодить в концлагерь, ни самые свирепые приказы префекта департамента Буш-дю-Рон – ничто не могло помешать этому притоку мертвых душ в Марсель. Они заполнили город, их оказалось больше, чем живых, оседлых жителей. Мертвецами были для меня те, кто расстался с настоящей жизнью на своей потерянной родине, за колючей проволокой в Кюре или Берне, на фронтах Испании, в фашистских застенках или в спаленных, городах Северной Франции. Конечно, все эти мертвецы прикидывались живыми – строили смелые планы на будущее, наряжались в пестрые одежды, получали визы в экзотические страны, украшали свои паспорта штемпелями транзитных виз. Но я не обманывался на их счет, и ничто не могло ввести меня в заблуждение относительно того; что на самом деле означал их отъезд. Меня изумляло только, что префект, городские власти и чиновники упорно продолжали вести себя так, словно совладать с нашествием беженцев было в человеческих силах. Глядя на этот все нараставший поток мертвецов; я испытывал страх, что и сам могу оказаться в их числе, хотя и чувствую себя еще вполне живым и никуда не хочу уезжать, – словно я мог стать жертвой насилия или поддаться искушению.

С визой, полученной в мексиканском консульстве, я побежал в то управление, которое ведало делами иностранцев с временной пропиской. Тучный чиновник оглядел нас группу людей, обладавших всевозможными визами, просроченными пропусками и справками об освобождении из концлагерей, – с таким видом, будто мы приехали не из других стран, а с других планет, а привилегия постоянного проживания в Марселе по праву

принадлежала только жителям Земли. Меня он направил, в другое ведомство, потому что такое многократное продление прописки, как у меня, либо вообще недопустимо, либо должно быть оформлено этим другим ведомством.

Вы ведь сами знаете, что творится на улице Станисла Лорэн: Вы сами, наверно, не раз стояли в дождь и снег в той странной очереди, которая ежедневно выстраивалась там нынешней ужасной, голодной зимой за куском хлеба, вернее, за тем, чтобы получить право съесть этот кусок хлеба в Марселе. Люди ждали часами; чешские и польские добровольцы, оказавшиеся теперь никому не нужными даже в качестве пушечного мяса – ведь с врагом перестали бороться; бывшие солдаты – нищая братия, побросавшая свое уже бесполезное оружие, те, кто по какой-то случайности до сих пор еще не расстался с жизнью или делал вид, что еще жив, – все они обязательно должны были здесь регистрироваться. Я повстречал в этой очереди моего маленького Дирижера, лязгавшего зубами от холода. Казалось, он вылез из могилы, чтобы еще раз зарегистрироваться вместе с живыми. Там же я встретился со своим соседом легионером, там я увидел цыганку, привязавшую своих детей платком к спине; там же пришлось стоять и мне.

Вы знаете также, как выглядит этот ад изнутри. Орава очкастых дьяволиц мечется вдоль стен, вытаскивая лапками с красными полированными коготками бесчисленные досье. В зависимости от того, к какой дьяволице попадешь – позлее или подбрее, – ты уходишь из ада осчастливленным или скрежеща зубами. Меня они одарили новым предписанием: мне было сказано, что я получу «временное право на жительство», если принесу документ, указывающий точную дату отплытия парохода и транзитную визу в Соединенные Штаты.

## II

Вконец обалдевший, я зашел в «Мон Верту», чтобы хоть немного отдышаться. Едва переступив порог кафе, я увидел ее. Она стояла, прислонившись к стене у того столика, за которым я обычно сидел. Я не растерялся и сел на свое излюбленное место. С минуту ее ладонь еще лежала на спинке моего стула. Из-за соседнего столика ко мне наклонился какой-то человек и сообщил, что на этой неделе ему удастся уехать в Оран на транспорте, груженном бобинами проволоки, – он уже раздобыл в английском консульстве транзитную визу в Танжер. Он шептал громко, словно суфлер. Завертелась входная дверь, и в кафе вошла моя соседка по отелю со своими догами. Собаки приветствовали меня дружелюбным лаем. Она крепче натянула поводок и, смеясь, помахала мне рукой. За столиком напротив, двое мужчин ожесточенно спорили о том, каким способом в Гибралтаре создавали дымовую завесу, как только появлялся какой-нибудь пароход. А ее рука все еще лежала на спинке моего стула. Я поднял глаза. Ее каштановые, неровно подстриженные волосы были небрежно прикрыты капюшоном. Вдруг она зажала уши руками – только этот жест и был здесь уместен – и стремительно выбежала из кафе.

Я бросился было за ней, но тут кто-то схватил меня за рукав.

– Твой Вайдель мог бы и поблагодарить меня, – сказал Паульхен.

Я хотел вырваться, но он прижал йогой вертящуюся дверь. Я не смог сдвинуть эту ногу. Маленькая, как у женщины, обутая в красновато-коричневый, до тошноты начищенный ботинок, она упрямо не сдвигалась с места.

– Ведь я, – продолжал Паульхен, – я твоего Вайделя до хрипоты везде отстаивал. Против него у многих предубеждение, и, надо сказать, не без оснований. Я употребил все свое влияние, не жалея времени, проталкивал его дело в комитете. А ему трудно зайти к нам и хоть одним словом, хоть жестом выразить свою благодарность...

– Прости меня, Паульхен, – сказал я, огромным усилием воли заставив умолкнуть сердце и стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. – Это всецело моя вина. Я давно должен был поблагодарить тебя от его имени. По складу своей натуры Вайдель не в силах обратиться в комитет даже с выражением благодарности, не в силах сделать то, что для всех нас не составляет никакого труда.

– Все это поза! В известном смысле ему многое, давалось легче, чем

другим.

Было необходимо немедленно умиловать Паульхена, а я пригласил его выпить аперитив.

– Не отказывайся, – сказал а. – Ведь, по сути, мы все тебе обязаны. Только благодаря твоим советам...

Он смягчился и позволил себя уговорить. Мы выпили. Я чувствовал, что ему со мной скучно. Он все время оглядывался по сторонам и в конце концов, извинившись, пересел за другой столик, где собралось оживленное общество, которое приветствовало его шумными возгласами.

### III

Я, конечно, последовал совету мексиканского консула. А как же могло быть иначе? Ведь это был единственный совет, данный лично мне, – я давным-давно растерял всех своих советчиков. Итак, я отправился в Бюро путешествий.

Заведение это оказалось весьма непрезентабельным, даже убогим с виду. Впечатление было такое, словно Страшный суд вершится почему-то в жалкой табачной лавчонке. И все же для тех немногих счастливых, которым удавалось пройти все предыдущие этапы, помещение это было достаточно просторным. Они подходили – кто расфранченный, кто в лохмотьях – к деревянному барьеру и молили дать им билеты на пароход. Одни уже имели на руках все транзитные визы, но не внесли еще денег на билет, другие, наоборот, давно оплатили проезд, но зато их транзитные визы оказались уже просроченными. И все эти мольбы и заклятия разбивались о широкую грудь восседавшего за барьером смуглого человека с напыженными, разделенными на пробор волосами. Этого человека я уже видел однажды среди его соотечественников в корсиканском квартале, когда мы с Бинне пили там в кабачке вино. Он тщетно пытался сдержать зевок, не обращая никакого внимания на всхлипывающую молодую женщину, которой только что отказался передвинуть очередь на билет. Она в исступлении забарабанила кулачком по барьеру. Тогда он рассеянно взглянул на нее, вовсе вычеркнул ее фамилию из списка и принялся ковырять в ухе грифелем карандаша. Здесь же я повстречал маленького дирижера. Глаза его лихорадочно сверкали, словно в черепе у него зажгли электрическую лампочку. Заикаясь от радости, он сообщил мне, что у него в кармане уже лежит вызов, необходимый для транзитной визы, которую он вот-вот получит в американском консульстве. Справка о новом продлении контракта у него тоже на руках, разрешение на выезд ему обеспечено, а билет на пароход надежно забронирован.

Впихнув в помещение какого-то человека, полицейский, стоя на пороге, отстегивал цепочку от его наручников. Арестованный машинально растирал затекшие запястья. Лицо этого коренастого человека показалось мне знакомым. Он поклонился мне, и тут только я сообразил, что это муж моей первой соседки по отелю. Усталым голосом рассказал он, что его жену перевели из лагеря Бомпар в Кюре. Это огромный концлагерь где-то на склонах Пиренеев. Сам он тогда снова вернулся в свой департамент, туда

к нему должна была приехать и жена. Но их встрече помешал новый, чисто местный приказ о немедленном аресте и принудительной высылке всех иностранцев, способных носить оружие. Вскоре, правда, этот приказ был отменен. Но еще до его отмены он попытался бежать – и вот новый арест, он снова в наручниках. Разумеется, за это время все, решительно все его документы оказались просрочены. Он попросил отвезти его в Марсель, где он надеялся добиться хотя бы перенесения срока своего выезда. Корсиканец выслушал его, зевая и ковыряя в ухе карандашом.

– Исключено, – сказал он, снова сладко зевнув.

Полицейский, который внимательно прислушивался к их разговору, загремел цепочкой от наручников и мигом выволок беднягу на улицу.

В Бюро вошел хорошо одетый мужчина. Ни возраста его, ни национальности я определить не мог. Корсиканец выдал ему кучу денег. Он быстро и равнодушно пересчитал их. Затем бросил на барьер несколько купюр и попросил, вернее, приказал перенести его отъезд на следующий месяц ввиду задержки с оформлением визы. Выходя, он случайно задел меня. Наши взгляды встретились. Не знаю, в самом ли деле у меня уже тогда возникло желание узнать, кто он такой, или я внушил это себе потом. Не было ли это предчувствием того, что наши пути еще скрестятся? Вы позднее узнаете как. Он повернул ко мне лицо, сосредоточенное до такой степени, что оно уже ничего не выражало, и во взгляде, которым он смерил меня, не было никакой человеческой теплоты, скорее – холод...

Потом к барьеру подошел я и предъявил документ, полученный в консульстве. Зевая, корсиканец отметил в своем списке, что Вайдель и Зайдлер – одно лицо. Видно было, что он давно уже ожидал человека с этой фамилией, потому что досье Вайделя лежало наготове, проезд был оплачен. Корсиканец дал мне понять, что охотно предоставит господину Вайделю билет на пароход, если только тот получит транзитные визы. Сначала надо выхлопотать американскую визу, получить после этого визы в Испанию и Португалию – сущие пустяки. Он взглянул на меня. Мне показалось, что его взгляд оставил на моем лице какой-то мокрый след. Да, мне тут же захотелось вытереть лицо. Я отошел от барьера и прочел справку, которую корсиканец мне любезно выдал. В ней подтверждалось, что мой проезд полностью оплачен. Уходя, я еще раз взглянул на корсиканца. К моему изумлению, его лоснящееся смуглое лицо было теперь оживленно. Он кому-то улыбался.

Конечно, ни один из нас не был в состоянии остановить его непрерывную зевоту. Улыбка корсиканца была адресована плюгавому человеку, который вдруг появился в дверях. На нем было грязное

поношенное пальто, уши его покраснели от холода. Он заговорил с порога, несмотря на многоголосый гул толпившихся у барьера транзитников. Никто, конечно, не обратил на него внимания, хотя корсиканец и был всем сердцем с ним, и карандаш его застыл на листе открытого перед ним досье.

– Послушай-ка, Жозе, Бомбелло поедет с нами только до Орана. Мы все еще ждем груза медной проволоки.

– Если вы неожиданно отправитесь в путь, то передайте привет всем друзьям в Ороне. И прежде всего Розарио, – ласково сказал корсиканец и послал воздушный поцелуй.

Плюгавый человечек слабо улыбнулся и, как мышь, шмыгнул на улицу.

## IV

От скуки я пошел за ним. Он поднял узенький воротник своего пальто, который все равно не защищал ушей. Ветер был такой сильный, что даже в Старой гавани рябилась вода. Мы оба не были экипированы для такой зимы. Он к тому же был еще южанином. Я, наверно, меньше его страдал от холода. Мелкой рысцей трусили мы друг за другом по правой стороне гавани. Он остановился перед крохотным убогим кафе. По полустертой арабской вязи на вывеске я понял, что когда-то, в далекие мирные времена, это заведение обслуживало африканцев. Мой человечек юркнул в дверь, завешенную длинными нитями бус. Я выждал минуты две и вошел в кафе вслед за ним – просто от скуки. Человечек уже сидел среди своих земляков. Застольная компания состояла из четырех-пяти ему подобных личностей, мулата с печальным лицом и старого цирюльника из соседнего дома, которому, видно, некого брить. Все они ничем не были заняты. Хозяин вылез из-за стойки и сел между двумя посиневшими от холода уличными девками. Когда я вошел, все посмотрели на меня. Кафе, казалось, оцепенело от холода и скуки. И тут еще этот ледяной каменный пол, по которому даже блохи не прыгали! А эти проклятые бусы, которые пропускали весь холод с улицы и тихонько позвякивали на ветру. Бьюсь об заклад, это было самое гнусное место в Марселе, а быть может, и на всем Средиземноморском побережье. Но вряд ли здесь совершались более тяжкие преступления, чем контрабандная подача аперитивов в среду, хотя в этот день и запрещена торговля спиртным.

Мне подали стаканчик. Все с пристальным вниманием продолжали смотреть на меня. Я решил подождать, пока кто-нибудь из них со мной заговорит. Минут через двадцать мое молчаливое присутствие стало для них невыносимым. Плюгавый человечек, пошептавшись со своим соседом, подошел ко мне и спросил, не жду ли я кого-нибудь.

– Да, – ответил я.

Но такой человек, как он, никак не мог удовлетвориться односложным ответом.

– Вы ждете Бомбелло?

Я взглянул на него. Мышиные глазки беспокойно забегали.

– Ждать его бессмысленно. Он неожиданно задержался. Раньше завтрашнего утра он здесь не появится.

– Разрешите мне, господа, – сказал я, – выпить этот стакан в вашем

обществе?

Затем я осторожно стал расспрашивать о парходике, отбывающем в Оран. Португальская посуда... Ожидает груза медной проволоки... Но необходимо разрешение немецкой комиссии... Из Орана пойдет, должно быть, в Лиссабон... Скорее всего, с грузом кожи... Потом он спросил, есть ли у меня все необходимые документы. Я ответил, что, будь у меня все документы, я не стал бы ждать здесь Бомбелло, а прямехонько отправился бы в контору «Транспор маритим».<sup>[3]</sup> Тогда человек принялся причитать, уверяя, что дело это слишком рискованное, тут недолго и волчий билет заработать, а уж лицензию наверняка отберут. Я выразил своему собеседнику сомнение в том, что у него вообще когда-либо была оформленная по всем правилам лицензия. Так мы исподволь подошли к первому разговору о цене. Когда он ее назвал, я всплеснул руками.

Собственно говоря, я затеял этот разговор только для того, чтобы как-нибудь убить послеобеденные часы, совсем не имея в виду отправиться через Оран в Лиссабон... Как раз в тот момент, когда он мне назвал новую, уже куда более сходную цену, кто-то неловко обеими руками раздвинул занавеску из бус. На пороге стояла она. Видно, она бежала против ветра, пытаясь кого-то догнать. Она ухватила за спинку ближайшего стула. Я встал и сделал шаг ей навстречу. Она взглянула на меня. Не знаю, узнала ли она меня тогда... Если узнала, то, наверно, решила, что я один из тех транзитников, с которыми нет-нет да и встретишься в городе. Быть может, мое лицо и в самом деле было неузнаваемо в ту минуту, потому что при виде ее меня охватило не просто изумление, но страх: словно что-то все неотступней гналось за мной по пятам. И я не мог это объяснить ни игрой случая, ни предопределением.

Как только она выбежала из кафе, сковавший меня глупый страх сразу прошел, и я испугался только того, что она ушла. Я бросился за ней следом. Прошло не более секунды, но улица была уже пустынна. Быть может, она вскочила в трамвай, который только что проехал в сторону центра.

Я вернулся в кафе. Плюгавенький человек и его друзья заметно оживились, их взгляды потеплели. А мне как раз нужно было тепло. Привередничать не приходилось. Цирюльник спросил меня, не поссорился ли я с ней. Его слева удивительно точно соответствовали моему ощущению, что мы с ней давно знакомы, что у нас за плечами целая совместная жизнь и вот мы, поссорились... Происшествие расположило присутствующих в мою пользу. Очевидно, людей всегда располагает к себе тот, кто раскрывается им с понятной для них стороны. Все они наперебой советовали мне поскорее помириться. Как бы не оказалось поздно... Когда

я уходил, мне сказали, что завтра в девять я наверняка застану здесь Бомбелло.

Я зашел в ближайшее кафе. А что мне было еще делать? Оно называлось «Брюлер де Лу». Я увидел, что напротив, в кафе «Конго», на застекленной террасе сидит корсиканец из Бюро путешествий. Он узнал меня и улыбнулся. Я объяснил эту улыбку тем, что понравился ему больше других клиентов. В «Брюлер де Лу» иногда заходили настоящие французы. Они говорили не о визах, а о делах. Я услышал даже, что упомянули пароходик, идущий в Оран. Но здесь обсуждали не возможность самой этой поездки, как это было бы в «Мон Верту», а возможность отправки груза медной, проволоки.

Вода в Старой гавани была синяя. Вы ведь знаете, что такое зимнее послеполуденное солнце – его холодные лучи словно проникают во все закоулки, и весь мир кажется пустынным, заброшенным.

За моим столиком сидела полная завитая дама и поглощала несметное количество устриц. С горя, как я выяснил: ей окончательно отказали в визе и она проедала деньги, отложенные на дорогу. А кроме вина и разных ракушек, ничего нельзя было купить.

Близился вечер. Все консульства закрылись, и беженцы, гонимые страхом и одиночеством, заполнили «Брюлер де Лу», как, впрочем, и все другие кафе города. Воздух гудел от непрекращающейся безумной болтовни – нелепой смеси хитроумных советов и опасений, выражающих полную беспомощность. Слабый свет огней на причалах уже расчертил белесыми полосками темнеющую воду гавани. Я положил деньги на столик и поднялся, чтобы перейти в «Мон Верту».

И вдруг в «Брюлер де Лу» вошла она. Ее лицо по-прежнему омрачало выражение грусти и обиды, как у ребенка, которого обманули в игре. Она очень старательно оглядела все столики кафе – с той печальной покорностью, какая бывает только у девочек в сказках, когда их заставляют делать заведомо бессмысленную работу. И на этот раз ее поиски оказались тщетными. Она пожалала плечами и вышла на улицу. Я вспомнил совет, который мне дали сегодня днем в том холодном кафе: «Не жди, а то будет поздно». Я пошел вслед за ней по Каннебьер. Я уже знал, что ее беготня по городу не имеет определенной цели. Мистраль давно перестал дуть. А как только стихли ледяные порывы ветра, ночь стала вполне сносной – самая обычная средиземноморская ночь. Женщина. пересекла Каннебьер у Кур д'Асса. По ее виду я понял, что она смертельно устала и больше не в силах

сделать ни шагу.

Против мексиканского консульства стояла скамейка. Было очень темно, и я смог различить большой овальный герб с орлом на кактусе только потому, что уже видел его прежде. Для нее же этот герб был всего лишь каким-то слабо отсвечивающим овалом на стене, а консульские ворота ничем не отличались от тысячи других закрытых на ночь ворот Марселя. Так я думал тогда. Герб сопутствует мне, как крест – крестоносцу. Я и сам не знал толком, как это получилось, но ведь он уже украшал мой щит, мою визу, и должен был красоваться на всех моих выездных бумагах, если я их когда-нибудь получу. И сейчас мы тоже почему-то оказались возле него.

Я сел на другой край скамьи. Женщина повернулась ко мне. В ее взгляде, в ее лице, во всем ее существовании была мольба, такая страстная мольба оставить ее одну, дать ей покой, что я тотчас же встал.

## VI

Я поднялся к Бинне. Клодин занималась тем, что выбирала из полученного по карточкам эрзац-кофе – смеси натурального кофе с сушеным горохом, а не с ячменем, как обычно, – кофейные зерна. Она пожертвовала месячным пайком всей семьи, чтобы угостить чашечкой настоящего кофе своего гостя – врача.

Врач был сегодня просто в отчаянии. Он пропустил пароход на Мартинику с тем, чтобы в следующем месяце обеспечить себе билет на пароход, уходящий из Лиссабона. И вдруг ему не разрешили проезд через Испанию. Это явилось для него полной неожиданностью. Ему удалось выяснить, что в испанском консульстве его спутали с его однофамильцем, тоже врачом, который возглавлял санитарную службу Интернациональной бригады во время гражданской войны в Испании.

Я спросил врача, не был ли он сам в Испании.

– Я? Нет. В то время, вероятно, не было человека, который хоть раз не спросил бы себя, не там ли его место. Но на этот вопрос я ответил отрицательно. Мне тогда как раз предложили пост главного врача больницы св. Эвриана. Там я получил бы возможность применять свои знания в течение многих лет.

– И вы возглавили эту больницу?

– Нет, – ответил он устало, – дело с моим назначением затянулось, как все в этой стране. Затянулось до бесконечности... А потом началась война...

– Ваш однофамилец, наверно, давно уже уехал из Испании?

– Он был даже здесь, в Марселе. Я навел справки. Роковым оказалось для меня именно то, что он и не пытался получить транзитную визу. Иначе он сам напоролся бы на отказ. И тогда не случилось бы этой путаницы, и мне разрешили бы проехать через Испанию. Но вся беда в том, что он, как я уже сказал, никуда не обращался. Я узнал от людей его круга, что он с фальшивыми документами переправился через Пиренеи и дошел пешком чуть ли не до Португалии. Как видно, мой однофамилец – любитель приключений. Ну а поскольку врач с такой фамилией стоял в особом списке испанского консульства, мне отказали в транзитной визе.

Пока доктор говорил, я наблюдал за мальчиком, который глядел ему в рот. Я бы дорого дал, чтобы прочесть его мысли. Он напряженно слушал рассказ о бумажных приключениях, о блужданиях в джунглях досье.

Клодин принесла кофе. Мы уже давно не пили настоящего кофе, и он подействовал на нас, как крепкое вино. Все приободрились. Мне вдруг захотелось помочь врачу. Я похвастался, что знаю способ попасть в Лиссабон через Оран. Я спросил, есть ли у него деньги. Лицо мальчика, который неотрывно следил за нами, стало еще более напряженным, чем у врача. Вдруг он отвернулся к стене и с головой накрылся одеялом. Врач встал. Мне показалось, что ему следовало бы еще посидеть – ведь его угостили таким дорогим кофе. Но у него было теперь только одно желание – еще раз с глазу на глаз, внимательно, как он сказал, выслушать мои советы. Взяв меня под руку, он потащил меня по переулкам. Я должен был ему рассказать все подробности, хотя сам тогда еще не очень ясно их себе представлял. Прежде всего я сильно сомневался в том, что он сумеет воспользоваться теми советами, которые я ему дал. Он жадно выпрашивал все варианты, даже самые абсурдные. На углу улицы Республики он предложил «мне вместе поужинать: Я принял его предложение, хотя знал, что приглашает он меня не потому, что я ему нравлюсь, а потому, что могу кое-что подсказать. На завтра он, возможно, расскажет кому-нибудь в кафе, что накануне вечером ужинал с человеком, который знает один хитрый способ выбраться отсюда. И все же я принял его предложение. Я был один. Меня пугал предстоящий вечер. Холодная комната, пачка сигарет «Голуаз блё» и неотвязный образ перед глазами.

Мы вошли в пиццерию. Я сел лицом к открытой печи. Врач попросил накрыть на троих. Он взглянул на часы, затем заказал двенадцатифранковую пиццу. Принесли розе. Первые два стакана всегда пьются, как вода... Мне нравится глядеть на огонь открытой печи, на пекаря, месящего тесто своими гибкими руками. По совести говоря, мне только это и нравится на земле. Я хочу сказать – непреходящие вещи. Ведь здесь всегда пылал огонь в очаге и уже много веков вот так же месили тесто. Если вы мне возразите, что я сам непостоянен, я вам отвечу, что причиной тому – постоянные поиски чего-то вечного.

– Расскажите мне, пожалуйста, еще раз, – сказал врач, – все, что вы знаете о поездке в Оран.

И я в третий раз рассказал врачу, как увидел у корсиканца в Бюро путешествий маленького, плюгавого, мышеподобного человека, как я пошел за ним по пятам, чтобы разузнать насчет грузового парохода, уходящего в Оран, – точно так же, как сейчас сам врач не отпускал меня ни на шаг, выпрашивая об этом пароходе.

Против двери на этот раз сидел он, а не я. Вдруг он изменился в лице и сказал:

– Расскажите, пожалуйста, еще раз все это Мари.

Я обернулся. К нашему столику шла она. Она глядела на моего собеседника. Она ничего не сказала, только кивнула ему, и я почувствовал, что они связаны давними и прочными узами.

– Этот господин так любезен, что хочет дать нам полезный совет, – сказал ей врач.

Она взглянула на меня. Иногда легче узнать человека издалека, чем вблизи. Я не приложил никаких стараний к тому, чтобы она меня узнала. Меня охватил озноб. Тем временем принесли пиццу величиной чуть ли не с вагонное колесо. Официант отрезал каждому из нас по куску.

– Ешь, Мари, у тебя такой усталый вид.

– Опять все зря, – ответила она.

Он взял ее за руку. Я не испытывал ревности. Я чувствовал только, что должен немедленно отнять у него то, что ему не принадлежит и что он наверняка не умеет ценить по достоинству. Я и в самом деле схватил его руку выше кисти и потянул к себе, как будто для того, чтобы увидеть циферблат его часов. Женщина высвободила свои пальцы. Я снова овладел собой и сказал, что должен немедленно уйти. Он ответил мне с явным разочарованием, что рассчитывал провести со мной вечер, что Мари не голодна, а ему одному не под силу съесть такую огромную пиццу, что он готов выложить за меня свои хлебные талоны и что я должен еще раз все рассказать Мари.

Он налил мне розе. Я выпил его залпом и понял, что, если я сейчас уйду, она наверняка не пойдет за мной, а останется здесь с врачом. И я выпил второй стакан, затем торопливо налил себе еще и рассказал всю эту длинную бессмысленную историю в четвертый раз. Женщина слушала меня так же, как я рассказывал – с полным равнодушием, но врач прямо-таки упивался этой чепухой. А ведь весь этот план и вправду был чепухой. Потратить столько сил и энергии, чтобы сменить один город на другой, где находиться не менее опасно, – это все равно что пересаживаться с одной шлюпки на другую прямо в открытом море...

– Но вам, конечно, придется поехать одному, – сказал я. – Это путешествие не для женщин. Об этом и речи быть не может.

Она быстро возразила:

– Для меня обо всем может быть речь. Я хочу отсюда уехать. Как – мне безразлично... Я ничего не боюсь.

– При чем здесь страх! Просто мужчину легче спрятать, а в случае чего его можно высадить в пути. Эти люди ни за что не согласятся на такое рискованное дело...

Мы впервые посмотрели друг другу в глаза. Я думаю, что только в этот момент она меня узнала. Я хочу сказать, узнала не как человека, которого встречала уже много раз, а как незнакомца, с которым скрестились ее пути – кто знает, к добру или к беде...

Врач велел официанту унести пустую бутылку, которую, к слову сказать, опорожнил почти я один, и подать новую. И пока я пил, я обдумывал ее слова: «Хочу отсюда уехать... Как – мне безразлично...» В ее устах это признание, которое я ежедневно слышал от сотен людей, показалось мне свежим и новым в своем безумии и в своей естественности, – как если бы здесь, где горел огонь в печи и на столе лежала разрезанная на куски пицца, она принялась бы уверять меня, что когда-нибудь смерть исказит ее черты, И я даже на мгновение задумался над этим самым естественным видом разрушения, неизбежным концом для всего сущего на земле. Ее маленькое бледное лицо, еще не тронутое временем, плыло перед моими глазами в блестящем облаке цвета розы, которое вдруг окутало все вокруг меня. Врач сделал движение, чтобы снова взять ее за руку, но я вовремя успел помешать ему, потянувшись к бутылке.

– Тебе все равно не удастся уехать так скоро, – сказал врач. – А если даже и справишься к сроку, то с тем же успехом сможешь поехать через Испанию.

Я налил всем розе, и, пока я пил, мне стало ясно, что я должен как можно скорее оттеснить врача от этого столика, выдворить его из пиццерии, из города и отправить подальше за море.

## VII

Должен признаться, я преследовал эту пару по пятам. Да я этого и не стыжусь. Теперь, когда я все хорошенько обдумал, я понимаю, что не был им в тягость, скорее наоборот. Предлогом для наших свиданий была поездка в Оран. Я вел переговоры с врачом, с мышеподобным человеком, с Бомбелло, с которым успел к тому времени познакомиться. Он оказался тощим усатым корсиканцем, с виду – типичным обывателем. Вряд ли он когда-либо курсировал по иным маршрутам, нежели Аяччо – Марсель. Я сказал врачу, что этот грузовой пароходик может простоять здесь еще несколько недель, но столь же вероятно, что вдруг снимется с якоря. Готов ли он к такому неожиданному отъезду? Врач, опустив глаза, ответил, что поборол себя и готов на все. С Мари он рассчитывает встретиться в Лиссабоне.

Обычно я часами ждал врача в квартире Бинне, не обращая внимания на удивленные взгляды Клодин, которая никак не могла взять в толк, почему я подолгу засиживаюсь у них. Сын Клодин тоже молча ждал прихода врача, хотя, по мере того как мальчик выздоравливал, тот уделял ему все меньше внимания. Встретившись со мной у Бинне, врач тащил меня в пиццерию, где мы вместе ждали Мари. При этом он, к моему великому удивлению, говорил мне всякий раз, что твердо обещал Мари привести меня с собой, – присутствие чужого человека рассеет тягостное чувство, неизбежное перед разлукой, а что до него, то ему любо все, что хоть немного ее успокоит и оживит.

Часто нам приходилось подолгу сидеть вдвоем в ожидании Мари. Достаточно было все время глядеть на врача, чтобы не пропустить момента ее появления в кафе. На его лице тотчас же появлялось странное, необъяснимое для меня выражение недоверия и тревоги. А я, я представлял себе в эти часы ожидания, как Мари мечется по городу от одного кафе к другому. Я уже больше не был свидетелем ее непонятных мне поисков, поскольку вечерами мы обычно оказывались с ней за одним столиком. Как-то раз я будто невзначай спросил врача, чем занята Мари, и он так же небрежно ответил мне:

– Ах господи, все та же транзитная горячка.

Его ответ прозвучал неискренне, и это тем более удивило меня, что обычно его слова были даже излишне правдивы.

Однажды мы ждали Мари. Вечер выдался на редкость холодный. На

набережной перед пиццерией было пустынно – ледяной ветер словно сдул всех прохожих. Освещенные окна на той стороне гавани казались огоньками далекого берега. Я думал о том, действительно ли мой собеседник так спокоен, как хочет казаться. Если завтра комиссия разрешит погрузку проволоки, пароход к вечеру сможет уйти. Тогда врач уже совсем потеряет власть над Мари... По тому, как вдруг сдвинулись брови врача и сузились его глаза, я понял, что за окном промелькнул долгожданный остроконечный капюшон. Дверь в кафе отворилась.

Мари задышалась не только от ветра. Не только от холода была она бледна как полотно. Да она и не скрывала своего страха. Она наклонилась к своему другу и тихо сказала ему несколько слов, и на лице врача впервые за время нашего знакомства отразилось смятение.

Он приподнялся со стула, оглянулся по сторонам. Мне передалось его волнение, я тоже оглянулся. Но в пиццерии я не увидел ровным счетом ничего тревожного, напротив, там царил полный покой. Вся семья хозяина сидела за соседним столиком, на котором стояла такая же бутылка вина, как на нашем, и такая же пицца. Хозяин, который был одновременно и шеф-поваром, давал указания своему зятю – второму повару, и гладил по головке младшую дочку – свою любимицу. Как только вошла Мари, зять хозяина схватил скалку и принялся раскатывать тесто. В глубине зала сидели влюбленные. Касаясь друг друга коленями, не разнимая рук, они замерли в неподвижности, словно эта мимолетная встреча соединила их навеки. Больше никого в пиццерии не было. Нас можно было пересчитать по пальцам. Огонь в очаге горел неярко, потому что в такую погоду и в такой поздний час нельзя было ожидать большого наплыва посетителей. И мне показалось, что это последний очаг и наше последнее прибежище в Старом Свете и что пришел срок принять окончательное решение – остаться сюда, чтобы в последний раз обдумать, глядя на огонь, что же их, собственно говоря, здесь удерживает. Пиццерия дышала покоем, его не могли нарушить даже газетчики, которые выкрикивали на Каннебьер новые дурные вести. Никогда никто не отважится загасить этот огонь – он нужен всем: и тем, кого страх загнал в Старую гавань, и тем, кто шел за ними по пятам, потому что преследователи, сея вокруг себя ужас, сами тоже были во власти страха.

Врач успокоился, покачал головой и сказал:

– Погляди сама, Мари, здесь никого нет. – Помолчав, он добавил: – Здесь и не было никого. – Вдруг он указал на меня: – Вот только он один. Я почувствовал некоторую неловкость, потому что не выносил, чтобы на меня указывали пальцем.

– Я лучше уйду, – сказал я.

Но Мари схватила меня за руку и воскликнула:

– Нет, оставайтесь! Я рада, что вы здесь!..

Я увидел, что ее страх проходит от одного моего присутствия, что она ждет моей защиты от грозящей ей опасности – то ли действительной, то ли мнимой.

## VIII

Теперь я был, конечно, готов выполнять любые требования властей, доставать самые бессмысленные справки, только бы мне разрешили остаться в Марселе.

С застывшими от резких порывов мистраля лицами входили люди в вестибюль американского консульства. Здесь было по крайней мере тепло. Вот уже несколько дней, как ко всем прочим мукам беженцев прибавился еще и жестокий холод.

Широкоплечий, как боксер, привратник консульства Соединенных Штатов стоял у заваленного бумагами стола, преграждавшего путь к лестнице. Одним легким движением своих могучих плеч он мог бы вытолкнуть на улицу всю эту жалкую кучку одержимых манией отъезда людей, которых ледяной ветер пригнал в это утро на площадь Сен-Фереоль.

Пудра лежала как известка на одеревенелых от холода лицах женщин, которые расфрантились сами и приодели не только детей, но и мужей, чтобы снискать расположение консульского привратника. Время от времени он отодвигал своим мощным бедром стол, заваленный бумагами, какой-нибудь привилегированный проситель пролезал в образовавшуюся щель и быстро взбегал вверх по лестнице.

Я едва узнал дирижера, так изменилась его внешность оттого, что он снял темные очки. Казалось, ледяной мистраль выветрил его, окончательно превратив в скелет. И все же старик был аккуратно причесан на пробор. Он подошел ко мне, дрожа от радости.

– Вам следовало раньше начать хлопоты, – сказал он. – Сегодня я уйду отсюда с транзитной визой в кармане.

Дирижер прижимал к бокам локти, боясь, что в этой давке помнут его черный сюртук.

Вдруг люди, столпившиеся в вестибюле, стали громко выражать свое возмущение. В дверях показалась моя соседка по номеру, одетая, как всегда, вызывающе ярко. Она небрежно вела на поводках своих догов. Привратник, который уже знал, что консул охотно её принимает, с тупой почтительностью отодвинул стол, чтобы пропустить ее на лестницу, словно эти два дога были ее поручителями, чудом превращенными в собак. Я воспользовался образовавшейся брешью и, проскочив вслед за дамой с догами, бросил на стол привратника заполненную анкету на имя Зайдлера, известного под псевдонимом Вайдель. Привратник закричал и хотел было

задержать меня, но, увидев, как ласково меня приветствуют собаки, пропустил в секретариат консульства.

Я снова попал в приемную. Собаки напугали полдюжины маленьких еврейских детей, которые с плачем прижались к своим родителям и бабушке, желтой неподвижной старухе, такой древней, что, казалось, не Гитлер изгнал ее из Вены, а эдикт королевы Марии-Терезии. На шум из кабинета вышла молоденькая девушка, которая, должно быть, всю войну, все это время разрухи и опустошения, провела на каком-нибудь небольшом облачке, таком же нежном и розовом, как ее личико. Улыбаясь и шурша ангельскими крыльями, она повела всю семью в кабинет консула, но лица взрослых оставались по-прежнему мрачными. Хотя я и сам в эту минуту был заражен транзитной горячкой, одурманен погоней за визами, я все же почувствовал устремленный на меня пристальный взгляд. Я силился припомнить, где я встречался с человеком, который теперь спокойно разглядывал меня, видимо, потому, что уже успел изучить всех остальных ожидающих и ему больше нечем было заняться. Шляпу свою он держал в руке. Вчера в Бюро путешествий я не мог заметить, что он почти лысый. Мы не поздоровались, мы только насмешливо улыбнулись друг другу, потому что понимали, что волей-неволей еще много раз встретимся, поскольку оба добиваемся получения транзитных виз, и что одно это накрепко связало наши жизни вопреки нашим склонностям, желаниям и даже самой судьбе. В приемную консула вошел дирижер, на щеках у него выступили красные пятна, он весь подергивался, лихорадочно пересчитывая фотографические карточки, и бормотал, обращая ко всем присутствующим:

– В гостинице их было двенадцать. Клянусь вам.

Моя соседка по номеру решила не терять зря времени – она вынула щетку и принялась чесать собак.

Мне стыдно вам в этом признаться, но сердце у меня отчаянно колотилось. Скажу откровенно, я не обращал внимания на людей, которые, задыхаясь от волнения, входили в эту приемную. «Как бы ни выглядел человек, который зовется консулом, – думал я, – он имеет надо мною власть, это бесспорно. Правда, власть консула ограничена территорией страны, которую он представляет, но его отказ в транзитной визе будет для городских чиновников и сотрудников других консульств равноценен волчьему билету. И мне снова придется бежать, придется расстаться с еще не завоеванной мною возлюбленной».

Но когда выкрикнули фамилию Вайдель, я успокоился. Я больше не боялся ни разоблачения, ни отказа. Я почувствовал огромную,

непреодолимую дистанцию между тем, кого вызвали, и консулом, человеком из плоти и крови – пусть из высохшей плоти и жидкой крови, – неподвижно сидящим за столом.

С любопытством, как бы со стороны вслушивался я в это обращение к привидению, в это заклинание тени, давным-давно сошедшей в призрачный город мертвых, украшенный рядами крестов со свастикой.

Но консул разглядывал меня, живого, стоящего между ним и тенью Вайделя, с холодным вниманием.

– Вас зовут Зайдлер, а пишете вы под именем Вайделя. Почему?

– У писателей это часто бывает, – ответил я.

– Что заставило вас, господин Вайдель-Зайдлер, добиваться мексиканской визы?

На этот строгий вопрос я ответил со скромной откровенностью:

– Я ничего не добивался. Я принял ту визу, которую мне предложили первой. Меня это устраивало.

– Скажите, пожалуйста, господин Вайдель-Зайдлер, почему вы никогда не хлопотали об американской визе, которую вы могли бы получить как писатель, подобно большинству ваших коллег?

Я ответил консулу:

– Куда бы я мог подать такое прошение? Кому? Каким образом? Ведь я был исключен из жизни. Немцы вошли в Париж. Наступила ночь...

Он постучал карандашом по столу.

– Однако посольство Соединенных Штатов продолжало свою работу на площади Согласия.

– Откуда я мог это знать, господин консул? Я больше не ходил на площадь Согласия. Таким, как я, нельзя было показываться на улице.

Консул наморщил лоб. Вдруг я заметил, что за его креслом машинистка протоколирует допрос, который он мне учинил. Стук пишущей машинки еще усугублял тот общий шум, которого жаждут люди, боящиеся тишины.

– Каким образом вам, господин Зайдлер, удалось получить мексиканскую визу?

– Должно быть, этому способствовало благоприятное стечение обстоятельств, – ответил я, – ну, и хлопоты каких-то добрых друзей.

– Почему же каких-то? У вас есть друзья в кругах, близких бывшему правительству бывшей Испанской Республики, которые теперь связаны с определенными кругами, близкими нынешнему правительству Мексики.

Я подумал о бедном покойнике, похороненном так поспешно, о жалком чемоданчике, оставшемся после него...

– В правительстве? – воскликнул я. – Друзья? Да что вы!

– Вы оказывали известные услуги бывшей республике, – продолжал он. – Вы сотрудничали в ее прессе.

Я вспомнил о пачке исписанных листов на дне чемоданчика, о той запутанной сказке, которая захватала меня в один печальный вечер... Как давно все это было!

– Никогда я не писал в республиканской прессе! – крикнул я.

– Простите меня, но мне придется освежить в вашей памяти некоторые факты. Так, например, существует написанный вашим пером и переведенный на многие языки рассказ о расстреле в Бадахосе...

– Рассказ о чем, господин консул?

– О массовом расстреле красных на арене цирка в Бадахосе.

Он пристально взглянул на меня. Должно быть, он приписал мое искреннее изумление исчерпывающей полноте своей осведомленности. Я и в самом деле был безмерно удивлен. Из каких бы побуждений покойный Вайдель ни описал это событие – должно быть, с чужих словно, он наверняка сделал это с тем магическим талантом, который угас вместе с его жизнью. Его волшебная лампа, озарявшая своим удивительным светом все, на что бы он ни направил ее лучи – чаще всего на запутанные истории и однажды па арену в Бадахосе, – теперь погасла и разбилась. Как глупо поступил Вайдель, что сам загасил ее. Обладать такой лампой – значит ведь подчинить себе «духа» этой лампы, не правда ли? Я дорого дал бы, чтобы прочесть его описание расстрела в Бадахосе.

– Никогда, ни прежде, ни потом, я не писал ничего подобного, – сказал я.

Консул встал и бросил на меня взгляд, который можно было бы счесть пронизывающим, если бы он пронизывал того, кого надо.

– У вас есть поручитель? – спросил он.

Где, черт возьми, мне было взять поручителя, который присягнул бы, что покойный Вайдель ни тогда, ни потом не писал ничего подобного, что он и впредь никогда не будет писать ни о каких массовых расстрелах красных ни на какой арене?

Допрос прервался. Умолк и стук пишущей машинки. И когда тишина угрожающе нависла над этой комнатой, я вдруг вспомнил о начале своего затянувшегося приключения, вспомнил о Паульхене.

– Конечно, у меня есть поручитель, – сказал я. – Мой друг Пауль Штробель. Его можно найти в Комитете помощи на улице Экс.

Фамилию записали в список под другими фамилиями. Протокол подшили к другим протоколам. Мое досье поставили к остальным досье, а

я получил повестку явиться вторично восьмого января.

После такого допроса меня потянуло в ближайшее кафе. Я спустился по лестнице в вестибюль и очутился в толпе, сквозь которую трудно было протиснуться. На всех лицах было выражение растерянности и испуга. Перед воротами стояла санитарная машина. Выходя на улицу, я увидел, как санитары положили кого-то на носилки и понесли к машине. Я узнал маленького дирижера. Он был мертв. Люди рассказали мне:

«Он стоял здесь, в очереди, и вдруг упал... Он сегодня должен был получить визу. И все же консул отослал его, потому что у него неоставало одной фотографии, а это значило, что он пропускает день своего вызова в консульство и тем самым его отъезд снова откладывался на неопределенный срок. Конечно, это сильно разволновало старика... Мы вместе с ним стали пересчитывать фотографии. Оказалось, он ошибся – их было двенадцать, две просто слиплись... Тогда он снова стал в очередь на прием к консулу и вдруг упал...»

## IX

Я проводил взглядом санитарную машину, которая навсегда увозила маленького дирижера...

Тяжелое чувство прошло – ведь я был молод и здоров. Я вошел в кафе «Сен-Фереоль». Оно находилось в трех минутах ходьбы от американского консульства. Теперь и я имел право посещать это кафе – его облюбовали те, кто добивался американской визы. Я услышал позади себя шаги и обернулся. Следом за мной в кафе вошел лысый человек, которого я только что встретил в консульстве. Мы сели за разные, но сдвинутые вместе столики. Это означало, что пить мы хотим отдельно, но готовы при случае перекинуться несколькими словами. Каждый заказал себе чинзано. Вдруг мой сосед повернулся в мою сторону и чокнулся со мной.

– Выпьем за беднягу! Кроме нас с вами, его, наверно, никто не помянет.

– Я встретился с ним в первый раз в тот вечер, когда приехал в Марсель, – сказал я. – Как только он получал последний, необходимый для отъезда документ, срок первого истекал.

– Начинать надо всегда с последнего. Я прежде всего нашел здесь человека, который уступил мне свой билет на пароход, и лишь тогда включился в общую погоню за визами.

– Неужели есть люди, которые отказываются от своих билетов на пароход?

– Это была женщина, жившая по соседству со мной.

Она радовалась предстоящему отъезду, но потом вдруг заболела и бросила всю эту беготню. Она-то и уступила мне свой билет.

– Скажите мне, пожалуйста, что это за женщина и чем она больна?

Он впервые внимательно посмотрел на меня. Его серые глаза не светились добротой, но в них было нечто более ценное, чем доброта. Он ответил со смехом:

– Ваше любопытство чрезмерно. Вы расспрашиваете незнакомого человека о неизвестной болезни незнакомой вам женщины. – Он еще раз пристально взглянул на меня и спросил: – Быть может, вы писатель? Вы расспрашиваете, чтобы все это описать?

– Я? Нет! Что вы! – воскликнул я в испуге. И тут же снова испугался – на этот раз своего ответа. Он был необдуманно, но изменить что-либо было уже невозможно. И я добавил: – Я сам на всякий случай заказал себе

билет.

– На всякий случай! Билет на всякий случай! На всякий случай визу! На всякий случай транзитные визы! А если вся ваша предусмотрительность обернется в конечном счете против вас? А что, если вся эта забота о своей безопасности окажется хуже самой опасности? Если вы сами попадетесь в вами же расставленные сети предосторожности?

– Что вы! – возразил я. – Неужели вы думаете, что я принимаю всерьез всю эту чепуху? Это же игра, такая же, как любая другая. Игра, в которой можно выиграть жизнь.

Он взглянул на меня так, словно только теперь понял, с кем имеет дело. Затем он отвернулся и демонстративно обособился за своим столиком, который был вплотную придвинут к моему. Выражение его лица стало строгим, он сидел, прямой как струна. Я тщетно гадал, кто же он такой. Уходя, он забыл со мной попрощаться.

Кафе «Сен-Фереоль» постепенно заполнялось – отчасти посетителями американского консульства, отчасти теми, кто ждал разрешения на выезд из Франции, – они забегали сюда подкрепиться прежде, чем очередной раз отправиться в префектуру. Я бы охотно перешел в какое-нибудь кафе на Бельгийской набережной, потому что оттуда видна гавань, но я был не в силах двинуться с места. Подняться к Бинне? Не могу же я вечно им надоедать.

Вдруг мое сердце забилося, забилося прежде, чем я увидел ее. Она вошла в кафе и начала оглядывать столики. Ее печаль передалась мне. Мне стало страшно. Когда она подошла ближе, я встал. Безрадостно протянула она мне руку.

– Теперь вы сядете за мой столик, – сказал я ей. – Вы выпьете со мной... Вы выслушаете меня.

– Что вам от меня нужно? – спросила она устало.

– Мне? Ничего. Я только хочу узнать, кого вы ищете. Ведь вы ищете с утра до вечера, на всех улицах, повсюду.

Она посмотрела на меня с удивлением, потом сказала:

– Почему вы меня об этом спрашиваете?... Уж не хотите ли вы мне помочь?

– Вас так удивляет, что кто-то предлагает вам помощь? Кого вы ищете? Скажите, кого?

– Одного человека. Мне говорят, что его видели – то тут, то там. А стоит мне прийти, как он исчезает. Но я должна его найти. От этого зависит счастье всей моей жизни.

Я подавил улыбку: «Счастье жизни!»

– В Марселе нетрудно найти человека, – сказал я. – Это дело нескольких часов.

– Я и сама прежде так думала, – печально проговорила она. – Но этот человек словно заколдован...

– Странно... А вы-то сами хорошо его знаете?

Она побледнела.

– О да, я хорошо его знаю. Он был моим мужем.

Я взял ее за руку. Она нахмурила брови и серьезно посмотрела мне в лицо.

– Если я не найду его, я не смогу уехать. У него есть то, что мне

нужно, – у него есть виза. Только он может достать мне визу. Он должен заявить консулу, что я его жена.

– Чтобы вы могли уехать с другим, – с врачом, если я все верно понял?

Она отняла у меня руку. Я говорил с ней слишком строго и сразу же пожалел об этом. Она ответила, опустив голову:

– Да, примерно так.

Я снова взял ее за руку. На этот раз она не отняла руки. Мне показалось, что это уже много.

– Ужасно получается, – сказала она, обращаясь к самой себе, – одного я не могу найти, а другого этим задерживаю. Он уже давно ждет меня, и все без толку. Ради меня он отложил свой отъезд. Больше он ждать не может... И все только из-за меня.

– Послушайте, – сказал я, – надо хорошенько во всем разобраться. Кто вам сказал, что этот человек здесь, кто его видел в Марселе?

– Служащие консульства, – ответила она. – Он недавно приходил туда за визой. Мексиканский консул лично разговаривал с ним несколько раз. Ошибки тут быть не может. Видел его и корсиканец из Бюро путешествий.

Почему ее рука стала в моих горячих ладонях холодной как лед? Она придвинулась ко мне ближе. А мне на мгновение захотелось, чтобы ее здесь не было, чтобы даже образ ее развеял порыв мистрала. Но если бы я сейчас ее обнял, она, наверно; не сопротивлялась бы. Она вела себя как ребенок, который из страха льнет к взрослому. Мне передался ее необъяснимый детский страх. Я тихо спросил, словно мы говорили о чем-то запретном:

– Откуда ой приехал в Марсель? С фронта? Из лагеря?

Она ответила мне в тон:

– Нет, из Парижа. Мы расстались, когда пришли немцы. Он там застрял. Как только я сюда приехала, я сразу же послала ему письмо. Сразу же! Я встретила здесь знакомую – сестру одного человека, с которым мы прежде дружили... Некий Пауль Штробель... У этой женщины была подруга. Она была помолвлена с французом, торговцем шелком. Ему как раз надо было поехать по своим делам в оккупированную зону. Я упростила его доставить мое письмо в Париж, и он это сделал. Это я знаю... Что с вами? – вскрикнула она вдруг. – Что случилось?

Я выпустил ее руку. Да что там выпустил! Я швырнул ее об стол.

– Ничего. Что может со мной случиться? Вот разве что не дадут испанской транзитной визы. Впрочем, и ее я, наверно, скоро получу. Говорите, пожалуйста, говорите дальше.

– А дальше ничего нет. Это все.

– Перед консулами ежедневно проходят сотни людей, – сказал я, не глядя на нее. – Они легко могут спутать фамилию, быть может, его нет в Марселе... Быть может, он все еще в Париже... Быть может...

Она резко подняла руку, как бы приказывая мне замолчать.

– Никаких «быть может», – сказала она изменившимся хриплым голосом. – Его видели во многих местах. Четыре раза в кафе «Мон Верту». Мексиканский консул встретил его в кафе «Рим», Корсиканец видел его не только в Бюро путешествий, но и в каком-то кафе на Бельгийской набережной, а потом в маленьком бистро на Портовой набережной, но я всегда прихожу слишком поздно.

– Вы, наверно, расспрашивали о нем в мексиканском консульстве, просили служащих разыскать его?

– Нет, этого я не стала делать. Когда я узнала, что адрес, который он оставил в консульстве, неверный, я сразу поняла, что он приехал сюда по фальшивым документам и живет, видимо, под чужой фамилией. А это значит, что я не должна никого о нем расспрашивать, не должна задавать подозрительных вопросов, а то ведь недолго все испортить ему, а тем самым и мне. Понимаете?

Да, конечно, я все понял. Теперь мне никогда уже не уйти от печали. Вот оно, наследство покойного Вайделя. Страдать буду я.

– Вы хотите получить визу, – сказал я. – А без мужа вы не можете ее получить. Вы заклинали его приехать, обнадежив, что будете продолжать совместную жизнь.

Она посмотрела на меня ясными, широко раскрытыми глазами ребенка, который еще боится лгать, хотя и способен на самые дикие выходы.

– Теперь вы любите врача? – спросил я.

После недолгого колебания – я жадно считал минуты – она сказала:

– Он очень добрый.

– Господи, Мари, разве я вас спрашиваю о его доброте?

Некоторое время мы молчали.

– Вам не кажется странным, – начал я снова, – что ваш муж, если он в самом деле здесь, не искал вас, не сделал никакой попытки увидеться с вами?

Она сложила руки и тихо сказала:

– Конечно, это странно... Более чем странно... И все же он в Марселе, это ясно. Должно быть, он узнал, что я здесь с другим. Он не хочет меня видеть. Ему больше нет до меня дела.

Я снова взял ее руку. Я пытался осилить свою печаль, рассеять

предчувствие несчастья. «Стоит мне остаться с ней вдвоем, и я все как-нибудь улажу, – твердил я себе. – Прежде всего надо спровадить врача. Чем скорее и чем дальше, тем лучше. А что до ее мужа, то я лучше всех знаю, что ему нужно». Так, во всяком случае, мне тогда казалось.

– Вы, наверно, боитесь встречи с ним?

Ее лицо стало непроницаемым.

– Конечно, боюсь. После всего, что произошло. Такая встреча после долгой разлуки не легче расставания.

– Поэтому для вас было бы лучше всего, чтобы все уладилось без вашего участия. Чтобы в консульствах оформили все ваши документы. Ведь для этого нужно только вписать ваше имя в его визу, а затем вам выдадут справку, чтобы вы могли получить разрешение на выезд. У меня есть некоторые связи... Если вы не возражаете, я попытаюсь предпринять кое-какие шаги.

– А если я с ним встречусь на пароходе? И я буду с другим?...

– Доктор должен ехать через Оран. Я помогу ему в этом.

– Дело кончится тем, что я окажусь здесь одна.

– Одна? Ах вот что. А почему вам так страшно остаться одной? Вы боитесь, что вас посадят в Бомпар? Не забывайте, что я здесь. Я вас теперь не оставлю.

– Я ничего не боюсь, – сказала она спокойно. – Если мне придется остаться здесь одной, то все равно, буду ли я на свободе или в тюрьме, в Бомпаре или в другом лагере, на земле или под землей.

Я слушал ее, и передо мной вдруг возникла картина совершенно пустынного, покинутого людьми берега, от которого отчалил последний пароход. И только она одна осталась на этой сразу одичавшей земле.

## **Глава шестая**

В то время у всех было только одно желание – уехать! Всех пугало только одно – не остаться бы!

Прочь, прочь из этой погибшей страны! Прочь от этой загубленной жизни! Прочь от этих звезд! Люди слушали вас с жадным вниманием, пока вы говорили об отъезде, о кораблях, задержанных в пути и так и не прибывших к месту назначения, о купленных фальшивых визах, о странах, неожиданно открывших проезд через свою территорию. За этой болтовней и коротали время – все были измучены бесконечным ожиданием. Охотнее всего транзитники обсуждали рассказы о пароходах, которые ушли без них, но так и не добрались до цели.

Я боялся встретить в приемной мексиканского консульства человека, который бы меня знал. Но когда я увидел Гейнца, сердце у меня запрыгало от радости. Я забыл даже о том, что виноват перед ним. Я обнял его, как обнимаются испанцы, крепко прижав к себе его тощее многострадальное тело. Испанцы, ожидавшие своей очереди, стояли вокруг нас, глядя на нашу встречу, и улыбались, как улыбаются люди, перенесшие много горя, но сохранившие, несмотря на войну, концлагеря и постоянный страх смерти, всю пылкость своего сердца.

– Я боялся, Гейнец, что навсегда потерял тебя. Я не мог тогда прийти на наше свидание. Со мной произошло нечто такое, что случается только раз в жизни. Иначе я не заставил бы тебя ждать понапрасну.

Он посмотрел на меня, как глядел в лагере, когда я какой-нибудь дурацкой выходкой пытался привлечь к себе его внимание.

– Что ты здесь делаешь? – спросил он довольно холодно.

– Выполняю одно поручение. Все последние дни – а может быть, даже недели – я все глаза проглядел, разыскивая тебя. Я боялся, ты уехал.

Со дня нашей предыдущей встречи его лицо, казалось, еще больше высохло. Как это бывает у больных и смертельно усталых людей, его взгляд делался все суровей и тверже по мере того, как его тело тощало и слабело. С детства никто не смотрел на меня так внимательно. Но потом я заметил, что Гейнец все разглядывает с одинаковым вниманием: привратника с лицом цвета дубленой кожи; старого испанца, у которого погибла вся семья, но который все же решил получить визу в Мексику, словно эта страна была царством теней и он надеялся там встретиться со своими родными; ребенка с глазами-вишенками, чей отец был арестован в день моего приезда в

Марсель, в тот самый момент, когда он, стоя в воротах порта, уже видел свой пароход; поляка в форме трудовой армии, который за это время так оброс бородой, что стал похож на сову.

– Ты должен уехать отсюда, Гейнц, пока ловушка не захлопнулась. Не то все кончится тем, что ты попадешь в лапы к нацистам. У тебя есть транзитная виза?

– Мне достали транзитную визу в Португалию, оттуда поеду дальше, на Кубу... – Но ведь ты не можешь проехать через Испанию. Как же ты попадешь в Португалию?

– Этого я еще не знаю, – ответил он. – Придется что-нибудь придумать.

И вдруг я понял, в чем заключалась сила этого человека. Нам всем внушили истину: «На бога надейся, а сам не плошай», а вот Гейнц в каждую минуту своей жизни, даже в самые мрачные ее минуты, был убежден, что он не один, что где бы он ни был, рано или поздно он повстречает своих единомышленников, и, если он даже случайно их не встретит, это вовсе не значит, что их нет. А еще он считал, что не существует такого закоренелого мерзавца, такого презренного труса или живого мертвеца, который не откликнется, если его по-человечески попросить о помощи.

– Гейнц, подожди, пожалуйста, в кафе «Дриаден». Это в трех минутах ходьбы отсюда, на Кур д'Асса. Я могу дать тебе полезные советы, поверь, на этот раз я обязательна приду, не сомневайся. Ты же сам сказал, что я никогда не брошу тебя в беде. Гейнц, дождись меня, пожалуйста.

– Когда освободишься, зайди в кафе. Может, ты меня еще застанешь, – сказал он сухо.

Консул вскинул на меня свои живые глаза:

– Как? Выдать визу вашей супруге? Без специального разрешения моего правительства? Вы считаете, что это само собой разумеется, а я не считаю! У вашей супруги другая фамилия. Почему вы своевременно, когда заполняли анкету, не занесли ее в рубрику «Лица, сопровождающие получателя визы»? Правда, ваша супруга, с которой я имел честь познакомиться, прелестна, но все же ничего само собой не разумеется. Иногда приходится расставаться и с прелестными женами. Да-да, даже сам папа римский расторгал браки. Мне очень жаль, дорогой друг, что возникло новое осложнение, но вам придется подождать.

– Как вы думаете, сколько времени придется ждать нового разрешения вашего правительства?

– Помните, сколько вы ждали первого разрешения. Примерно так и стройте свои расчеты.

Он глядел на меня, и в его глазах снова вспыхнули лукавые огоньки. Но именно потому, что он так пронизательно смотрел на меня, я почувствовал, что и я не лыком шит, и стал еще более непроницаем.

– Прошу вас, – сказал я, – внесите, пожалуйста, мою жену дополнительно в рубрику «Лица, сопровождающие получателя визы».

«Что же, это никому не помешает, – думал я, пересекая Кур д'Асса. – В конце концов кому какое дело, останемся ли мы вдвоем здесь или вдвоем уедем?»

Я был рад; что мой отъезд откладывается, – за этот срок все может проясниться.

В те дни я уже вел счет времени по посещениям консульства. Это было своего рода астрономическое исчисление, в котором земные сутки как бы соответствовали тысячелетиям, ибо миры успевали исчезнуть в огне прежде, чем удавалось получить транзитную визу. Я начал всерьез считать, что мои мечты могут сбыться. Ведь они уже отбрасывали свою тень на листы моего досье. Моей жизни всегда недоставало серьезности, а тем более теперь, когда вся она растрачивалась на бесчисленные уловки и фокусы, к которым постоянно приходилось прибегать лишь для того, чтобы остаться в живых и на свободе.

Гейнц устроился за тем самым столиком, за которым я сидел с мальчиком Бинне в тот день, когда в первый раз пошел во вновь открывшееся мексиканское консульство. И сейчас я мог наблюдать со своего места за людьми, ожидавшими у дверей консульства. Они сражались с двумя полицейскими, которые хотели оттеснить их в тень с узкой площадки, озаренной холодным зимним солнцем. Гейнц спросил меня, какой совет я хочу ему дать. Мне показалось, что он уже во всем разобрался. Я даже подумал, что, взгляды он в меня повнимательней да попристальней, он увидел бы меня насквозь. Он понял бы, зачем я хожу в мексиканское консульство, понял бы, что я мечтаю сплавить подальше друга этой женщины, понял бы, как мне мучительна мысль, что врач еще долго будет маячить у меня перед глазами. Но тогда Гейнц понял бы и то, как я хочу ему помочь – больше, чем кому бы то ни было на свете, больше, чем самому себе. При этом я отлично сознавал, что для Гейнца я навсегда останусь одним из тех, к кому приходится обращаться, чтобы выпутаться из трудного положения. И все же я хотел помочь ему и всегда, всю жизнь гордился бы тем, что помог ему спастись.

И вот, почти против своей воли, я начал рассказывать ему о медной

провошке, которую на днях отправят на грузовом пароходике в Оран, о том, что я собирался устроить на это судно одного своего знакомого, но теперь готов уступить этот случай Гейнцу. Гейнц сказал, что это при всех обстоятельствах следует обдумать. Он назначил мне свидание на вечер в отеле для туристов далеко за городом возле Бомона. Пока я сидел против Гейнца, я находился под его обаянием. Но как только я ушел, мне стало ясно, что я ему совершенно безразличен, что он никогда не посчитает меня равней себе, не будет относиться ко мне всерьез. Меня взяла досада, и я не мог понять, с чего это я вдруг полез с предложением помощи, которое к тому же нарушало все мои планы.

## II

Вечером в маленьком кафе у Старой гавани меня спросили, помирился ли я со своей женой. Я ответил, что да. Они поинтересовались, придет ли она сегодня сюда.

– Нет, сегодня вечером вряд ли. Мы помирились и перестали гоняться друг за другом. Она теперь спокойно ждет меня дома.

Бомбелло – он тоже был в кафе – осведомился, сам ли я собираюсь ехать в Оран. Он принципиально берется устраивать отъезд только людям, которых лично знает. Несмотря на такую похвальную осторожность, он и понятия не имел о том, что я в последнюю минуту подменил ему пассажира – ведь до сих пор он и в глаза не видел врача. Справедливость требует признать, что Бомбелло был в своих махинациях по-своему добросовестен; он не называл вымышленные сроки отплытия и, после того как я договорился с ним наконец о цене, ни разу ни под каким предлогом не требовал прибавки. Он глядел на меня; часто мигая – нервный тик, который не проходил у него с тех пор, как провалилось одно из его предприятий. Я запихнул его и плюгавого португальца в такси и повез в Бомон. Я сразу же почувствовал, что им обоим очень понравился их клиент. С изумлением и ревностью заметил я, как льстят Бомбелло и португальцу серьезность и внимание, с каким отнесся к ним Гейнц. Как всем нам до смешного важно, чтобы с нами разговаривали серьезно! «И все же это только прием со стороны Гейнца, – думал я. – Фокус! А меня он наверняка ставит на одну доску с этими двумя типами, уж во всяком случае, немногим выше».

Договорившись о новом свидании, мы посадили Бомбелло и португальца в такси и отправили их назад в кафе у Старой гавани. Гейнц пригласил меня с ним поужинать. Нам подали рис и какую-то дешевую колбасу. Здесь в горах было и вино. Отель этот зимой почти пустовал, расположен он был на тихой окраинной улочке – я и не заметил, как мы в нее свернули, – у подножия гор. Мы были так близко от большого города и в то же время – в полном уединении. Мне показалось, что Гейнцу со мной скучно. Я много выпил, и вдруг меня обуяла злоба и ненависть: зачем я так стараюсь для Гейнца, которому со мной скучно, которому я безразличен и которого я никогда больше не увижу? Я все пил. и пил. Некоторые эпизоды моей жизни отчетливо вставали в моей памяти, другие же тонули в тумане, в черно-красном тумане нежного розё.

– Сейчас ты уйдёшь... Я всегда думал, что, если мне когда-нибудь

снова доведется жить с тобой в одном городе, я о стольком буду говорить, о стольком тебя расспрошу. И вот теперь прошел вечер, а я не знаю, о чем мне важнее всего спросить тебя. Кончается время, которое мы провели вместе в одном городе, а мы ни о чем не поговорили.

– Ты помог мне.

– И именно благодаря моей помощи ты уезжаешь. Тебе хорошо. Ты не такой, как я. У тебя есть цель.

– Ты мог бы, наверно, помочь и самому себе – мог бы уехать.

– Я говорю не о такой цели. Конечно, такого рода цель я бы мог себе придумать. Цель – и билет на пароход. Я могу достать визу в любую страну. И транзитные визы, и разрешение на выезд. Мне это раз плюнуть – такой я человек. Но к чему мне все эти бумажки, если мне безразлично, куда ехать, если мне вообще почти все безразлично...

– И все же ты мне помог.

– Когда я сижу рядом с тобой и вижу, что есть что-то твердое, незыблемое и в тебе самом, и впереди тебя, что-то такое, что нельзя уничтожить, даже если ты сам попадешь в беду... Гейнц, я вижу это в твоих глазах... Так вот, тогда мне начинает казаться, что я тоже могу быть вместе с тобой. Ты, верно, ничего не понимаешь из того, что я сейчас говорю, ты не можешь себе представить, каково на душе у человека, когда он пуст внутри.

Мы прислушивались к ветру, который здесь, высоко над морем, завывал точно так же, как в горах у меня на родине.

– Я прекрасно могу себе все это представить, – ответил Гейнц. – Мне и самому пришлось хлебнуть горя, поверь... Когда я первый раз встал на костыли – прежде я был таким же, как ты, рослым и сильным – и попытался впервые выйти из комнаты... понимаешь, солнце светило прямо в дверь слепяще ярко и зло, и я увидел свою тень, свою обрубленную тень... и тогда у меня тоже стало пусто на душе. Мы с тобой, наверно, ровесники. Сердце говорит мне, что я обязательно должен прожить еще много, много лет, чтобы суметь вернуться на родину и быть там, когда все изменится. «Как же все может измениться без меня, – спрашивает мое сердце, – когда я отдал ради этого свои кости, свою кровь и свою молодость?» Но разум говорит мне, что я проживу недолго, всего несколько лет, а быть может, и всего несколько месяцев.

Он посмотрел на меня не так, как обычно, а искоса и задумчиво, глазами человека, который нуждается в помощи. И от этого он стал мне еще дороже.

### III

Врач довольно спокойно принял сообщение о том, что его поездка в Оран сорвалась.

– Меня заверили в конторе «Транспор маритим», что в будущем месяце пойдет еще один пароход на Мартинику, и я записался в очередь на билет. Это более надежно, чем поездка в Оран, а потеря времени будет невелика.

«Значит, ты заставил меня устраивать твой отъезд, а сам для страховки обеспечил себе другую возможность», – подумал я.

– Мари рассказала мне, что вы хотите ей помочь, – продолжал врач. – Быть может, с вашей легкой руки она получит нужные документы.

– Сомневаюсь, что ей удастся получить визу до вашего отъезда. Но если бы даже и удалось, вы сами знаете, сколько еще после этого остается мороки: налоговой сбор, разрешение на выезд, транзитные визы...

Вдруг он так неожиданно и так пристально взглянул мне в глаза, что я не успел изменить выражение своего лица.

– Я хотел бы объяснить вам одну вещь, раз и навсегда, – сказал он спокойно. – В своем маленьком потрепанном автомобиле я вез Мари сквозь войну и вывез ее из войны. Наверно, разбитый кузов моей машины до сих пор еще валяется в кювете, в пяти часах езды от Луары. Мы благополучно добрались до Марсея. Мы могли бы тогда же двинуться дальше. Мы могли бежать в Африку. В Касабланку регулярно шли пароходы. Уехать было легко. Тогда все еще могли бежать. Но Мари никак не решалась. До Марсея она безропотно следовала за мной. А тут вдруг она заколебалась, никак не могла решиться, не могла – и все. Один пароход уходил за другим, а мне не удавалось уговорить ее уехать. Она бежала со мной из Парижа, мы вдвоем пересекли всю страну, добрались до этого города, но на пароход ее нельзя было заманить. А ведь тогда еще не нужно было ни виз, ни транзитных виз. Люди просто садились на пароход и уезжали. Но Мари цеплялась за любой предлог, а пароходы все уходили и уходили. Я грозил, что уеду один. Я хотел любыми средствами заставить ее принять решение. Но это не удавалось, она продолжала колебаться. Только из-за Мари, только по ее вине теперь получилось так, что я больше не могу ждать. Мне хотелось бы, чтобы вы это поняли.

– Вы вовсе не обязаны отчитываться мне в своих чувствах.

– В своих – безусловно. Я только хочу обратить ваше внимание на

одно обстоятельство: Мари всегда будет колебаться. Даже если она вдруг решит остаться, в глубине души она все равно будет колебаться. Да она никогда и не решит навсегда остаться здесь. Ничто не заставит ее принять какое-либо решение до тех пор, пока она вновь не увидит своего мужа, который, к слову сказать, может быть, давно уже умер.

– Кто вам сказал, что он умер! – крикнул я.

– Мне? Никто! Я же говорю «может быть».

Тут я совсем вышел из себя:

– Напрасно вы на это надеетесь! Возможно, муж объявится. Возможно, он и в самом деле уже в Марселе. В войну все случается.

– Вы упустили из виду одну мелочь, – сказал он, спокойно глядя на меня. Его продолговатое малоподвижное лицо не дрогнуло. – Ведь Мари уехала со мной, когда муж ее наверняка был еще жив.

Да, это была правда. Я не мог не признать, что это была правда. Покойный Вайдель вряд ли страдал бы от этого больше, чем я. Война обрушилась на страну, над Мари нависла угроза смерти, и Мари охватил страх. Быть может, только на один день. Но потом уже была поздно. Этот один день навеки разлучил ее с мужем.

Но какое мне, собственно, дело до мужа? Его уже нет. Вот и все. А воскресни он – я мечтал бы только о том, чтобы от него избавиться. «По сравнению с ним, – думал я, – человек, сидящий сейчас со мной за столиком, лишь бледная тень. Почему она хочет с ним уехать? Почему она бросает меня?»

Врач заговорил уже другим тоном, словно хотел отвлечь меня или успокоить:

– По некоторым вашим высказываниям я понял, как вы относитесь ко всей этой свистопляске с визами, ко всему этому консульскому шаманству. Боюсь, мой друг, что вы судите об этом чересчур легко. Я, во всяком случае, думаю иначе. Если в мире господствует какой-то высший порядок – я вовсе не имею в виду, что он непременно должен быть божественным, просто порядок, некий высший закон, – то он, наверно, определяет также и нелепый порядок наших досье. Ваша цель вам ясна. И какая вам разница, куда вы попадете сперва: в Оран, на Кубу или па Мартинику? Вы сознаете краткость и неповторимость своей жизни, как бы ее ни исчислять – в лунных ли, в солнечных ли годах или в сроках транзитных виз.

– Можно только удивляться, что, несмотря на такой возвышенный образ мыслей, вы все же дрожите от страха. Чего вы, собственно говоря, боитесь?

– Тут нет ничего мудреного. Конечно, смерти. Гнусной,

бессмысленной смерти под сапогами эсэсовцев.

– А я вот, видите ли, всегда уверен, что все переживу.

– Да-да, я знаю. Вам решительно не хватает воображения, когда дело касается вашей кончины. Если я в вас не ошибся, то вы, дорогой друг, стремитесь прожить две жизни. А так как двух подряд не бывает, то вы живете двумя жизнями одновременно. Так нельзя.

– Откуда вы это знаете? – воскликнул я в испуге.

– Господи, да это ясно по некоторым симптомам. Ваше излишне активное вторжение в чужие жизни. Ваша редкостная готовность – заслуживающая, впрочем, всяческой благодарности – оказывать помощь другим. Я вам уже сказал, так нельзя. Так нельзя... А если никакого высшего порядка не существует, если нет ничего, кроме судьбы, слепой судьбы, то какая разница, из чьих уст вы услышите ее приговор: от консула или от дельфийского оракула, прочтете ли по звездам или сами сформулируете его, анализируя многочисленные события вашей жизни – большей частью неверно, большей частью предвзято...

Я только собирался ему сказать, чтобы он прекратил свою болтовню, как он сам встал, поклонился Клодин и ушел. Этот разговор мы вели в кухне Бинне за крохотным столиком, покрытым чистой синей в клетку клеенкой. Хотя мы говорили по-немецки, Клодин с большим вниманием следила за нашим разговором, словно она истолковывала на свой лад смысл наших непонятных слов. Ее тонкие смуглые руки с розовыми ладонями перебирали вязальные спицы с размеренностью механизма.

После ухода врача я, должно быть, долго молчал.

– Что с тобой случилось? – начала Клодин. – Ты изменился за последние недели. Ты уже не тот человек, каким был, когда пришел сюда впервые. Помнишь, как я тебя выставила за дверь? Я тогда была очень усталая и хотела приготовить обед на следующий день!.. С тобой что-то случилось... Не спорь, я вижу. Что же именно? Почему ты вечно ходишь с этим врачом, участвуешь в его дурацких предотъездных хлопотах? Этот человек не годится тебе в друзья. Он чужой.

– Я тоже чужой.

– Нам ты, во всяком случае, не чужой. Этот врач, наверно, хороший человек – он вылечил моего мальчика... и нее же он нам чужой.

– Клодин, а разве ты сама здесь не чужая?

– Ты забываешь, что я приехала сюда, чтобы здесь остаться. Для вас этот город – место отъезда, а для меня он был местом приезда. Он был моей целью, точно так же, как для вас сейчас – заморские страны. И вот теперь я здесь живу.

– Почему ты покинула свою родину?

– Тебе этого не понять. Разве ты можешь понять женщину, которая, завернув ребенка в платок, садится на пароход, потому что дома для нее нет места. Людей вербуют на фермы, на фабрики или еще куда-то. Она и представить себе не может, что это такое, но она едет. А вы? У вас холодные глаза! Вам нужна уйма времени, чтобы решиться на то, на что мы решаемся в одно мгновение. И за одно мгновение вы рвете то, что для нас длится всю жизнь. Да ты меня спрашиваешь обо всем этом только для того, чтобы я сама тебя не расспрашивала. Ты расстался с Надин? У тебя другая девушка? Она заставляет тебя страдать?

– Оставь меня в покое... Скажи-ка мне лучше, тебе никогда не хочется вернуться домой?

– Быть может, когда-нибудь, когда мой мальчик станет учителем или врачом, и захочется. Но не теперь, не одной. Опавший лист, гонимый ветром, скорей бы вернулся на свою ветку... Я хочу остаться с ребенком у Жоржа как можно дольше.

Она не скрывала от себя всей непрочности своего счастья. И быть может, именно от этого оно становилось прочнее. Во всяком случае, я, как никогда, остро ощутил, что нахожусь в семье. Должно быть, все началось с того, что Жоржу Бинне однажды захотелось коснуться этой смуглой руки. Жоржу, который попал на юг благодаря случайному стечению обстоятельств во время эвакуации его фабрики. Почему такие Жоржи всегда обзаводятся домом, тогда как для меня ничто не имеет продолжения – ни счастливого, ни трагического? В конечном счете я из всего выпутываюсь, правда, без урона, но остаюсь, как и был, один.

## IV

Я сел за столик в «Брюлер де Лу». Люди вокруг меня находились в страшном возбуждении, потому что в полдень по Каннебьер промчалась машина со свастикой. Наверно, в ней ехала одна из тех немецких комиссий, которые совещались в отеле с агентами Виши в Испании и Италии. Но беженцы вели себя так, словно сам сатана промчался вниз по Каннебьер, словно он вот-вот загонит за колючую проволоку свое разбежавшееся стадо. Мне показалось, что все готовы броситься в море и выбираться из города вплавь, поскольку в ближайшее время не ожидалось никаких пароходов.

Вдруг в одном из зеркал, которыми здесь были увешаны стены, будто специально для того, чтобы умножить число мерзких рож, мелькающих перед глазами, я увидел, что в кафе тихо вошла Мари. Я напряженно следил за тем, как она ищет, не спускал с нее глаз, пока она обходила столики, разглядывая все лица. Я был единственным человеком, который знал, что ее поиски бессмысленны. Затаив дыхание, ждал я, когда она подойдет к моему столику. Я вдруг решил, что сейчас должен раз и навсегда положить конец этим, поискам и предчувствовал, какое опустошение произведут в ее душе тремя словами проклятой правды.

И вот ее взгляд упал на меня. Ее бледное лицо порозовело, в серых; глазах засветилась теплая, добрая улыбка, и она крикнула мне:

– Я уже несколько дней ищу тебя!

Я забыл свое намерение. Я схватил ее за руки. Только глядя на ее маленькое личико, я ощущал покой. Да, мир и покой воцарились в моем загнанном сердце, словно мы сидели вместе на лужайке у себя на родине, а не в этом суматошном кафе у пристани, где зеркала на стенах отражали содрогающихся в конвульсиях страха беженцев.

– Куда ты пропал? – спросила она. – Скажи мне, ты не получил еще ответа от своих друзей в консульстве? Моя радость почти улетучилась. «Так вот почему ты меня ищешь? – подумал я. – Я занял место покойника».

– Нет, – сказал я. – Это так быстро наделается.

Она вздохнула. Я не мог понять, что выражает ее лицо. Мне показалось, что на нем промелькнуло что-то вроде облегчения.

– Давай спокойно посидим вместе, – сказала она. – Будто не существует ни отъезда, ни пароходов, ни расставаний.

Меня легко было втянуть в такую игру. Около часа просидели мы

вместе в полном молчании, словно у нас было впереди бог весть сколько времени для разговоров; в полном согласии – словно нам никогда не надо будет расставаться. Во всяком случае, я испытывал именно такое чувство. Я не удивлялся тому, что она не отнимает у меня своих рук: видно, это казалось ей вполне естественным, а быть может, напротив, ей было безразлично, кто их сжимает. Внезапно она вскочила. Я вздрогнул. На ее лице появилось то особое, непонятное, чуть ироническое выражение, которое всегда появлялось, когда она думала о враче. И я почувствовал, что стоит ей уйти, как меня вновь с неодолимой силой захватит вся эта бессмысленная суета.

Но тем не менее я сравнительно спокойно продолжал сидеть за своим столиком. «Мы еще живем в одном городе, – думал я, – мы еще спим под одним небом, еще ничего не потеряно».

Когда, возвращаясь домой, я пересекал Кур Бельзенс, я услышал, как с застекленной террасы кафе «Ротонда» кто-то выкрикнул мое прежнее имя.

Я вздрогнул, как всегда, когда меня называли моим настоящим именем. Но обычно я успокаивал себя тем, что теперь почти все люди бродят по свету под чужими именами хотя бы потому, что они произносят их на иностранный манер. Сперва мне показалось, что я никого не знаю из той группки людей, которые мне махали. Потом я заметил, что все махали потому, что махал Пауль. Но я его не сразу разглядел. Его голова еле виднелась из-за плеча девушки, которую он держал на коленях. В том, что Паульхен усадил девушку к себе на колени, не было ничего необычайного, но все же меня это настолько озадачило, что я застыл в изумлении. Паульхен, видно, воспользовался «алкогольным днем» – его грустные карие глаза блестели, своим тонким, оседланным очками носом он клевал девушку в шею. У нее было милое маленькое личико и красивые длинные ноги. Ласки Паульхена пришлись ей, видимо, по вкусу. Должно быть, при каждом клевке она чувствовала, что Паульхен – значительная личность, значительная личность, которую теперь преследуют. Одной рукой Паульхен обнимал эту хорошенькую девушку, а другой махал мне. Я стоял в нерешительности, но люди за столом продолжали махать – только потому, что махал Паульхен.

– Мой старый товарищ по лагерю! – крикнул Пауль. – А ныне верный оруженосец Франческо Вайделя.

Друзья Пауля уже не размахивали руками, они меня разглядывали. Я присел за их столик, хотя чувствовал себя здесь совсем чужим.

Кроме Пауля и девушки, устроившейся у него на коленях, за столиком сидели еще пять человек. Маленький толстяк с двойным подбородком, его жена, такая же маленькая и неуклюжая, в шляпке с пером; молодая женщина, которая была так хороша, что я все снова и снова глядел на нее, чтобы убедиться, действительно ли она так уж хороша со своей лебединой шеей, золотистыми волосами и длинными ресницами. Мне даже показалось, что ее не существует на самом деле, что она – видение. К тому же она сидела совершенно неподвижно. Зато никаких сомнений не могло быть в том, что ее соседка – очень худенькая, гибкая девушка с большим наглым ртом – из плоти и крови. Она внимательно оглядела меня своими чуть раскосыми глазами, прислонившись головой к плечу своего приятеля,

похожего на киногероя: роскошный парень, высокий, широкоплечий, который смотрел куда-то мимо нас с усмешкой, исполненной высокомерия и сознания своей силы. Этот тип был мне глубоко чужд, но почему-то – сам не знаю почему – показался знакомым.

– Да ты что, не узнаешь Аксельрота? – воскликнул Паульхен.

Я внимательно посмотрел на роскошного парня и узнал Аксельрота. Разве Паульхен не рассказывал, что он давным-давно удрал на Кубу? Я пожал Аксельроту руку. Он был одет с иголочки, но в своем шикарном костюме, как, впрочем, и в лагерных лохмотьях, он выглядел, словно на маскараде. Тут я вспомнил, что мне рассказывал Паульхен об Аксельроте, о той бесподобной наглости, с какой он бросил своих товарищей на перекрестке шоссе, когда они бежали из лагеря. Паульхен явно все забыл и простил. Да ведь я и сам чуть не забыл и пожал Аксельроту руку.

– Так вы, значит, связались с Вайделем? – спросил Аксельрот. – Выходит, он все же добрался сюда. Счастье еще, что хоть перед всеми вами у меня совесть чиста. Я теперь на каждом шагу встречаю людей, которые меня ненавидят, потому что я обошелся с ними не совсем по-христиански. Что-что, а уж ненавидеть Вайдель всегда умел лучше всех. Я встретил его на днях в «Мон Верту»...

– Вы? Вайделя?! – крикнул я.

– Он уже испугался, не уронил ли его господин и повелитель свое достоинство! Нет, нет, успокойтесь. Вайдель, как обычно, злобствовал. Он заслонился газетой, чтобы ни с кем не раскланиваться. Вы же знаете, Вайдель в кафе всегда утыкается в газету, чтобы никто с ним, не дай бог, не заговорил. А в газете он прокалывает булавкой маленькую дырочку и тайком подсматривает за людьми. Он придает большое значение людским поступкам, его интересуется все зримое, чувственное! Он любит запутанные интриги в духе старых романов, грубые сюжеты.

– Старые приемы, да, но это великий волшебник, – пробормотал толстяк с двойным подбородком.

Видно, я слишком пристально глядел на Аксельрота – он в раздражении наморщил лоб. Тогда я быстро перевел взгляд на нежное ангельское личико золотоволосой девушки.

– До последнего времени она была любовницей Аксельрота, – шепнул мне Паульхен. – Но вдруг он заявил, что ему надоело разыгрывать с ней «самую красивую пару на Лазурном берегу».

– На этот раз грубый сюжет заключался в следующем, – продолжал Аксельрот. – Ты, Паульхен, небось помнишь, как мы драпали из лагеря и как бросил я вас на перекрестке шоссе?... *J'espère, que cela ne te fait plus du*

mauvais sahg?<sup>[4]</sup>

– Дело прошлое. Ведь мы оба теперь здесь, – ответил Паульхен, для которого это обстоятельство явно было самым главным.

– Я намного обогнал немцев, – сказал Аксельрот, – и попал в Париж раньше Гитлера. Я отправился в Пасси, открыл свою квартиру, взял деньги, упаковал ценные вещи и рукописи, любимые картины и статуэтки, оповестил эту дорогую мне чету. – Он указал на даму в шляпке с пером и па господина с двойным подбородком, и те с серьезными лицами кивнули ему в ответ. – И вот эту даму. – Аксельрот поглядел на золотоволосую красавицу, которая сидела все так же неподвижно, ко всему безучастная, словно малейшее движение могло погубить ее неземную красоту. – Вдруг ко мне приходит этот Вайдель, который, видимо, разыскивал по Парижу друзей. Он был бледен и дрожал от страха – близость нацистов действовала ему на нервы. Тогда я думал, что в моей машине будет свободное место. Я пообещал Вайделю взять его с собой и сказал, что заеду за ним через час. Но потом выяснилось, что багаж этой дамы весьма солиден – ей захотелось увезти все свои театральные костюмы, она ведь выступает на сцене. Дама эта не могла существовать без своих чемоданов, а я в то время не мог существовать без этой дамы. Вот нам и пришлось уехать из Парижа без Вайделя.

– С Вайделем вечно какие-то осложнения, – сказал Пауль. – Уже несколько недель наш комитет занимается его делами. Хотя создавай специально для него особый комитет. Признаюсь, мы скрепя сердце поручились за него консулу Соединенных Штатов. Впутался же он тогда в эту историю...

– В какую историю? – спросил господин с двойным подбородком.

– Да четыре года назад, во время гражданской войны в Испании. Надо же, чтобы именно на него наскочил какой-то там командир бригады. Его рассказ произвел на беднягу Вайделя сильное впечатление. Он и вообще-то имеет склонность ко всяким ужасам, нелепостям и кровавым историям. И вот вам результат – новелла а-ля Вайдель о массовом расстреле на арене, сразу же после «суда инквизиции». Эту новеллу распространяла тогда испанская информационная служба. Кстати, я тогда предупреждал его, что ему надо держаться подальше от республиканцев. Он ответил мне, что его привлекла тема...

– Понятно. Вот почему он получил визу в Мексику, – сказал Аксельрот. – Во всяком случае, я рад тому, что в ближайшие годы мне не придется видеть его обиженную физиономию.

– Рано радуешься, – сказал Пауль. – Благодаря нашему поручительству

он, видимо, получит американскую транзитную визу и не исключено, что вы уедете с ним на одном пароходе.

– Почему вы еще не уехали? – спросил я Аксельрота. – Ведь вы попали в Марсель на несколько недель раньше нас.

Аксельрот резко повернулся и взглянул мне прямо в лицо, словно стараясь понять, не смеюсь ли я над ним. Все остальные тоже поглядели на меня и громко расхохотались.

– Ты, должно быть, единственный человек в Марселе, который не знает этой истории, – сказал Пауль. – Познакомься, пожалуйста, с этой милой компанией, которая уже побывала на Кубе.

Толстяк с двойным подбородком печально кивнул, подтверждая слова Паульхена, и от этого движения у него появился третий подбородок. Дама с пером на шляпке подвинулась ко мне поближе и сказала:

– Господин Аксельрот разыскал нас в Париже и посадил в свою машину вместе с этой дамой и ее чемоданами, из-за которых Вайделю не хватило места, ну а мы были нужны Аксельроту, для нас место нашлось. Ведь мы писали музыку к его новой пьесе. Он с бешеной скоростью гнал машину, удирая от немцев. Он спас нас, а тем самым, и музыку для своей пьесы. Никто не добрался до Марселя так быстро, как мы. Меньше недели потратил он на то, чтобы купить всем визы. Мы уехали первыми. Но, к сожалению, его обманули – визы оказались фальшивыми. На Кубе нас не выпустили на берег, и нам пришлось на том же пароходе вернуться назад.

Я подумал, до чего же с Аксельротом не вяжутся слова «не повезло». Казалось, он просто создан для счастья, удачи должны так и сыпаться на него.

– За это время мы постепенно научились жить, пренебрегая опасностью, – сказал Аксельрот, скривив губы. – Музыка для пьесы будет написана в западном полушарии... Чутьочку терпения, господа. Мы теперь по всем правилам записались в очередь на пароход в Лиссабон. Мы подружились с несколькими консулами. У нас есть испанская и португальская транзитные визы. В любую минуту мы можем отсюда удрать. А у меня лично еще один выигрыш оттого, что мы были вынуждены вернуться: я освободился от сего наваждения. – И он указал на золотоволосую красавицу, которая слегка вздрогнула, но тут же снова застыла в своей очаровательной позе неподвижности. – Существует старое поверье относительно людей, которые разделяют одну судьбу: обычно считают, что так рождается верность. Если бы кубинские чиновники оказались более человечными, я бы еще долго внушал себе, что это прелестное создание связано со мной нерасторжимыми узами. И это,

заметьте, только потому, что мы вместе прошли нелегкий отрезок моего жизненного пути. Но мне представилась редкостная возможность еще раз очутиться, правда не по своей воле, на исходных рубежах. Я выправил свои бумаги и свои чувства. Призрак верности исчез.

Я еще раз взглянул на рыжеволосую девушку и не удивился бы, если бы она – теперь уже никому не нужный плод фантазии Аксельрота – вдруг улетела бы в сторону Кур Бельзенс.

Мне стало как-то не по себе в обществе этих людей, словно я, самый обыкновенный парень, вдруг оказался в кругу чародеев и колдунов. Толстяк с двойным подбородком задержал меня, когда я собрался уходить.

Он отвел меня в сторону.

– Хорошо, что я вас встретил, – сказал он. – Я высоко ценю господина Вайделя: у него большой дар. Я очень тревожился за него все это время. Я рад узнать, что он уже вне опасности. Когда мы уехали из Парижа, уехали без Вайделя, я всю дорогу упрекал себя, что не остался вместо него. Он это заслужил. Но я, конечно, оказался слишком слаб для такого поступка. А когда с нами случилась эта беда на Кубе и нам пришлось вернуться, мне все казалось, что это возмездие за мою слабость, за излишнюю поспешность.

– Успокойтесь, время подобных библейских казней миновало, иначе большинству людей пришлось бы отправиться назад.

Я взглянул на толстяка и заметил, что заплывшие глазки и жировые складки под подбородком до неузнаваемости меняют его лицо. Он сунул мне какую-то купюру и сказал:

– Вайдель всегда был беден. Ему это пригодится. Постарайтесь ему помочь. Он никогда не умел делать деньги.

Я встал рано утром. Накануне я обещал Клодин зажать очередь в лавочку на улице Турнон. Я пришел задолго до открытия, но перед запертой дверью уже стоял длинный хвост. Женщины закутались в платки, надвинули на лоб капюшоны, потому что было ветрено и холодно. Крыши высоких домов уже порозовели от первых лучей солнца, но в глубоких щелях улиц еще лежали ночные тени. Женщины настолько закохенели, что были не в силах браниться. Они думали только о том, как бы получить несколько банок сардин. словно хищные звери, подстерегающие у норы свою жертву, следили эти люди за дверью лавки. Все их силы были направлены на добычу нескольких банок консервов. Почему они должны вставать ни свет ни заря и с таким трудом добывать то, что всегда в избытке имелось в их стране? Куда теперь все подевалось? Они были слишком усталые, чтобы думать об этом. Наконец дверь открылась, и очередь медленно поползла в помещение. Но за мной уже успело встать множество людей – огромный хвост, доходивший почти до Кур Бельзенс. Я вспомнил свою мать, которая, должно быть, тоже стоит в предрассветной мгле в длиннющей очереди перед какой-нибудь лавкой в нашем городе, чтобы получить две-три кости или несколько граммов жира... Во всех городах Европы вытянулись сейчас такие вот хвосты перед бесчисленными дверями. Если все очереди выстроить в одну, то эта людская цепь протянется от Парижа до Москвы и от Марселя до Осло.

Вдруг на противоположном тротуаре я увидел Мари. Низко надвинув свой остроконечный капюшон, бледная от холода, шла она от бульвара д'Атен. Я крикнул:

– Мари!

Слабая улыбка озарила ее лицо. «Если она остановится и немного постоит со мной, то все будет хорошо», – загадал я. Мари подошла ко мне, а женщины вокруг заволновались – не хочет ли она втереться в очередь?

– За чем это стоят? – спросила Мари.

– За сардинами. Я должен достать их для того больного мальчика, к которому я привел твоего друга.

Мари замерзла и переминалась с ноги на ногу. Женщины ворчали. Я обернулся к ним и сказал, что сардины буду брать я один. Но они продолжали с недоверием следить за Мари. Я спросил ее, куда это она так рано направилась.

– В пароходство и в Бюро путешествий.

«Она вышла из дому, чтобы с утра начать свою ежедневную беготню, – думал я. – Но против воли она сразу же задержалась и стоит вот теперь со мной, отложив ради меня свои поиски. Надо потихоньку приучить ее к тому, чтобы она меня искала».

Люди в очереди все больше волновались, стоящие сзади вытягивали шеи.

– Боюсь, мне пора идти, – сказала Мари.

– Теперь до меня осталось только шесть человек. Это недолго. Потом я провожу тебя.

Женщины опять заволновались, но все же пропустили без очереди беременную. Кто-то позади меня рассказывал, что одна нахалка засунула себе под юбку подушку, чтобы пройти без очереди. Но насчет той женщины, которую сейчас пропустили к прилавку, сомнений быть не могло: под ее широким шерстяным платьем и в самом деле таилась новая жизнь. В ее глазах – глазах маски, потому что ее застывшее от холода лицо казалось гипсовым, – потемневших от страха опоздать к открытию магазина, вдруг ярко вспыхнула надежда, и надежду эту внушила ей не банка сардин. Выражение отчаяния на ее неподвижном лице сменилось выражением терпения.

– Вот видишь, перед нами еще встали, – сказала Мари. – Я пошла.

«Почему я не пошел с ней? – думал я. – Почему я не решился соврать Клодин, что лавку закрыли? Почему я остался стоять в этой очереди на холодном ветру?»

## VII

Я пригласил Мари в маленькое кафе на бульваре д'Атен. Она пришла почти вовремя, но те несколько минут, которые мне пришлось ее ждать, я провел в тупом отчаянии. Поэтому мне показалось чудом, что она появилась и пошла прямо ко мне. Она скинула свой мокрый капюшон и села рядом со мной.

– Ну, как дела? Что-нибудь удалось?

– Да, кое-что, – ответил я. – Только ты не должна ни во что вмешиваться, чтобы ничего не напутать. Когда надо будет, тебя вызовут. Придется только поставить свою подпись.

Она слегка отодвинулась от меня и даже подперла голову рукой, чтобы лучше меня разглядеть.

– Мне до сих пор кажется, – сказала она, – что мне помогает чужой человек, появившийся неизвестно откуда, когда я уже не знала, что делать. Незнакомый человек... Она слегка коснулась моей руки в знак благодарности. И все же, несмотря на то, что у нас было общее дело, она показалась мне вдруг далекой, замкнутой, погруженной в себя.

– Как ты думаешь, долго продлится оформление документов? – спросила она. – Несколько дней или несколько недель? Успею ли я вовремя получить визу? Ведь мой друг хочет уехать как можно скорее.

– Ему так или иначе надо будет задержаться, – ответил я. – Боюсь, что из поездки в Оран ничего не получится. Видно, придется запастись терпением. Придется еще втроем здесь помыкаться.

По ее лицу пробежала тень.

– Втроем? А кто же третий?

– Конечно, я.

Она глядела в окно кафе на людей, которые, нагрузившись вещами, спускались от вокзала, расположенного на холме, к бульвару д'Атен; несколько человек с чемоданами и сумками, ведя за руку детей, вошли в наше кафе.

– Прибыл поезд, – сказала Мари. – Сколько народу приезжает еще со всех концов страны! Из лагерей, из госпиталей, с фронтов. Погляди-ка на ту маленькую девочку с забинтованной головой.

Мы потеснились, чтобы дать место вновь прибывшим женщинам – как мрачно было выражение ее лица! – двум ее сыновьям-подросткам и маленькой девочке с марлевой повязкой на голове – маленькой, но все же

слишком большой для плетеной коляски, в которой ее везли.

Мари стиснула пальцы каким-то странным движением, как мне показалось, с отчаянием, но голос ее был спокоен.

– А что, если у консула, когда меня вызовут к нему, окажется и мой муж? Может быть, его пригласят одновременно со мной. Вдруг я приду туда и встречу его?

– Перестань, – сказал я. – Его там не будет. Его присутствие не понадобится. Нам он не нужен.

– Его присутствие не понадобится... Нам он не нужен... Но ведь он может оказаться там и случайно. Нас с тобой ведь тоже свел случай... И с ним я впервые увиделась случайно... И того, другого, врача, я тоже впервые увидела случайно...

Я не понял, к чему ей понадобилось подчеркивать, что все в конечном счете происходит случайно. Мне это не понравилось. Я припомнил, что как-то раз я тоже задумался над тем, о чем она сейчас говорит, но бросил эти мысли, потому что они мне не понравились.

– Его там не будет ни случайно, ни по вызову консула. Не бойся этого, – сказал я.

Я взял в свои ладони ее все еще стиснутые руки. Только когда они разъединились. Мне мешал взгляд приехавшей женщины, которая, как и все люди с загубленной жизнью, с недоверием смотрела на всякое проявление любви.

## VIII

Я теперь ежедневно виделся с Мари. Иногда мы заранее улавливались, иногда встречались случайно. Иногда мил сама мне говорила, что разыскивала меня по кафе. Теперь она искала меня, а не покойника. Я клал руку на пол, потому что знал, что Мари коснется ее. Она садилась совсем рядом со мной. Мне тогда казалось, что обстоятельств складываются в мою пользу.

Прислонившись головой к моему плечу, она молча сплела и разглядывала людей, которых, словно кофе в кофейной мельнице, прокручивала в зал вертящаяся дверь. «Вот так, – думал я, – перемалываются их души и тела по нескольку раз в день». Многих из них я знал, кое с кем была знакома Мари, и иногда мы рассказывали друг другу то, что нам было известно об их мытарствах в погоне за низами.

– Мы тоже принадлежим к их числу, – сказала Мари. Я хотел было возразить ей, но промолчал, потому что в то время мне иногда казалось, что я готов с ней уехать. Остаться с ней здесь? Уехать с ней? Вот две мысли, которые меня тогда терзали.

– День тянется долго, – сказала Мари. – Даже один день тянется долго, когда ничего не делаешь и только ждешь. А если сложить вместе все эти долгие дни, то получится целая пропасть времени. Я сама уже больше не верю, что мой муж находится в городе. Нет никакого смысла его искать. Все равно разминешься. Быть может, он поселился где-нибудь на берегу моря, в одной из окрестных деревень. Быть может, он только изредка приезжает в Марсель... Буду ждать, пока он сам не разыщет меня.

– Ты и без него получишь визу, – сказал я. – У меня есть все основания надеяться.

– Допустим, получу. Что тогда?

– С этой визой ты получишь транзитные визы, а потом разрешение на выезд. Так ведь это делается.

Мари промолчала. Еще минуту назад она была веселой и оживленной, а теперь сидела помрачневшая и печальная, все так же прижавшись головой к моему плечу, не отнимая у меня своих рук, и пристально всматривалась в лица людей, проходивших мимо нас.

Вдруг у меня закралось подозрение, что, быть может, она позволяет мне брать ее за руку, ищет моего общества лишь затем, чтобы я достал ей эту проклятую визу и она могла бы уехать с другим. Разве не пыталась она

ради этого помириться с покойником? Я с недоверием, искоса взглянул на нее. Я увидел на ее бледном лице тени от густых ресниц и перестал задавать себе вопросы. Главное – я был жив и она сидела рядом со мной.

– Откуда ты, собственно, родом? – спросил я.

Я обрадовался, потому что печальное выражение мигом слетело с ее лица, словно я напомнил ей о чем-то хорошем.

– Из Лимбурга на Лане, – ответила она, улыбнувшись.

– А кто были твои родители?

– Почему были? Я надеюсь, они еще живы. Они, наверно, живут по-прежнему в нашем старом доме на нашей старой улице. Теперь умираем мы, молодые. Мне кажется, мои старики после свадьбы ни на день не расставались. Когда я была ребенком, мне становилось как-то не по себе в низких комнатах, в кругу моих родных. Их разговор журчал, не иссякая, тоненько и нежно, как ручеек под нашими окнами. Я всегда мечтала уехать далеко, далеко. Ты можешь это понять? Осенью изгородь, окружавшая наш двор, становилась красной от винограда. А весной там цвели сирень и боярышник.

– Наверно, они и сейчас цветут там каждую весну, – сказал я.

– А осока у пруда...

– Может быть, ты просто хочешь вернуться назад?

– Вернуться назад? Такого совета мне еще никто не давал... Совет, возможно, и неплохой, но...

– Да, но... – И я повторил слова Клодин: «Опавший лист, гонимый ветром, скорей бы вернулся на свою ветку...»

– Человек не лист, – сказала она как бы в пространство. – Он может идти куда захочет. Он может и назад вернуться.

Ее ответ поразил меня, как поражает порой мудрый ответ ребенка на глупые вопросы взрослых.

– Как ты, собственно говоря, встретила с Вайделем?

Ее лицо потемнело. Я пожалел, что задал этот вопрос.

И вдруг она ясно улыбнулась:

– Я гостила у родных в Кельне. Как-то раз я сидела на скамейке в Ханзаринге. Вдруг подошел Вайдель и сел рядом со мной погреться на солнышке. Мы стали болтать. До этого никто еще со мной так не разговаривал. Такие люди, как он, никогда не бывали у нас в доме. Слушая его, я забыла, что у него угрюмое лицо. Забыла, что он такой коротышка... Мне кажется, что я тоже его удивила. До тех пор он жил всегда один. Мы стали часто встречаться. Я гордилась тем, что провожу время с таким умным и взрослым человеком. Потом он мне сказал, что должен уехать,

потому что больше не в силах мириться с жизнью в этой стране. Это было в тот год, когда Гитлер пришел к власти. Правда, мой отец тоже терпеть не мог Гитлера, однако легко мирился с этой жизнью. Я спросила Вайделя, куда он собирается ехать. «Далеко и надолго», – ответил он мне. «Я бы тоже охотно посмотрела чужие страны», – сказала я ему. Тогда он спросил меня, хочу ли я поехать вместе с ним – как в шутку спрашивают детей. «Хочу», – сказала я. «Ладно, – ответил он все тем же шутливым тоном, – сегодня вечером мы уедем». Вечером я ждала его на вокзале. Когда он увидел меня, его лицо стало таким страшным, что и задрожала. Он все глядел и глядел на меня. Ты должен понять, ведь он почти всегда был один. Да и внешне он был далеко не привлекателен. Скорее наоборот – уродлив и неприятен с виду. А я... я была так молода... Понимаешь, он был не из тех, в кого... Понимаешь, в кого легко влюбляются. Он с минуту подумал, потом сказал: «Хорошо, поедem со мной». Как просто все это началось. Проще всего на свете. И как потом все запуталось. Почему? Каким образом? Мы поехали на юг. Мы переправились через Боденское озеро. Он мне все показывал, всему меня учил. И в конце концов постепенно я устала быть его ученицей. А он – он ведь привык быть один. Мы ездили из города в город. Наконец мы попали в Париж. Он часто усылал меня из дому. Мы были бедны, мы жили в одной комнате. И мне приходилось часами слоняться по улицам, чтобы он мог пить один...

Вдруг лицо ее изменилось, она побледнела как полотно, пристально вглядываясь в праздную толпу за окном.

– Вот он идет! – крикнула она.

Я схватил ее за плечо, но она диким рывком высвободилась. Я увидел, на кого она смотрит. Это был малорослый, плотный, седой человек с угрюмым выражением лица. Он вошел в «Мон Верту» и покосился на Мари, как мне показалось, строго, с досадой. На меня он тоже взглянул с неприязнью. Я еще крепче схватил ее за плечо, встряхнул и заставил сесть на место.

– Прекрати это безумие! – сказал я. – Возьми себя в руки. Этот человек – француз. Погляди, у него ленточка Почетного легиона.

Человек остановился посреди кафе, выражение его лица изменилось с поразительной быстротой, он весело улыбнулся. Эта улыбка успокоила Мари больше, чем красная ленточка в петлице.

– Уйдем отсюда! – сказала она.

Мы быстро вышли на улицу. Мы кружили по лабиринту переулков у Старой гавани, но на этот раз уже вдвоем, на этот раз рука моя лежала у нее на плече.

– Он в самом деле похож на Вайделя? – спросил я.

– Сперва мне показалось... Немного...

Мы шли и шли, не останавливаясь, словно над нами тяготело какое-то проклятие. Вернее, это проклятие тяготело над Мари, а я не оставлял ее одну. В каком-то узеньком переулке-колодце мы пробежали мимо дома, дверь которого была задрапирована черными, окаймленными серебром шарфами. Это означало, что дом посетила смерть. В темноте эта задрапированная дверь убогого жилища походила на мрачный дворцовый портал. Мы вбежали в переулок, который кончался лестницей. Мы поднялись по этой лестнице – внизу лежало море. Я по-прежнему крепко обнимал Мари за плечи. Небо было звездное. Уже вошел месяц. Глаза Мари светились. Она глядела на море. Я поймал на ее лице отблеск мысли, которую она мне никогда не поверяла, которую, быть может, вообще не высказывала вслух. Я почувствовал вдруг какое-то непостижимое, ненавистное мне единство между этой мыслью и морем, столь же непостижимым и ненавистным мне в эту минуту. Она отвернулась, и мы молча спустились вниз. И снова принялись кружить по переулкам, пока не вошли наконец в пиццерию. Насколько мне стало легче, когда я увидел огонь в открытой печи! Как он озарил ее лицо!..

Мы выпили уже довольно много розе, когда вошел врач. Мари утаила от меня, что она условилась с ним встретиться в пиццерии. Я хотел было уйти, но оба попросили меня остаться, попросили с такой настойчивостью, что я понял – они не хотят быть наедине.

– Ну как дела с визой Мари? – спросил меня врач. Он ежедневно задавал мне этот вопрос. – Так вы полагаете, что все получится?

– Да, если только вы предоставите мне свободу действий, – ответил я, как отвечал ежедневно. – Лишние разговоры могут испортить все дело.

– «Поль Лемерль», должно быть, все-таки отплывет в этом месяце, – сказал врач. – Я только что заходил в контору «Транспор маритим».

– Послушай, дорогой, – вдруг ясным, звонким голосом весело сказала Мари. Она выпила уже стакана три розе. – Если бы ты точно знал, что я никогда не получу визы, ты все равно уехал бы на «Поле Лемерль»?

– Да, дорогая, – ответил врач. Он еще не прикоснулся к своему первому стакану. – Д а ж е если бы я это знал, на этот раз я бы уехал.

– И оставил бы меня одну?

– Да, Мари.

– Хотя ты мне и говорил, – сказала Мари несколько капризным, но бодрым тоном, – что я – твое счастье, твоя большая любовь?

– По ведь при этом я всегда тебе говорил, что на земле существует нечто, что мне дороже счастья, дороже большой любви.

Тут я пришел в бешенство.

– Да выпейте хоть сначала! Пейте, черт побери, чтобы нас догнать! Может, тогда вы скажете что-нибудь более разумное.

– Нет, нет, – крикнула Мари все тем же капризно-веселым тоном, – не пей! Сперва скажи мне честно, сколько пароходов ты пропустишь ради меня?

– В крайнем случае – «Поль Лемерль», но и на это твердо не надейся. Это я тоже еще как следует обдумаю.

– Вы слышали, что он говорит? – обратилась ко мне Мари. – Если вы в самом деле хотите мне помочь, то помогайте поскорее.

– Послушайте, – подхватил врач, – отъезд Мари – дело решенное. Помогите ей, дорогой друг. Немцы могут каждый день пересечь устье Роны, тогда мышеловка захлопнется.

– Все это вздор! – крикнул я. – Все это не имеет ни малейшего

отношения к вашему отъезду. Впрочем, смотря по тому, что именно заставляет вас уехать. Сам отъезд покажет, что для вас основное: страх, любовь или преданность нашей профессии. Все прояснится благодаря тому решению, которое вы примете, иначе и быть не может! Ведь мыто, во всяком случае, живые люди, а не бесплотные духи, мы можем уехать.

Наконец врач осушил свой первый стакан.

– Вы придаете большое значение любви между мужчиной и женщиной, – сказал он, словно Мари здесь не было.

– Я? Ничего подобного! Куда выше я ставлю менее яркие и менее романтические страсти. Но, к сожалению, с этим преходящим и сомнительным чувством обычно сплетается нечто бесконечно серьезное. Меня всегда смущало, что самое важное в жизни неотделимо от мимолетного и ничтожного. Например, не бросать друг друга на произвол судьбы в нынешней бестолковой, путаной, я бы сказал, «транзитной» жизни – это уже нечто бесспорное, определенное и, так сказать, не транзитное.

Мы оба вдруг посмотрели на Мари, которая слушала нас затаив дыхание. Ее глаза были широко раскрыты, а щеки порозовели от жара печи. Я схватил ее за руку.

– Помните, как вас учили в школе, как вам говорили на уроке закона божьего: «Все преходяще, все мы смертны». Но можно погибнуть и раньше срока. Если мышеловка захлопнется, если будут бомбить город, наше брэнное тело может быть разорвано в клочья, может обуглиться. Как это у вас, врачей, называется? Ожог первой, второй и третьей степени.

Тут принесли большую пиццу, которую заказал врач для нас троих. Вместе с пиццей принесли и новую бутылку розе. Мы быстро выпили по стакану.

– В известных французских кругах рассчитывают, – сказал врач, – что этой весной деголлевы уже перейдут к действиям.

– Я в этом плохо разбираюсь, – сказал я, – но мне кажется, что народу, который столько раз предавали и бросали на произвол судьбы, который заставляли зря проливать кровь, который вконец изверился, – такому народу нужно некоторое время, чтобы прийти в себя.

– Я тоже не думаю, что вон тот молодой пекарь, который месит сейчас тесто для пиццы, захочет этой весной умереть, – сказал врач.

– Вы меня неправильно поняли! – крикнул я. – Я вовсе не это хотел сказать. Почему вы позволяете себе оскорблять этого парня, когда день и ночь ваша голова занята только одним – как бы половчее удрать? Его час еще не пробил...

– Отпустите, пожалуйста, руку Мари, – сказал врач. – Вы ведь исчерпали все свои доводы.

Мы выпили все вино, которое оставалось.

– У меня больше нет хлебных талонов, чтобы заказать вторую пиццу, – сказала Мари.

Мы поднялись и направились к дверям. Только когда мы вышли из полосы света, которую отбрасывала печь, я заметил, как бледна Мари.

Мы встретились с Мари в маленьком кафе на площади Жана Жореса. Словно сговорившись, мы оба избегали теперь больших кафе на Каннебьер. Она молча села против меня. Мы долго молчали.

– Я была в мексиканском консульстве, – сказала она наконец.

Я растерялся.

– Зачем ты это сделала? – воскликнул я. – Даже не посоветовавшись со мной! Ведь я же тебе запретил предпринимать самой что бы то ни было!

Она с удивлением взглянула на меня.

– Моя виза еще не пришла, – сказала она тихо. – Консул заверил меня, что это вопрос дней. Но ведь отплытие «Поля Лемерля» тоже вопрос дней. В пароходстве сказали, что «Поль Лемерль» уйдет раньше объявленного срока. На этот счет будто бы есть специальный приказ правительства. Мексиканский консул говорил со мной вежливо, даже более чем вежливо. Да ты с ним, наверно, знаком, ты же там часто бываешь, знаешь все ходы и выходы. Удивительный человек! Похож на маленького черта. В любом другом консульстве ты сам себе кажешься полным ничтожеством, потому что ты для консула пустое место, привидение, вышедшее из досье. А в мексиканском – все наоборот. Ты обратил внимание на его глаза? Можно подумать, что из досье он узнает всю твою подноготную. Он поглядел на меня и выразил сожаление – очень вежливым тоном, но при этом не спуская с меня невежливо любопытных глаз, – что мой муж не просил визу для меня в то время, когда хлопотало своей.

подавив в себе страх, я спросил Мари:

– Что же ты ему на это ответила?

– Ответила, что меня тогда еще не было в Марселе. Но консул возразил все так же вежливо и по-прежнему не отводя от меня все того же взгляда, словно смеясь над моим глупым враньем, что я, должно быть, что-то путаю. Ведь к моменту подтверждения личности моего мужа я давно уже была в Марселе. Конечно, в таком деле всегда возможна путаница, особенно с именами, сказал он, но к подобным шуткам он уже давно привык, и консул рассмеялся – не одними глазами, а громко, вслух. Я молчала. Я ведь не знаю, какие бумаги подал мой муж. Я не имею права путать его карты. А консул снова стал серьезен и сказал, что не в конечном счете его не касается. Он только сожалеет о задержке, он всегда видел свой долг в том, чтобы, используя свое служебное положение, по

возможности помогать людям в беде... Но оставим этого консула в покое. В конце концов мне совершенно безразлично, что он об этом думает, даже если он и разобрался, что к чему. Понимаешь, мой муж не подал прошения о визе для меня, потому что он узнал о моем намерении уехать с другим.

– Ты все равно получишь визу. Я тебе это обещаю.

Она ничего не ответила. Она глядела на дождь за окном. Вдруг я почувствовал, что должен ей все сказать, всю правду, а потом – будь что будет... Мучительно долго тянулись секунды, пока я искал слова. Искал так напряженно, что пот выступил у меня на лбу.

Вдруг Мари улыбнулась, придвинулась вплотную ко мне, положила свою руку на мою и прижалась головой к моему плечу. Я перестал подыскивать слова, в которых мог бы открыть ей всю правду. «Лучше, чтобы Мари стала моей и душой и телом, не зная правды», – думал я.

– Погляди-ка вон на ту женщину, перед которой лежит гора устричных раковин. Я встречаю ее теперь почти ежедневно. Ей отказали в визе, и она прожирает деньги, отложенные на дорогу.

Мы глядели на нее и смеялись. Я знал многих из тех, кто шел сейчас под дождем по улицам, кто, вконец вымокши и продрогнув, заходил в наше маленькое, битком набитое кафе и искал места. Я рассказывал Мари всякие истории об этих людях и заметил, как охотно она меня слушает. Я говорил не умолкая, я боялся, что улыбка на ее лице сменится тем выражением мрачной печали, которое меня больше всего пугало.

Всю эту неделю врач то и дело спрашивал меня, не пришла ли наконец виза для Мари. «Транспор маритим» уже окончательно назначил дату отплытия «Поля Лемерля». Но я больше не ходил в мексиканское консульство. Я еще раз твердо решил устроить все так, чтобы врач уехал один.

## **Глава седьмая**

В квартире Бинне я видел врача в последний раз второго января. Он не осматривал мальчика – тот был уже здоров и ходил в школу. На этот раз врач пришел только затем, чтобы принести ему подарок. Мальчик не развернул пакета. Он стоял, прислонившись к стене, и глядел в пол. Губы его были плотно сжаты. Врач погладил его по голове, но мальчик отдернул голову и вяло пожал протянутую ему руку. Уходя, врач пригласил меня на следующий день в пиццерию, чтобы отметить, как он выразился, его отъезд. Я понял, что он и в самом деле уезжает и что я останусь теперь один с Мари. Мне стало страшно, как во сне, когда сон становится похожим на явь, но в то же время ты каким-то непостижимым образом чувствуешь, что все, что тебя сейчас печалит или радует, никогда не станет действительностью.

Глядя на меня своими спокойными, холодными глазами, в которых отражалось только то, на что он смотрел, в данном случае – я, врач заговорил своим спокойным, по профессиональной привычке приглушенным голосом.

– Я прошу вас, я просто советую вам сделать все от вас зависящее, чтобы Мари смогла поскорее отсюда уехать, желательно через Лиссабон, – сказал он без обиняков. Я был ошеломлен. – Помогите ей выхлопотать транзитные визы с той же энергией, с какой вы ей помогаете теперь получить визу в Мексику. Главное – сломить ее нерешительность.

Направляясь к двери, он повернул ко мне голову и бросил через плечо, как бы невзначай:

– Мари никогда не решится остаться здесь навсегда. Она вбила себе в голову, что ее муж уже уехал, что он в Новом Свете.

Словно оглушенный, стоял я несколько минут на кухне и вдруг почувствовал к врачу необоснованную, бессмысленную ревность, еще более глупую, чем тогда, когда я впервые привел его в квартиру Бинне. Что в этом человеке, который к тому же уезжал, могло вызвать у меня зависть? Сила его духа? Его удивительный характер? Я даже на миг подумал, что, быть может, он лучше меня умеет молчать, что он знает больше, чем показывает. В охватившем меня смятении и безрассудстве, мне почудилось, будто врач находится в сговоре с покойником и оба они молча потешаются надо мной. Из этого безумного оцепенения меня вывели тихие звуки, доносившиеся из комнаты. Заглянув туда, я увидел, что мальчик уткнулся

лицом в подушку и рыдает. Я склонился над ним, он отпихнул меня ногой. Я хотел его утешить, но он крикнул:

– Убирайтесь все к черту!

Я беспомощно глядел, как он плакал. Никогда еще я не видел, чтобы кто-нибудь плакал так горько. И все же я с некоторым облегчением подумал, что этот безудержный плач мальчика, считавшего себя обманутым и брошенным, не пригрезился мне, что это действительность. Я взял подарок, который принес доктор, и распаковал его. Это была книга. Я положил ее перед мальчиком. Он вскочил, кинул книгу на пол и принялся ее топтать. Я не знал, как его успокоить.

В комнату вошел Жорж Бинне. Он наклонился, поднял с пола книгу, раскрыл ее и, присев к столу, начал рассматривать. Казалось, он всецело поглощен этим занятием и не обращает на мальчика никакого внимания. Мальчик подошел к Жоржу и склонил над книгой свое опухшее от слез лицо. Вдруг он вырвал книгу из рук Жоржа, кинулся с ней на кровать и, крепко прижимая ее к себе, притих, словно уснул.

– Что случилось? – спросил Жорж.

– Врач приходил прощаться: он на днях уезжает.

Жорж ничего не ответил, он закурил сигарету. Я и ему завидовал: ведь он был у себя дома и не запутался ни в какой истории.

## II

Прощание прошло лучше, чем я ожидал. Видимо, все мы его немножко побаивались. Я пришел первым и успел выпить с полбутылки розе до того, как они появились. «Возможно, в этот вечер мы в последний раз спокойно сидим все втроем в пиццерии, – думал я тогда. – Ведь это последний вечер, который они проводят вместе». Предстоящая разлука словно открыла мне глаза, я понял, почему Мари последовала за этим человеком, во всяком случае до Марселя. Он наверняка всегда оставался самим собой, всегда был спокоен, даже в те дни, когда гнал свою старенькую малолитражку через линию фронта, опережая немцев. Я удивился, почему Мари после скитаний и неразберихи последних месяцев не покорилась полностью этому спокойствию.

Я подумал тогда, что на свой лад врач вполне готов к отъезду. Он сумел раздобыть себе визу, необходимые транзитные визы и побороть все те чувства, которые могли бы его задержать. Я смотрел на него с большим уважением. Да, он мог уехать.

Мари съела кусочек пиццы и немного выпила. По ней тоже ничего не было заметно. Я даже не мог понять, что принесет ей отъезд врача – страдание или облегчение. Врач еще раз попросил меня сделать все для скорейшего отъезда Мари, во всем ей помочь. Казалось, он не сомневался в том, что они с Мари скоро вновь увидятся. А мои чувства не имели для него никакого значения.

Мы рано вышли из кафе и пересекли Кур Бельзенс, на которой раскинулись пестрые ярмарочные ларьки и балаганы. Разноцветные лампочки тускло мерцали в медленно надвигавшихся сумерках. Врач попросил меня подняться к нему в комнату, чтобы помочь перевязать чемодан, который плохо закрывался. В отеле «Омаж» я ни разу не был с тех пор, как прибежал туда по просьбе Бинне в поисках врача для мальчика. В тот вечер я почти не обратил внимания на внешний вид дома. Узкий и грязный фасад отеля выходил на уродливую улицу Релэ. Вошедшего поражало обилие комнат, расположенных по обе стороны узких коридоров, которые вели к лестничным площадкам. В вестибюле нижнего этажа стояла маленькая печка с коленчатой трубой, поднимавшейся до второго этажа. От этой трубы тоже исходило немного тепла. Постояльцы отеля «Омаж» сидели вокруг печки и сушили белье. Большой чан с водой стоял на конфорке. Более мелкие посудины были расставлены на коленях трубы.

Когда мы вошли, люди с любопытством оглядели нас. Все они были здесь проездом. Да и кто выбрал бы себе такую трущобу для постоянного жительства? О таком доме говорят: «Живешь здесь только потому, что скоро уедешь». Я подумал, что врач неплохо запрятал Мари – Короткая улица Релэ – единственная улица, которая, начинаясь от Кур Бельзенс, не доходит до бульвара д'Атен, а обрывается у первого же перекрестка. Мы поднялись по лестнице. Врач открыл дверь, за которой в ту ночь мелькнула рука Мари. На стене висел ее синий халат. Раскрытые чемоданы стояли на полу. Один я запер на замки, другие стянул ремнями. Я скатал и запаковал одеяло. Как всегда перед отъездом, пришлось немало повозиться, прежде чем мне удалось уложить. Было уже далеко за полночь. Я заметил, что врач не хочет оставаться наедине с Мари. Он раскупорил бутылку рома, которая предназначалась на дорогу. Мы по очереди приложились к горлышку. Мы сидели па чемоданах и курили. Мари была спокойна, пожалуй, даже оживлена. Вдруг врач сказал, что, видимо, уже нет смысла ложиться спать, и попросил меня помочь ему снести вниз чемоданы. Машина заказана на пять утра. Я взглянул на Мари... Так в детстве меня неудержимо привлекала одна картина, но глядеть на нее мне было невыносимо. И хотя и облике Мари не было ничего ужасного, у меня и теперь еще при одном воспоминании об этой минуте сжимается сердце. Мари по-прежнему была как будто спокойна и бодр. Только лицо ее показалось мне чужим, потому что па нем лежала печать непонятной мне насмешки. Над чем туг было насмехаться?

Чтобы вынести все вещи, нам пришлось много раз спускаться вниз и снова подниматься наверх. Мари оставалась одна в комнате, и всякий раз, уходя с вещами вниз, врач как бы снова прощался с ней. Это было долгое прощание, разорванное на множество частей. Глядя на Мари, мне качалось, что она насмехается над врачом, который тащил ее с собой через всю страну, а теперь уезжает за океан без нее. Расставаясь, они пожали друг другу руки.

Немолодая горничная, дежурившая ночью в швейцарской, зевая, поднялась к нам и сказала, что машина пришла. Я первым спустился на улицу и помог шоферу уложить вещи. Следом спустился врач – он все-таки провел с Мари минуты три наедине – и спокойным голосом приказал:

– Жолиетт, пятый причал.

Я закурил и несколько раз затянулся, стоя в дверях отеля «Омаж». Окна и двери дома напротив были еще закрыты, как ночью. Я снова поднялся наверх.

### III

Она лежала в углу комнаты, словно была моим военным трофеем. Мне кажется, я тогда даже стыдился того, что она досталась мне так легко. Будто я ее выиграл в кости, а не завоевал в поединке. Голова ее почти касалась колен, ладони закрывали лицо. Но по тому единственному взгляду, который она искоса метнула через комнату в мою сторону, слегка раздвинув прижатые к глазам пальцы, я понял – она знала, что ей предстоит: еще раз любовь. А что же еще! Конечно, я дам ей погрузить, сколько ее душе будет угодно. А затем ей придется сложить свои пожитки и перебраться в мой дом. Что и говорить, назвать отель «Провидение» моим домом было смело. Я не смогу окружить ее роскошью – куда там, но наши документы я буду пестовать с таким усердием, что ни один полицейский не сможет к ним придраться. В дальнейшем мы сумеем, быть может, уехать из Марселя и поселиться на ферме у моря.

Так думал я тогда. Но я не знал, что думала она сама. Это я должен добавить, правдивости ради. Я не заговаривал с ней, не спрашивал ни о чем и даже не коснулся рукой ее волос – единственное, чего мне в тот момент хотелось. Я не мог ни оставить ее одну, ни досаждать ей утешениями. Я отвернулся и принялся глядеть в окно. В этот час на улице Релэ было решительно не на что смотреть. К тому же из этого окна не было видно даже мостовой. Я мог бы вообразить, что смотрю в бездну, если бы не знал, что комната находится на третьем этаже. Мне было душно. Когда я высунулся в окно, чтобы подышать свежим воздухом, я увидел справа над крышами на фоне светло-серого утреннего неба тонкие металлические прутья над Старой гаванью. «Мы часто будем переезжать на пароме на ту сторону Старой гавани, чтобы греться на солнышке, – подумал я тогда. – Быть может, посидим в Ботаническом саду. По вечерам мы будем ходить в гости к Бинне. Я буду рыскать по корсиканскому кварталу в надежде купить без карточек колбас у – Мари ее любит. По утрам Мари будет стоять в очередях за банкой консервов. Как Клодин. Мы начнем выбирать из нашего месячного кофейного пайка зерна настоящего кофе, чтобы заваривать его по воскресеньям. Быть может, Жорж подыщет мне работу на полдня. Когда я буду возвращаться домой, Мари будет стоять у окна. Мы будем иногда есть пиццу и пить розе. Мари будет засыпать и просыпаться на моей руке. Все будет именно так», – думал я. Все эти скудные компоненты складываются в конце концов в изрядную сумму – в

совместную жизнь. Никогда прежде я, бродяга с большой дороги, не желал ничего подобного. Но теперь, в этом светопреставлении, под вой сирен и вопли бегущих орд, я мечтал об обыденной жизни, как голодный мечтает о хлебе. Во всяком случае, Мари найдет со мной покой. Я позабочусь о том, чтобы она никогда больше не оказалась военным трофеем какого-нибудь парня вроде меня.

Тем временем рассвело. У мусорных ящиков в конце улицы застучали помойными ведрами. Открыли краны. Сильные струи воды хлестали по мостовой и смывали вчерашнюю грязь в переулок, лежавший ниже. Крышу дома напротив уже позолотило солнце. Внизу затормозила машина. В отель «Омаж» прибыл первый утренний гость.

Я сразу же узнал два чемодана: тот, который я сам перевязывал; и другой – с двумя замками. Из машины вышел врач и дал какие-то указания шоферу. Врач привез с собой не только те вещи, с которыми выехал сегодня из отеля, но и сундук, сданный им два дня назад в контору «Транспор маритим».

– Твой друг вернулся, – сказал я.

Мари подняла голову. Она и сама уже слышала его голос и шаги на лестнице. Она вскочила. Никогда еще я не видел ее такой красивой. В комнату вошел врач. Он не обратил никакого внимания на Мари, которая, чуть насмешливо улыбаясь, стояла, прислонившись к стене. Он был бледен от ярости.

– Все мы были на причале, – рассказал он. – Половина пассажиров уже миновала последний полицейский кордон. И вдруг объявили, что военная комиссия забронировала все каюты для офицеров, отбывающих на Мартинику. Наши печи выгрузили, и вот я вернулся. – Врач метался по комнате и стонал. – Сколько трудов я положил, чтобы добиться каюты! Сколько израсходовал денег! Мне казалось, что если я обеспечу себя каютой, то наверняка уеду. Но французская военная комиссия заняла все каюты, а пассажиры с палубными билетами благополучно отбыли. Они, быть может, теперь доберутся до места. Да, доберутся, а я буду торчать здесь, в отеле «Омаж». Дураки уехали, а мне придется подыхать здесь!

Пока врач выкрикивал все это, Мари не сводила с него глаз. Когда я, сбежав от них, спускался по лестнице, до меня сквозь закрытую дверь еще доносились его проклятия.

## IV

Было еще очень рано, когда я очутился на улице. День, который меня ожидал, казался мне длинным, как жизнь, а ночь, которая придет ему на смену, казалась мне могилой. Прежде всего я отправился к Бинне, но Жоржа уже не было дома. Негр с Мадагаскара, живший на первом этаже, подарил Клодин большую рыбину, которую она как раз чистила.

– Эта рыба появилась весьма кстати, – сказала она, не замечая моего состояния, – у меня уже израсходованы все мясные талоны.

Клодин пригласила меня позавтракать с ними. Но я отказался, словно меня ожидала более роскошная трапеза, а друзьям моим не было числа. Мальчику, который с момента ухода врача все в той же позе неподвижно лежал на кровати, я крикнул:

– Он вернулся!

Этими словами я надеялся потрясти его. Пусть такое потрясение опасно для здоровья. Меня это теперь нимало не заботило. Ведь его врач вернулся, он его и вылечит. Затем я снова взглянул на Клодин, которая била рыбу, завернув ее в салфетку. Я спросил Клодин, думает ли она о том, как ей жить дальше, ведь не вечно Жорж будет с ней. Она смерила меня взглядом, подперев голову своей длинной рукой, и сказала насмешливо:

– Я рада, что сегодня у меня есть обед.

Я был уже в дверях, когда она крикнула мне вслед:

– У меня есть сын!

Я поехал в горы, в Бомон. Утро было солнечное. Я легко отыскал тот маленький домик, в котором мы выпивали с Гейнцем и двумя типами из корсиканского кафе. При дневном свете это оказался приветливый низкий дом с шаткой наружной лестницей, ведущей на второй этаж. Кафе находилось на первом этаже.

Гейнец, правда, запретил мне разыскивать его здесь, но когда теряешь разум, то, не рассуждая, идешь за человеком, у которого есть то, чего не хватает тебе самому, – идешь, подобно хворой скотине, которая инстинктивно находит целебную траву.

Кафе было заколочено. Я поднялся по шаткой лестнице. Второй этаж тоже пустовал. Но когда я закричал: «Гейнец!», в дверях показалась хозяйка.

– Жилец уехал неделю назад, – сказала она.

– От вас уехал или созеем? – спросил я.

– Совсем, – коротко ответила она и, скрестив руки, стала ждать, когда

я покину дом.

Я был обескуражен. В моем теперешнем положении отъезд Гейнца был тяжелым ударом. Меня обидело, что он уехал, не простившись со мной.

Быть может, хозяйка обманула меня. Во всяком случае, я хотел удостовериться в правоте ее слов и тут же отправился в Старую гавань. Я раздвинул руками замызганную занавеску из бус. На этот раз в кафе было не так холодно. На пыльном полу дрожали пестрые солнечные блики. Какая-то девушка вдруг разулась и наступила своей тонкой босой ногой на один из этих бликов. Кошка играла ее туфлей. Все наблюдали за кошкой и смеялись. Мне сказали, что Бомбелло в отъезде, а португалец еще не появлялся.

Я пошел вверх по Каннебьер в Бюро путешествий. Один из огромных догов, которых моя соседка по номеру должна была везти через океан, растянулся у порога, греясь на солнышке. Его хозяйка регистрировала свой билет на пароход. Второй дог обнюхивал перегородку – он чуял, что там сидит корсиканец, хотя и не видел его.

На этот раз меня привели в Бюро не транзитные дела, я забрел туда случайно, и все же я застал там того лысого человека, который предсказал мне в американском консульстве, что отныне мы повсюду будем встречаться с ним, пока один из нас не вылетит из игры. В Бюро вошла молодая женщина. Ее конвоировал полицейский. Должно быть, ее доставили сюда из лагеря Бомпар, где она сидела, пока выяснялось, может ли она рассчитывать на билет на пароход. В случае окончательного отказа ее ожидала высылка в концентрационный лагерь длительного заключения, где-то в глубине страны. На ней были рваные чулки; черные у корней, давно не крашенные волосы казались пегими. Из засаленной замшевой сумочки выглядывали уголки документов, которые, видимо, уже давно были просрочены и недействительны. Кто мог испытывать к этой женщине чувство, достаточно сильное для того, чтобы помочь ей переправиться через океан? Она была слишком молода, чтобы иметь сына, который бы о ней позаботился; слишком стара, чтобы иметь отца; слишком уродлива, чтобы иметь возлюбленного, и слишком оборванна, чтобы иметь брата, готового поселить ее в своем доме.

«Не Мари, а ей должен был бы я помочь», – подумал я.

В Бюро путешествий вошел толстый композитор, тот, что сидел тогда в кафе за столиком Аксельрота и уже однажды доехал до Кубы. Он едва кивнул мне, словно стыдился тех признаний, которые сделал на прошлой неделе. Корсиканец ковырял карандашом в ухе, потому что писать было

нечего. Все места, которыми он располагал, были уже давно расписаны. Ковыряя в ухе и позевывая, выслушивал он стенания и просьбы гонимых и преследуемых людей... Они, во всяком случае, считали, что им угрожает неминуемая гибель: или тюрьма, или еще что-нибудь в этом роде. Многие охотно дали бы отрубить себе правую руку, тут же на столе у корсиканца, если бы он за это обещал им билет на пароход. Да, если бы только обещал занести их в список. Но он ничего не обещал. Он зевал. Я вполне мог бы дождаться своей очереди. У меня ведь теперь было сколько угодно времени, времени, времени... Мне ничто не угрожало, даже любовь. Но вдруг взгляд корсиканца упал на меня. Корсиканец кивнул мне. Я заметил, что он причисляет меня не к беженцам, а скорее к таким, как он сам. Люди завистливо покосились на меня и уступили место у барьера. Я шепотом спросил у него, не знает ли он, где португалец. «В Арабском кафе на Кур Бельзенс», – сказал он, не прекращая ковырять в ухе.

Я выбежал на улицу. Толстяк, который побывал на Кубе, теперь схватил меня за рукав. Но я его отпихнул. Я торопился. Я шел на свидание. У меня не было времени. Я искал португальца. Как пустынна эта Кур Бельзенс! Как мучительно долго тянутся часы между двумя приключениями! Как скучна жизнь без опасностей!

На полу кафе, устроившись на обтрепанных подушках, завернувшись в засаленные бурнусы, лежали несколько арабов, а может быть, и людей другой какой-нибудь нации, которая почитала себя счастливой, избавившись от них. Непрекращающийся стук костяшек домино одновременно бодрил и усыплял. Я не стал разглядывать присутствующих, так как был уверен, что все сейчас разглядывают меня. И в самом деле, из темного угла вышел тот, кого я искал. Он приблизился ко мне и вежливо спросил, не нуждаюсь ли я снова в его услугах. Со времени нашей последней встречи у него появился новый жест – подобострастный и вместе с тем наглый: он как-то по-особому прижимал два пальца к губам. Нам подали чай, который приятно отдавал ананасом. Я сказал, что пришел лишь за тем, чтобы узнать о судьбе своего друга.

Когда я назвал имя Гейнца, его мышинные глазки заблестели.

– Как же, как же, этого человека уже давным-давно благополучно доставили в Оран. Там он пересел на другой пароход, и его довели до Лиссабона. Ведь все эти маршруты в наших руках.

– Изрядный крюк. Небось влетело ему в копеечку?

– Нет, что вы, это сделали бесплатно, из уважения к нему. Вы же знаете, что он за человек, это же ваш друг.

Португалец взглянул на меня, и по этому быстрому взгляду я понял,

как высоко он меня ценит только за то, что я друг Гейнца. При этом выражение мышинной мордочки португальца меня просто ошеломило. Если Гейнцу и в самом деле удалось подбить такого типа на бескорыстный поступок, то в сравнении с этим деяние Моисея, который высек воду из скалы, – сущий пустяк.

Наверно, португалец успел уже забыть Гейнца, но, когда я стал его расспрашивать о своем друге, в нем вновь пробудился интерес к одноногому немцу. Мой собеседник вспомнил, что один из матросов, переправлявших Гейнца, уже, должно быть, вернулся из плавания. И так как у португальца было не меньше свободного времени, чем у меня, он был готов отправиться на поиски этого матроса.

Солнце вдруг исчезло. Мы жмурились от порывов холодного ветра. Почему Старая гавань показалась мне такой пустынной? Канонерка ушла. Куда? Об этом толковали все бездельники, околачивающиеся перед кафе, несмотря на мистраль, который превращался в настоящий штормовой ветер. У нас перехватывало дыхание. Хотя мошенническим махинациям португальца, видно, не было числа, он все еще не приобрел пальто, которое защитило бы его от холода. Торговец ракушками и устрицами увозил свои корзины от подъездов богатых отелей. Значит, было уже три часа. Выходит, мне удалось как-то убить часть дня. Мы свернули на одну из улочек, круто поднимающихся в гору. Мне было странно видеть сверху ту часть города, по которой я всегда ходил. Ослепительно белый, перечеркнутый черными реями рыбацких баркасов, город отражался, несмотря на мистраль, в темно-синей воде гавани. Он показался мне чужим, как те сказочные или погибшие города, о которых я не раз слышал. Но теперь я знал его труппы, знал его тайны: четыре стены, точно так же, как и у нас на родине; мужчина и женщина, которые ходят на работу; больной мальчик в постели...

Тяжело дыша, мы с португальцем поднялись по лестнице в переулок, чтобы хоть что-то узнать о полуживом человеке, чей след затерялся в одном из портов Средиземного моря. Какая длинная, многокилометровая цепь дружеских рук понадобилась для того, чтобы перетаскивать эти живые мощи из вагона в вагон, с лестницы на лестницу, с парохода на пароход. Как это говорил тогда старый священник в подземной часовне церкви св. Виктора? «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках... и опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море».

Мы вошли в подъезд обшарпанного дома. Изнутри стены его были

обиты каким-то дорогим деревом, издававшим неведомый мне аромат. По мере того как мы поднимались по лестнице, этот аромат заглушался запахом типографской краски. На двери верхней квартиры висела табличка: «Союз моряков».

За столом несколько человек отсчитывали и складывали в пачки только что отпечатанные газеты. Мой португалец обратился к парню с серыми спокойными глазами – от постоянного прищура в их уголках образовались морщинки. Я подумал, что такой вот, наверно, напряженно разглядывает всех и вся, а сам остается в стороне. Гладко зачесанные волосы, чисто выбритый подбородок, сильные, ухоженные руки – все обличало в нем заправского французского моряка. Он равнодушно слушал шепот португальца, с которым, явно был знаком и о котором, видно, уже давным-давно составил себе мнение. При этом он продолжал отсчитывать газеты и передавать их мальчишке с озорными глазами, который упаковывал их в корзину. Уже значительно позже, после того как все сорвалось из-за арестов, мне рассказали, что в этих газетах не было ничего, кроме официального воззвания правительства всемерно содействовать армии и флоту. Но набор в типографии был сделан так хитроумно, что стоило особым образом сложить газетный лист – и получался деголлевский лозунг.

Португалец незаметно подмигнул мне: попробуй, мол, может, тебе удастся из него что-нибудь вытянуть. Тогда я в свою очередь принялся шептать парню, что Гейнц мой друг, что мы с ним вместе были в лагере, что я помог ему организовать отъезд, а теперь тревожусь за его судьбу. Мальчишка, который укладывал пачки газет, оперся подбородком о край корзины, чтобы хоть что-нибудь уловить из нашего шепота.

– Вам нечего беспокоиться, – ответил мне моряк, – ваш друг уже прибыл на место.

Было ясно, что он не имеет ни малейшего намерения распространяться на эту тему. Его спокойное лицо на миг осветилось добродушной насмешливой улыбкой; быть может, он вспомнил какую-то подробность их путешествия, какую-то мелочь, хитрость, благодаря которой им удалось легко одурачить портовых чиновников. Он тоже, наверно, уже успел забыть о Гейнце, но теперь из-за нашего посещения вспомнил о нем, и его серые глаза потеплели. Видимо, в его памяти еще раз всплыл образ Гейнца – костыли, перекошенный от напряжения рот, ясные, смеющиеся над собственной немощью глаза. Эта теплая искорка, вспыхнувшая в зрачках французского моряка, была последней зримой частицей Гейнца на этом полушарии.

Когда мы спускались по лестнице, португалец коснулся моей руки.

Выражение его лица означало: а теперь угости-ка меня рюмочкой, я ее честно заработал. Хотя в этот день недели и была запрещена продажа алкогольных напитков, хозяин кафе, в которое мы зашли, ловко влил нам в кофе по рюмке водки. Затем мы оба поняли, что нам нечего больше сказать друг другу, что нам вместе будет скучно, и вежливо простились. Мистраль прекратился так же внезапно, как и начался. И даже солнце снова выглянуло.

Я один направился в центр. Час или два я провел, разглядывая витрины магазинов. Весь этот день я ни на минуту не переставал думать о своем несчастье, о том, что я считал своим несчастьем. И в кухне Клодин, и во время поисков Гейнца, и в Арабском кафе, и в Союзе моряков, и когда пил водку с португальцем. Конечно, я думал и о другом, но одновременно и о своем несчастье.

Как только жил я прежде, ведь я тогда тоже был один? Тут я вспомнил о своей бывшей подруге. Я стал у бокового выхода магазина «Дам де Пари», чтобы подождать Надин. Я был к ней совершенно равнодушен. И все же я обрадовался, когда она просияла, увидев меня на улице. Она очень хорошо выглядела в своем красивом пальто с меховым капюшоном.

Тяжелый рабочий день, казалось, нисколько не утомил ее. Все следы усталости со своего лица она тщательно стерла косметикой. На ее щеках, на красивых ушах, которые выглядывали из-под капюшона, желтела пудра, словно золотистая пыльца бабочки.

– Ты пришел на редкость кстати! – воскликнула она.

Я был ей благодарен за эти слова, они меня радовали, хотя мое несчастье продолжало меня жечь.

– Представь, мой майор уехал, – продолжала Надин.

Совершенно неожиданно получил приказ. Его отправили на Мартинику... Какая-то военная комиссия...

– Не очень-то заметно, – сказал я, – что ты страдаешь от разлуки.

– Скажу тебе правду, – ответила Надин, – мне он уже надоел. В нем есть что-то в своем роде забавное, и сначала мне с ним не было скучно. Но вскоре он начал мне действовать на нервы. К тому же для меня он слишком мал ростом, да и голова у него маленькая, цыплячья. Вчера мы пошли с ним покупать пробковый шлем, так даже самый малый размер оказался ему настолько велик, что все съезжал на нос... Он прекрасный человек и очень обо мне заботился – ты сейчас сам в этом убедишься. Поэтому я всегда опасалась, как бы у меня не сдали нервы. А теперь мы расстались в самых лучших отношениях. На обратном пути он сойдет в Казе – там живет его жена. Мне он надоел. Но все же он очень хороший человек. В нынешние

времена приходится иногда стискивать зубы и делать вид, будто... Сейчас ты поднимешься ко мне и посмотришь, как этот человек обо мне заботился. Я приготовлю такой ужин, какого ты уже давным-давно не едал.

Она по-прежнему жила в своей старой конуре, неподалеку от «Дам де Пари». Мне было совсем нетрудно изобразить непомерное восхищение всеми новыми приобретениями, какие я обнаружил в ее хозяйстве, и тем доставить ей большую радость. В самом деле, все у нее в комнате было новое, начиная от подушек и стеганого одеяла и кончая посудой, спиртовкой и всеми безделушками на туалетном столике с большим зеркалом, самым туалетным столиком и непонятного назначения флаконами из стекла и эмали. Мы раскупорили множество консервных банок и бутылок. Чтобы купить все это в магазине, женщинам целого квартала пришлось бы стоять часами в очередях. Надин всерьез занялась готовкой, которую прерывала лишь для того, чтобы показать мне какие-нибудь туфли или комбинацию либо чтобы прижать мою голову к своей груди. Она спросила меня, не собираюсь ли я уехать и не нужна ли мне помощь.

– Нет, дорогая, я вполне счастлив!

– Быть может, тебе все-таки что-нибудь нужно? Как у тебя обстоит дело с визой?

Я сказал ей, что в настоящий момент мне не нужна никакой визы. На это она ответила, что, если мне когда-нибудь понадобится виза, я должен помнить, что ее школьная подруга работает в префектуре.

Я спросил Надин, не так ли красива ее школьная подруга, как она сама. Надин сказала, что нет, она толстая и серьезная. Затем Надин накрыла на стол, и мы приступили к еде. Это была настоящая церемония, долгая и приятная, она меня утомила и хотя не уменьшила, но приглушила ощущение несчастья.

Значительно позже, когда я думал, что Надин уже давно уснула, я встал и закурил, потому что не мог сомкнуть глаз. Месяц светил в окно, стекло дребезжало в оконной раме, словно мистраль еще свирепствовал. И вдруг совершенно неожиданно раздался спокойный и совсем не сонный голос Надин:

– Не грусти, малыш, не стоит, поверь мне.

Значит, она все-таки поняла, что со мной происходит, и сделала все возможное, чтобы меня утешить.

После этого у меня не было ни малейшего желания кого-либо видеть. К Надин я тоже больше не пошел. Я забивался в дальний угол какого-нибудь кафе, чтобы никто со мной не заговорил. Если в зал входил знакомый, я заслонял лицо газетой. Однажды я даже проколол в газете две маленькие дырочки, чтобы наблюдать за происходящим, оставаясь невидимым. Как-то раз, когда время тянулось слишком долго, я поднялся к Бинне. До чего мучительно тянется время между двумя катастрофами! Сердце, уже не знающее надежды, привыкшее к гонениям, требует новых потрясений.

Я пожалел о том, что заглянул к Бинне, потому что у них сидел врач. Он уже снова был в хорошем настроении.

– А! Вот и вы наконец! – воскликнул он, завидев меня. – Мари тревожится, куда это вы запропалились?...

– Занят своими транзитными делами, – сказал я и сразу же пожалел, что так ответил.

– Как? Вы тоже вдруг решили уехать?

– Во всяком случае, хочу оформить все эти бумажонки.

Мальчик метнул на меня быстрый взгляд. Только по этому взгляду я понял, что он заметил мое появление. Он читал или делал вид, что читает. Врач несколько раз заговаривал с ним, но он не обращал никакого внимания на его слова, словно того и вовсе не существовало. Возвращение врача не произвело на мальчика никакого впечатления. Оно ему было безразлично. Для него этот человек уехал. Он его оросил, он ранил его душу своим отъездом. Он мог хоть тысячу раз вернуться – они расстались навсегда. И ко мне мальчик теперь тоже относился, как к тени, с которой не было никакого смысла ни дружить, ни разговаривать.

Врач рассказал нам, что пассажиры, не взятые на «Поль Лемерль», в первую очередь получают места на следующий пароход. Врач был весел и оживлен, он давно уже перестал огорчаться по поводу неудавшегося отъезда. Его мысли были всецело заняты пароходом, на который он был записан одним из первых, на который возлагал все надежды.

– Мари к тому времени тоже получит визу, – уверял он. – Наведите, пожалуйста, поскорее справки.

Я ответил ему, что у меня больше нет охоты этим заниматься, что моя миссия в консульстве уже закончена и все необходимое уже сделано.

Остается теперь только получить низу. С этим Мари справится сама. Он в упор посмотрел на меня, потому что голос мой прозвучал, видимо, чересчур резко.

– Мы причинили вам много беспокойства, – сказал он вежливо и без всякой иронии. – На этот раз Мари твердо решила уехать. Разве я вам этого не предсказывал?

Я ничего не ответил. Я ушел. Как он обрел такую уверенность при этом чудовищном нагромождении случайностей?

Я собирался провести вечер в номере. Поднимаясь по другой лестнице, я обычно кивал хозяйке отеля, выглядывавшей в окошечко каморки. Иногда я хвалил ее прическу.

Деньги, которые я получал в различных комитетах на «дорожные издержки», давали мне возможность всегда в срок оплачивать номер. Поэтому я был весьма удивлен, когда хозяйка меня остановила.

– Вас спрашивал один господин, – сказала она, – француз, с маленькими усиками. Он оставил свою визитную карточку.

Мне не удалось полностью скрыть охвативший меня страх. У себя в комнате я внимательно изучил карточку: «Эмиль Десандр. Оптовая торговля шелком». Я никогда еще не слышал этого имени. «Какое-то недоразумение», – подумал я.

Я всей душой ненавижу недоразумения и всякие там случайные встречи. Я не переношу никакой путаницы, никаких ошибок, если они касаются лично меня. Я склонен, скорее, наоборот, придавать встречам излишнее значение, словно они происходят по велению свыше, словно они неизбежны. А в неизбежном не может быть ошибок, не правда ли? Я курил, все еще тщетно стараясь припомнить, не знаю ли я этого имени, когда в дверь постучали.

Хорошо одетый господин со шляпой в руках покосился на визитную карточку, лежавшую передо мной. Я невольно ответил на его поклон столь же вежливым поклоном. Я предложил ему свой единственный стул, а сам сел на кровать. Мой гость украдкой, насколько это позволяла вежливость, оглядел комнату.

– Простите, пожалуйста, мое вторжение, господин Вайдель, – начал он, – но вы поймете, почему я хотел вас повидать.

– Прошу прощения, – сказал я, – но от тех ужасных событий, которые обрушились на нашу страну, как, впрочем, и на всех нас, пострадало не только мое зрение, но и...

– Вы напрасно беспокоитесь, господин Вайдель, мы знаем друг друга, не будучи лично знакомы. И хотя вы меня прежде никогда не видели, без

моего содействия вы не были бы сейчас здесь.

Чтобы выгадать время, я сказал, что это, наверно, все же некоторое преувеличение, но, увидев, что мои слова вызвали гримасу досады на его румянном, здоровом, самодовольном лице, я поспешил добавить:

– Хотя и не буду отрицать доли вашего участия в моем приезде.

– Я рад, что вы хоть это признали. Моя визитная карточка, мое имя уже объяснили вам, кто я: Эмиль Десандр.

– Как вы узнали мой адрес?

Если сначала я испытывал нечто вроде страха, то теперь я только удивлялся. Стрдание, какого бы рода оно ни было, не только ранит душу, но и ограждает от многого. На меня могли обрушиться любые неприятности – мне это было безразлично.

– Очень просто. Ведь я деловой человек. Сначала я разыскал господина Пауля Штробеля. Как вам известно, его сестра дружит с моей невестой...

В моей памяти еще ничего не прояснилось, но промелькнули какие-то смутные воспоминания. Паульхен, его сестра, чья-то невеста, торговец шелком...

– Я вас слушаю...

– Господин Пауль много раз обещал дать мне ваш адрес, – с готовностью продолжал мой гость. – Господин Пауль полагал, что он у него записан. Но потом выяснилось, что вашего адреса нет ни в его личных бумагах, ни в списках комитета, одним из руководителей которого он состоит. Господин Пауль чрезвычайно занят, поэтому он посоветовал мне обратиться в мексиканское консульство.

Я напряженно слушал. Мой собеседник щебетал, вращая своей маленькой завитой головкой, точь-в-точь как пестрая птичка, сидящая на жердочке.

– Я должен поставить вас в известность, что прежде моего я обратился, само собой разумеется, к госпоже Вайдель. Я неоднократно встречал ее. Конечно, я понимал всю щекотливость ее положения, я учитывал все обстоятельства. Поэтому я решил урегулировать это дело лично с вами... Поскольку госпожа Вайдель утверждала, что не знает вашего адреса и, более того, сама вас разыскивает, я не счел возможным далее ее утруждать. Я отправился в мексиканское консульство. С вашим адресом, господин Вайдель, и в самом деле было много недоразумений. Видимо, здесь произошла какая-то путаница, потому что дома, который указан в вашем досье, вообще не существует. Улица, на которой, должно быть, вы прежде жили, еще не выстроена до и ого номера. Тогда по

рекомендации одного господина из мексиканского консульства я отправился в Бюро путешествий. У управляющего Бюро был тот же адрес, что и в консульстве. Уже не говоря о том, что я, как деловой человек, обязан возмещать свои издержки, меня просто заело, что я не могу вас разыскать. Управляющий Бюро путешествий указал мне одного господина, португальца, в обществе которого вас иногда видели в кафе. Я обещал этому господину небольшое вознаграждение. Правда, ваш адрес ему тоже не был известен, но он знал одну девушку из магазина «Дам де Пари»...

«Видно, мышеподобный человечек, – подумал я, – пошел тогда за мной от нечего делать».

– Прошу вас, не огорчайтесь, не портите себе из-за этого кровь. Ведь ваша приятельница из «Дам де Пари» так и не выдала вашего адреса. Мне пришлось обратиться к ее подругам. Там девицы оборотистые. Короче говоря, в конце концов мне удалось открыть вашу тайну. Дело в том, что одна из продавщиц «Дам де Пари» живет неподалеку отсюда, на улице Беньер. Прошу извинить меня за нескромность, но не могут же, в самом деле, мои дела страдать из-за того, что изменились ваши семейные обстоятельства. Мои расходы должны быть покрыты.

– Без сомнения, господин Десандр, – сказал я.

– Я весьма рад, что вы с этим согласны, господин Вайдель. Ваша супруга в свое время направила меня к вам. Я рассчитывал, что мои издержки будут частично возмещены еще в оккупированном Париже, но, к сожалению, тогда мне не удалось с вами познакомиться. Мне пришлось передать письмо, которое я вез для вас, господину Паулю, брату подруги моей невесты.

– Что же это за издержки, господин Десандр?

– Как?! Значит, госпожа Вайдель вам ничего не скатала! – воскликнул он раздраженно. – Ну, конечно, у нее теперь другие интересы. Простите меня, господин Вайдель, я бы никогда не позволил себе намекнуть на эти обстоятельства, если бы у меня не было оснований полагать, что и вы уже утешились. Я видел вашу супругу в сопровождении другого господина. Но для меня издержки остаются издержками. А в свое время госпожа Вайдель меня торжественно заверила, что возместит мне часть дорожных издержек, если я возьмусь доставить в Париж ее письмо. Дело в том, что я с большим трудом решил тогда на поездку в оккупированную зону. Предпринять такое путешествие буквально в первые дни после прихода немцев было накладно и рискованно. Кроме того, несмотря на пропуск, выданный оккупационными властями, не исключались неожиданные препятствия при возвращении. Демаркационную линию могли либо совсем закрыть, либо

передвинуть. Моя невеста умоляла меня отказаться от этой поездки. Но весной я поставил парижской фирме «Ле Руа» партию шелка-сырца. У них был военный заказ на производство парашютов и оболочек для аэростатов. В то время я не имел достоверных сведений, успела ли эвакуироваться фирма с моим шелком или ее захватили немцы. В последнем случае можно было бы добиться возмещения убытков, только заключив дополнительные контракты. Для меня многое было поставлено на карту, и все же основную роль в моем решении сыграла ваша супруга. О, она умеет убеждать мужчин! Она уверяла, что вы по гроб жизни будете мне благодарны, что, доставив это письмо, я спасу вас от смерти, что все мои расходы будут, конечно, оплачены. Ведь перевозить корреспонденцию из зоны в зону категорически запрещено. Любого могут обыскать. Да, ваша супруга сумела, видно, найти слова, которые меня тронули. «Я думал, что речь идет о большой любви, о настоящей страсти. Тем неприятнее я был поражен, встретившись с госпожой Вайдель по возвращении. Во время всего моего рискованного путешествия лицо вашей супруги стояло у меня перед глазами. Быть может, это прозвучит странно, но, клянусь вам, я все время думал о том, как обрадуется она, когда услышит, что я выполнил ее поручение. Мне тогда не удалось передать письмо вам лично, но в этом я, конечно, не виноват. Видно, над всеми домами, где вы останавливаетесь, навис какой-то злой рок. Не везет вам с адресами, мосье! В Париже вас тоже невозможно было обнаружить. В той квартире, где вы жили прежде, никто не знал, куда вы девались потом. Вы выписались и не оставили никакого адреса. Но, как я вижу, к своему большому удовлетворению, господин Пауль точно выполнил мое поручение. Ваша супруга, видимо, не хочет просить денег у своего нового друга. Но я ведь не виноват, что страсти так быстро проходят. Я не могу мириться с денежными потерями – даже с мелкими. Не руководствуясь этим принципом, я бы никогда не создал фирму «Десандр»...

– Все понятно, господин Десандр, – сказал я. – В какой сумме выражаются ваши издержки по доставке письма?

Он назвал сумму. Я задумался. У меня были только те деньги, что две недели назад мне сунул для передачи Вайделю композитор, которого вернули с Кубы. Я выложил их на стол и принялся пересчитывать. Иногда правдивостью достигаешь не меньше, чем враньем.

– Дорогой господин Десандр, – начал я, – ваши требования справедливы. Вы честно выполнили взятое на себя поручение. Вы никого не подвели. Не ваша вина, что вы не смогли мне лично передать это письмо в Париже. Письмо а все же получил. Вам должны быть возмещены

издержки. Но вы сами видите – я беден. Я дам вам сейчас все, чем располагаю. Хотя обстоятельства моей жизни и изменились, но письмо мне по-прежнему очень дорого. Я постараюсь как можно скорее выплатить вам остальную часть.

Десандр внимательно слушал меня, вертя головой. Затем он написал расписку и сказал, что я всегда могу им располагать и что, кроме того, у него есть возможность замолвить за меня словечко в префектуре, если мне понадобится оформлять визу на выезд. В заключение он еще раз извинился и пробормотал несколько фраз о труде писателя. Мы снова поклонились друг другу.

Я выбрал себе столик на застекленной веранде кафе «Ротонда».

Голова была пуста, и я невольно прислушивался к разговору, который велся за соседним столиком. Там рассказывали, что в Портбу, по ту сторону испанской границы, ночью в гостинице застрелился человек, потому что наутро местные власти должны были под конвоем отправить его назад во Францию. Две пожилые, болезненного вида дамы – одна из них привела с собой двух мальчиков, должно гнить, племянников, которые внимательно прислушивались к разговору, – по очереди добавляли звонкими голосами все новые и новые подробности этой истории. Видимо, это происшествие представлялось им куда проще, чем мне. Какие же безмерные надежды возлагал он на свою поездку, если возврат назад показался ему таким невыносимым! Должно быть, страна, откуда мы никак не выберемся и куда его хотели силком вернуть, представлялась бедняге кромешным адом. Ведь рассказывают же о людях, которые предпочитают смерть лишению свободы. Он наложил на себя руки, но свободен ли он теперь? О, если бы это было так! Если бы достаточно было одного выстрела, одного удара в тонкую узкую дверь над бровью, чтобы навсегда обрести и дом, и покой... Вдруг я увидел Мари, она шла вдоль Кур Бельзенс. В руке она держала помятую шляпку. Она вошла в кафе «Куба», что рядом с «Ротондой». Быть может, там ее ждал врач? Быть может, она продолжала свои поиски? С момента возвращения врача я упорно ее избегал. Но теперь я не мог больше совладать с собой и ждал, прижавшись лицом к стеклу веранды. Вскоре она вышла из «Кубы». Ее усталое лицо выражало разочарование. Она прошла почти рядом со мной. Я заслонился газетой «Пари-суар». Но, видимо, она все же бессознательно что-то заметила: то ли мои волосы, то ли пальто, то ли – если так бывает – почувствовала, что я страстно хочу, чтобы она обернулась.

Она вошла в «Ротонду». Я удрал с веранды в зал и оттуда с каким-то болезненным злорадством наблюдал, как она ищет. По выражению ее лица, по всей ее повадке я понял, что на этот раз она ищет не призрак, а человека из плоти и крови, которого можно было бы разыскать, если бы он от злости не прятался. Когда Мари вошла в зал, я выскользнул через заднюю дверь на улицу Беньер. Словно околдованный, метался по городу. Мне казалось, что мое необъяснимое исчезновение крепче всего остального привяжет ее ко мне. Пусть она ищет меня так, как умеет искать, не зная покоя ни днем, ни

ночью. Я мог бы, поскольку игра уже начата, раздобыть себе все бумажки, необходимые для отъезда. Я мог бы не попадаться ей на глаза во время посадки на пароход и уже только потом, в открытом море или где-нибудь на острове, под палящим солнцем, в чужой стране, вдруг явиться перед ней, словно по волшебству. Тогда между мной и ею никто уже не будет стоять, кроме моего тощего соперника с длинным серьезным лицом. Мертвец, которого мы оставим здесь, будет покоиться рядом с другими мертвецами.

С этими мечтами я вернулся в свою конуру на улице Провидения. В моей комнате все еще стоял приторный парикмахерский запах моего гостя, торговца шелком.

## **Глава восьмая**

Тем временем подошел день, когда я должен был явиться в консульство Соединенных Штатов. Я решил во что бы то ни стало получить транзитную визу. Тогда все было для меня только игрой. Но лица людей, ожидающих и вестибюле, когда их пустят на второй этаж в приемную, били бледны от страха и надежды. Я знал, что мужчины и женщины, которым, так же как и мне, был назначен прием на этот день, пришли сюда в своей самой лучшей, тщательно вычищенной по этому случаю одежде. Они заклинали детей вести себя хорошо, словно шли с ними на первое причастие. Они не только заботились о своем внешнем облике, но и готовили себя внутренне, чтобы в подобающем виде предстать перед бесстрастным лицом консула Соединенных Штатов – страны, где они собирались обосноваться или хотя бы проехать через нее, чтобы попасть в другую страну, где, если только они туда доберутся, им, быть может, удастся осесть. Все эти люди второпях, хриплыми от волнения голосами в последний раз обсуждали, выгоднее ли женщине скрыть от консула Соединенных Штатов свою беременность или лучше признаться в ней, так как от воли консула, который выдавал транзитные визы, зависело, где родится ребенок: в океане, на каком-нибудь острове посреди океана или уже в Новом Свете; при этом учитывалось, что если ребенок не может родиться в сроки, которые назывались консулу, то ему вряд ли удастся увидеть свет – если только в наше время вообще кому-либо удастся видеть свет. Обсуждали, что лучше – скрыть опасную болезнь или, наоборот, козырнуть ею. Потому что хронический недуг могут посчитать обременительным для Соединенных Штатов, но, с другой стороны, человек, который, по свидетельству врачей, вскоре умрет, никому не будет в тягость; следует ли признаться в том, что у тебя, нет за душой ни гроша, или лучше намекнуть консулу, что ты рассчитываешь получить известную сумму из некоего таинственного источника, хотя прибыл сюда на средства комитета после того, как сгорел твой родной город, а вместе с ним и все твое добро, и даже кое-кто из соседей; надо ли сказать, что немецкая комиссия может силой вернуть тебя на родину, если задержится выдача транзитной визы, или лучше умолчать, что ты из числа людей, которых немцы ни за что не выпустят.

Я же чувствовал себя невыносимо скверно, слушая перешептывания этих одержимых манией отъезда людей, особенно когда думал о тех, кто

погиб в огне бомбежек или в стремительных атаках блицкрига – тысячи, сотни тысяч человек. А сколько за это время родилось детей без ведома консулов! Погибшим не было суждено стать транзитниками, претендовать на визы. Если кое-кому из обреченных все же удалось спастись и добраться до Марселя, если они, искалеченные и телом, и душой, пришли в этот дом просить убежища, то какой вред будет великому, народу от того, что он приютит эти спасшиеся души, – все равно, достойны ли они или недостойны этой чести?

По лестнице, улыбаясь во весь рот, спустились трое первых счастливцев: маленький полный господин и две высокие расфуфыренные дамы. В руках они несли американские визы – их можно было узнать издали по красным полоскам, которые неизвестно зачем перечеркивали наискосок плотную белую бумагу. Эти красные полоски, напоминающие ленту ордена Почетного легиона, были и в самом деле своего рода орденскими лентами – они свидетельствовали, что их владельцы приобщены к почетному ордену обладателей американских виз. Вслед за этой троицей на лестнице показался тот лысый человек, которого я часто встречал в последнее время. Он с важным видом спустился вниз. В руках у него ничего не было. Меня это удивило. При первом знакомстве с ним мне показалось, что он принадлежит к числу людей, которые – раз уж мир так устроен – во что бы то ни стало добиваются своего. Проталкиваясь к выходу сквозь толпу ожидающих, он заметил меня и назначил мне свидание в кафе «Сен-Фереоль». Затем на верхней площадке появилась моя соседка по номеру с двумя догами. Ее лицо сияло. Она кивнула мне и накрутила на кисть руки поводок, чтобы собаки не тянули ее вперед и она смогла бы перекинуться со мной несколькими словами. Она уже давно перестала быть для меня уродливой, пестро одетой, кособокой женщиной с дерзким лицом, никогда не расстающейся со своими огромными псами. Она казалась мне теперь и более близкой и более далекой, каким-то мифологическим существом, своего рода Дианой консульств.

– Знаете, что выяснилось? – сказала она. – Эти два зверя должны иметь справку, что они действительно являются собственностью граждан Соединенных Штатов. С каким удовольствием я прирезала бы этих собак – ведь из-за них я все еще не могу ехать. Но вряд ли их хозяин поручится за мою репутацию, если я сделаю из них гуляш. Вот мне и приходится ухаживать за ними, купать их и чесать щеткой. Что ни говори, без них мне вообще никогда не получить визы.

При этих словах, малопонятных для окружающих, она ослабила поводок, и доги потащили ее из вестибюля на площадь Сен-Фереоль.

Тем временем часы пробили четверть. Мне было назначено явиться к консулу восьмого января в десять пятнадцать. Сердце у меня билось, как у бегуна на старте дистанции, которую он должен выиграть. Но на этот раз оно колотилось не от страха, а от напряжения. Швейцар пропустил меня, и я поднялся на второй этаж. В приемной было полно народу. Значит, мне еще придется ждать. Как я вскоре понял, все эти ожидавшие приема люди, женщины, мужчины, дети – некоторых из них я видел здесь прошлый раз, в том числе и старуху, всецело погруженную в себя, – принадлежали к одной семье, которая собралась здесь сегодня в полном составе. Все они, даже дети, были сильно взволнованы в тот момент, когда я вошел в приемную; все они дрожали от страха и отчаяния, все они, и старые и малые, что-то шептали друг другу или, во всяком случае, старались шептать, потому что то у одного, то у другого вырывались стон, вздох или всхлипывание. Только древняя старуха – полутруп, вокруг которого сгрудились остальные, – сидела неподвижно, словно мумия. Весь ее облик говорил о близком конце.

Прислонившись к косяку двери, в стороне от этих людей, стоял молодой человек. Он вертел в руках свой берет и ухмылялся. Он понимал, что судьба этой многолюдной семьи поставлена на карту, но его это лишь забавляло и нисколько не трогало. Из кабинета консула вдруг выпорхнуло – так ангелы слетают с трона господня – то юное создание с маленькими грудями и светлыми локонами, что провело всю войну вдали от бед и горя, на розовом облачке. Это создание остановилось у дверей приемной и обратилось к семье строгим голосом, призывая скорее принять какое-то решение. Наверно, таким же голосом ангел призывал бы эти души раскаяться или отправиться в ад. Тогда нее, даже малые дети, воздели руки к небу, начали вздыхать и попросили дать им срок для окончательного решения. Я спросил у молодого человека с беретом в руках, что здесь происходит.

– Все они – дети, внуки, правнуки и другие родственники этой древней старухи. Их документы в полном порядке. Консул готов хоть сию минуту выдать им визы. Он ютов всем им разрешить въезд в Соединенные Штаты, кроме старухи. Врач консульства засвидетельствовал, что жить ей осталось не больше двух месяцев, а таких людей не сажают на американские пароходы. Да и к чему? Однако вся семья – уж такие это люди – хочет либо уехать со старухой, чтобы она могла умереть у них на руках, либо остаться здесь и ждать, пока она умрет. Но подумайте только, если они здесь останутся, то старуха все равно умрет, а их визы и транзитные визы будут просрочены. А вы же знаете, что во Франции сажают в концлагерь тех, кто, имея все документы на руках, не уезжает. Да эти люди и стоят того, чтобы

их засадили за решетку или, уж во всяком случае, в сумасшедший дом.

Тут посланница консула вновь впорхнула в приемную. Я заметил, как нежна ее кожа, но на этот раз голос был только строг. Из кольца людей, окружавших старуху, вышел маленький человек – в нем трудно было бы признать главу семьи. Спокойно, на каком-то странном наречии – смеси языков тех стран, в которые его вместе с семьей бросала судьба, – сообщил он принятое решение. Они останутся здесь, пока не умрет старуха. Если он один останется при матери, как старший сын, а его жена с детьми уедет, кто будет им опорой на чужбине? Если же здесь останется младшая сестра, которая недавно вышла замуж и сейчас ожидает первенца, как ей здесь жить без мужа? И даже если с ней останется ее муж, то есть его зять, на чье имя записано их дело... Но посланница консула уже вызывала в кабинет следующего посетителя. Вся семья вышла из приемной. Помогая старухе спускаться по лестнице они наперебой призывали друг друга к осторожности. Все были печальны, удручены, но несколько не раскаивались в том, что так поступили.

Затем из кабинета консула вышел молодой человек с беретом. Он бодро заявил, что ему отказано в визе, так как у него была судимость за подделку векселя, и весело сбежал по лестнице. И вот назвали мое имя. На минуту мне вдруг почудилось, что все потеряно. Может быть, в кабинете консула уже сидят полицейские и ждут меня, чтобы арестовать. Я успел даже четко продумать, как выбраться из этого здания прежде, чем на меня наденут наручники. Если мне удастся выскочить на улицу, я уж как-нибудь удеру от них – отсюда недалеко до каморки Надин.

Но оказалось, что ничего не потеряно. Паульхен явно пересилил себя и выдал своему коллеге отличную рекомендацию. Гордость победита в нем другие чувства. Я имею в виду гордость от сознания, что он определяет репутацию людей, что в его власти давать советы консулам. Впрочем, эта характеристика являлась, собственно говоря, некрологом. Написанная Паульхеном бумага уже не могла ни порадовать, ни оскорбить покойного Вайделя, который и при жизни-то был высокомерен и молчалив.

Меня же вежливо провели в соседний кабинет, где выполнялись последние формальности с людьми, получившими разрешение на въезд в Соединенные Штаты.

Меня усадили перед молодой особой, которой надлежало выписать мне транзитную визу. Мне было жаль, что я по попал к тон нежной, златокудрой девушке. Но и мой ангел-хранитель был недурен собой: черные локоны, смуглая кожа, на ощупь, наверно, бархатистая. Девушка пристально смотрела мне в глаза. Взгляд ее был серьезен и тверд, словно

она вела следствие для Страшного суда. Ее вопросы поражали меня. Она тщательно записывала мои ответы, все даты моей жизни – вехи прожитых лет. Она оплела меня такой плотной и хитроумной сетью вопросов, что из нее нельзя было вырваться. Ни одна подробность моей жизни не могла бы ускользнуть от консула, будь это моя жизнь. Такой пустой и чистой никогда еще не была анкета, с помощью которой пытались поймать уже отлетевшую жизнь. Этой жизни больше не грозило запутаться в противоречиях. Все частности соответствовали истине. Какое значение имело то, что в целом все это ничему не соответствовало? Весь арсенал каверзных уловок был пушен в ход, чтобы выяснить подноготную человека, которому собирались выдать разрешение на въезд в страну. Только самого этого человека уже не существовало.

Затем черноволосая девушка схватила меня за руку и повела к столику, на котором стояли приспособления для снятия отпечатков пальцев. Этой процедуре подвергались все, кто получал визы. Она терпеливо объясняла мне, как надо делать эти оттиски – нажимать не слишком сильно и не слишком слабо, сначала большим пальцем правой руки, затем левой, затем по очереди остальными пальцами, наконец, ладонями. Все дело было только в том, что отпечатки эти принадлежали не тому человеку, которого собирались пустить в Америку. Я глядел на свои живые, теплые, перепачканные краской руки, и мне мерещились бесплотные руки того, другого, кто был уже не пригоден для подобных забав. Мой ангел-хранитель похвалил меня за то, что я выполнил всю эту процедуру точно и тщательно. Я спросил ее, получу ли я теперь за свое усердие красную ленточку. Девица посмеялась моей шутке. И вот, когда наконец сочли, что я уже вполне подготовлен к получению транзитной визы, меня подвели к столу консула. Консул стоял, расправив плечи. Выражение его лица, да и вся его поза указывали на то, что процедура, к которой он приступал сейчас и которую совершал столь же часто, как пастор – крещение, по-прежнему полна для него особого значения. Вначале громко застучали пишущие машинки. Затем настала очередь пера. Когда всюду было проставлено нужное количество подписей, консул слегка мне поклонился. Я попытался ответить ему таким же поклоном.

Едва выйдя за дверь, я впился глазами в свою транзитную визу. Особенно привлекла мое внимание красная полоса, перечеркивающая правый угол документа. Казалось, это чистой воды украшение, лишённое всякого смысла. Потом и я появился на лестнице и поглядел вниз на ожидающих, которые с завистью следили за мной.

## II

Я вошел в кафе «Сен-Фереоль». Мой лысый знакомец сидел в дальнем углу, словно прятался от кого-то. Я подумал, уж не жалеет ли он, что пригласил меня сюда. Он отнюдь не походил на человека, который нуждается в обществе. Поэтому я сел в противоположный угол кафе. С моего места я мог охватить взглядом весь зал. В кафе было две двери на улицу. Одна как будто предназначалась для посетителей префектуры, другая – для посетителей американского консульства. Кафе медленно заполнялось. Я схватил газету и заслонил ею лицо. В кафе вошла Мари. Именно здесь, в «Сен-Фереоль», мы сидели с ней вместе после моего первого посещения американского консульства, здесь она рассказала мне, как тщетно ищет своего неуловимого мужа. В ответ на это я только покачал головой – разве может кто-нибудь оказаться неуловимым. Но теперь я сам убедился, что легко не попасться ей на глаза. Как неуклюже она искала! Как бегло оглядывала она все столики. С какой легкостью удалось мне ее провести, пересев за ее спиной на другой стул, скрытый двумя занавесками и треснувшей кадкой с пальмой! Значит, Мари уже перестала радоваться тому, что ее друг вернулся. Теперь ей был нужен я. Даже если она искала меня только для того, чтобы посоветоваться со мной по поводу своих выездных дел, меня это больше не огорчало. Я знал, что это лишь предлог, который она сама себе выдумала, чтобы снова меня увидеть и еще раз испытать себя. Когда ищут человека, чтобы поговорить с ним насчет визы, не бывает ни такого взгляда, ни таких нервных рук, ни такого бледного лица. Стоило мне вскочить на ноги и крикнуть: «Мари!», как ее лицо мгновенно озарилось бы радостной улыбкой, я охотно отдал бы это озарение за ее упрямые поиски, свидетелем которых я стал.

Только одно тревожило меня, и не на шутку: как долго она будет искать меня? Было ясно, сейчас она разыскивала меня с одержимостью. Но куда важнее был вопрос, как долго это будет длиться. Еще пять минут? До обеда? Целую неделю? Или год?

Не может же она всю жизнь искать тех, с кем встретилась по чистой случайности на садовой скамейке, в Кельне, на берегу Рейна, или на Кур д'Асса, перед мексиканским консульством. Чем заполнить время в промежутке от одной встречи до другой, когда не знаешь, продлится ли она несколько часов или вечность? Все той же игрой, отдаваясь ей с таким самозабвением, что начинаешь принимать ее всерьез. Если ты, Мари, раз

пять или даже десять побываешь в объятиях своего друга – это я еще смогу перенести. Конечно, мне будет не сладко, но я все же это перенесу. Только одно мне невыносимо: чтобы эта игра длилась бесконечно, чтобы она не прекращалась ни в хорошие, ни в плохие дни до тех пор, пока смерть не разлучит нас.

Мари вышла из зала кафе и пересекла площадь Сен-Фереоль. Чтобы продолжать свои поиски? Чтобы навсегда прекратить их?

К моему столику подошел человек и заслонил мне окно. Это был мой лысый знакомец.

– Я заметил вас, как только вы вошли, – сказал он. – Но вы были не похожи на человека, который тоскует по обществу.

Я тут же пригласил его сесть, при этом мне прежде всего хотелось, чтобы он не маячил у меня перед глазами и я смог бы видеть площадь. Мари там уже не было. Площадь, несмотря на газетный киоск и окаймляющие ее замерзшие деревья, представлялась мне воплощением пустоты. И не только пустоты, но и времени. Мне казалось, что ветер гонит по мостовой вместе с клубами пыли огромные клубы времени. Мне казалось, что Мари бесследно исчезла, словно растворилась во времени, раз и навсегда... Голос моего собеседника вернул меня к действительности.

– Как я вижу, вы являетесь обладателем транзитной визы?

Я вздрогнул. Оказывается, все это время я сжимал в руках листок плотной бумаги с дурацкой красной полоской в верхнем правом углу.

– У меня она тоже есть, – продолжал он. – Да она мне ни к чему.

Он принес свой стакан, сел за мой столик и заказал две рюмки коньяку: себе и мне. Я почувствовал, что он пристально посмотрел на меня своими холодными светло-серыми глазами и проследил направление моего взгляда. Из дверей префектуры вышли несколько человек и разошлись в разные стороны по площади, на которой время разом перестало клубиться. Охота началась снова. Но вдруг я остро почувствовал, что, кто бы ни был этот человек, присевший за мой столик, – я уже не один. И это показалось мне утешением.

– Почему вам не нужна транзитная виза? По-моему, вы не из тех, кто не умеет использовать свои документы.

Я пил и ждал, пока он заговорит сам.

– Я родился в той области, которая до первой мировой войны принадлежала России и после войны отошла к Польше. Мой отец был ветеринар. Он хорошо знал свое дело и, несмотря на то что был еврей, получил полуофициальное назначение и опытную усадьбу. Там я и родился. Минуту терпения – и вы поймете, как эти обстоятельства связаны с моими

транзитными делами. Рядом с нашей большой усадьбой, были еще две поменьше и мельница с домом мельника. Речка, на которой стояла мельница, отделяла ее от нашей казенной квартиры. Чтобы попасть в ближайшую деревню, нужно было переправиться на другой берег и взобраться на два холмика, правда крошечных, но таких крутых, что казалось, они упираются прямо в небо.

Я подумал, что он замолк от нахлынувших воспоминаний, и поэтому сказал:

– Наверно, там было очень красиво.

– Красиво? Да, должно быть, там было красиво. Но я описываю вам этот пейзаж вовсе не ради его красоты. Наша усадьба, две соседские и мельница имели слишком мало жителей, чтобы считаться отдельным населенным пунктом. Все жители были приписаны к другой деревне, которая называлась Пярница. Эти сведения я сообщил консулу. Я был точен, не менее точен, чем сам консул. Я написал: «Родился в имении, которое прежде было приписано к населенному пункту Пярница». Но консул был точнее меня, и карта у него были более точные. Оказалось, что место, где я родился и откуда давным-давно уехал, за эти годы Сильно разрослось и по прошествии двадцати лет со дня моего рождения выделилось в самостоятельный населенный пункт, отошедший к Литве. Таким образом, мою польскую метрику признали недействительной. Мне нужен был новый документ из Литвы. К тому же мои родные места уже давно заняты немцами. Итак, мне нужен документ, подтверждающий мое повое подданство, новая метрика из населенного пункта, которого прежде не существовало. На все это уйдет немало времени. Если мой переход в новое подданство задержится, мне придется отказаться от билета на пароход.

– Зачем же сразу отказываться? – спросил я. – Над вами не каплет. Сегодня опасность вам еще не угрожает. Мне кажется, вы не относитесь к тем людям, которые полагают, что наша часть планеты провалится в тартарары оттого, что по ней маршируют вооруженные банды и поджигают города. Вы еще успеете попасть на пароход.

– Я в этом не сомневаюсь. Я уже давно терпеливо занимаюсь подготовкой отъезда. Когда-нибудь и для меня найдется место на пароходе. Конечно, найдется! Только вот я никак не могу вспомнить, почему мне так неудержимо захотелось уехать. Видимо, я чего-то испугался. Или, вернее, поскольку я должен признать, что по натуре я человек довольно сильный и не пугливый, мне внушили, что я должен чего-то бояться. Меня заразили страхом. Но всей этой чепухой я уже сыт по горло. Собственно говоря, я

так уже думал во время нашей последней встречи. А. теперь мне все это окончательно осточертело.

– Вы же знаете не хуже меня, что здесь вас никогда не оставят в покое.

– Раз уж непременно нужно куда-то ехать, то мне больше по душе другой маршрут. Начну с того, что завтра утром совершу весьма скромное путешествие. Сяду на электричку и отправлюсь в Экс. Там заседает немецкая комиссия. Я заявлю, что намерен вернуться на родину. Я хочу уехать в то местечко, где родился.

– Добровольно? Вы же знаете, что вас там ожидает.

– А здесь? Что меня здесь ожидает? Вы, быть может, слышали сказку про мертвеца? Мертвец этот ждал на том свете, чтобы господь решил его участь. Ждал год, десять лет, сто лет. Тогда он принялся умолять, чтобы решили наконец его судьбу. Он не мог больше выносить этого ожидания. Ему ответили: «Чего ты, собственно говоря, ждешь, ты ведь уже давно в аду». Вот он, ад – дурацкое ожидание неизвестно чего. Разве это не адские муки? Война? Она настигнет вас и за, океаном. Я уже сыт по горло, Я хочу домой.

### III

А я отправился в испанское консульство и стал в очередь транзитников. Огромный хвост выходил далеко за порота. Люди, стоявшие передо мной и за мной, рассказывали о том, что испанские транзитные визы в конце концов выдают, но обычно перед самой отправкой парохода, и уже физически невозможно вовремя добраться до Лиссабонского порта...

Я ждал своей очереди так терпеливо, как ждешь, когда ожидание становится самоцелью, а то, чего ждешь, неосуществимо. Видно, я успел обжиться в аду, о котором говорил в кафе «Сен-Фереоль» мой лысый знакомец, потому что ад этот не казался мне таким уж чудовищным по сравнению со всем, что я пережил и что мне еще, видимо, предстояло пережить. Наоборот, в нем было вполне сносно, прохладно, и к тому же стоявшие впереди и сзади меня наперебой рассказывали всевозможные истории.

Часа через два я вошел в ворота испанского консульства. За мной уже выстроился длинный хвост вдоль всей улицы. Пошел дождь. Прошло еще два часа, прежде чем я попал в приемную консульства. Не знаю, в силу какого таинственного закона я оказался перед тощим чиновником с желтым продолговатым лицом и тонкими губами. Он обратился ко мне не слишком вежливо и принялся не спеша расспрашивать, словно за моей спиной не стояла длиннющая, вытянувшаяся до следующего квартала очередь транзитников. Да, впрочем, он ее, наверно, никогда и не видел, потому что всегда сидел в помещении, а очередь стояла на улице. Он взял мои документы и стал перелистывать какую-то пухлую книгу. Было похоже, что он ищет там имя Вайделя. Как может бедное, забытое всеми имя, которое произносит разве что мать, если она еще жива, оказаться в этой книге? Однако оно там оказалось. Мрачная улыбка скривила губы испанского чиновника. Он вежливо сообщил мне, что мое ходатайство бесполезно, что мне никогда не разрешат проезд через Испанию.

– Почему? – спросил я.

– Это вы сами должны знать.

– Я никогда не был в вашей стране, – возразил я.

– Вы можете причинить вред стране, даже не ступив на ее землю.

Чиновник весьма гордился тем, что в его власти было отказать в выдаче транзитной визы. Ему, видно, когда-то довелось лизнуть пирог власти кончиком языка, который я все время видел, пока он говорил. Власть

явно пришлась ему по вкусу. Но что-то в моем лице ему определенно не понравилось. Быть может, появившееся вдруг выражение радости, которое его удивило и испортило ему все удовольствие. «Значит, – подумал я, – Вайдель не только прах, не только горсточка пепла, не только бледное воспоминание о запутанной истории, которую едва ли смогу теперь пересказать, как те сказки моего детства, что рассказывали мне в сумерках, когда я еще не совсем спал, но уже и не бодрствовал. От Вайделя осталось еще нечто настолько живое, что его боятся, что перед ним закрывают границы, что ему не разрешают въезд в страну». Видимо, все дело было в той новелле, на которую намекал американский консул. С какой охотой я бы ее прочитал. Быть может, она тоже превратилась в пепел, но. здесь Ванделю ее не простили.

И мне представилось привидение, шествующее ночной порой по земле, где вживе никогда не ступала нога Вайделя. И где бы оно ни появлялось, с полей, с деревенских дорог, с мостовых никогда не виденных им улиц, навстречу ему поднимались тени. Его приход тревожил плохо захороненных мертвецов, потому что он хоть что-то для них сделал. Сделал мало, написал лишь несколько строк, внезапно почувствовав острую необходимость вмешаться. Вроде меня. Ведь я тоже только ударил по морде этого болвана-штурмовика. В том отношении между Вайделем и мною было нечто общее: живешь себе, как живется, и вдруг тебя словно прорывает. Испанский чиновник с недоумением глядел, на меня своими вылупленными глазами. Я радостно поблагодарил его, словно он мне выдал транзитную визу.

## IV

Я зашел в «Мон Верту», чтобы все как следует обдумать. Я еще ничего не ел, и у меня не было денег, чтобы купить еды. Я немного выпил. Итак, нам троим – покойнику Вайделю, мне и врачу – путь через Испанию закрыт. Нам придется воспользоваться другим пароходом, должно быть, той дребезжащей посудиною, которую контора «Транспор маритим» ежемесячно отправляет на Мартинику. Врач уже видел однажды эту развалину из ворот порта. Что он успел мне рассказать о своем несостоявшемся отъезде? Он уверял меня, что Мари теперь готова уехать. Он, наверно, думает, что тем самым он выиграл игру. Но разве Мари не была полна решимости уехать и тогда, когда он гнал свою малолитражку через Луару по полуразрушенному бомбежкой мосту? А я, которого он в то время не мог принимать в расчет, поскольку меня тогда еще для них не существовало, и все же настиг Мари, появившись словно из-под земли.

Кафе «Мон Верту» начало постепенно заполняться людьми. Мягкий, нежный свет вечернего солнца падал на мои руки. Я пытался мысленно разобраться в земном наследстве покойника. Ведь наш общий с ним капитал лежал в португальском банке. Корсиканец из Бюро путешествий должен будет мне помочь выволить эти деньги. Нам надо будет оплатить дорогу, налоговый сбор, который требуют французские власти в виде гарантии, что мы не застрянем, как они выражаются, на восточном полушарии нашей планеты. «Полушарие планеты» – возвышенные слова, которые Польше подходят покойнику, нежели мне – живому человеку из плоти и крови, с короткими пальцами и широкими ногтями.

Я подозвал кельнера и попросил принести мне атлас. Он принес мне истрепанный путеводитель с подклеенной и конце картой. Я принялся искать Мартинику, до сих пор мне было лень этим заниматься. Я нашел ее – крохотную точку, затерянную между двумя материками, которые были не вымыслом префектуры или консульств, а чем-то подлинным, извечно существующим.

Не знаю, сколько я успел выпить, как вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я поднял глаза и увидел блестящую орденами грудь моего соседа по номеру. Не знаю почему, но обычно встречал его, когда сильно выпивал. Этот маленький коренастый человек всегда являлся мне в сверкающем тумане орденов. Он попросил у меня разрешения сесть за мой столик. Я ответил ему, что буду рад обществу.

– Как поживает Надин? – спросил я.

– Надин? Ее словно заколдовали. Я все глаза проглядел, разыскивая ее. По ночам брожу по улицам, таскаюсь по кафе...

– Зачем? Достаточно подойти в шесть часов к служебному входу магазина «Дам де Пари».

– Чтобы я... ни за что! На это я не способен. Я должен встретить ее случайно; где-нибудь, когда-нибудь... Но что с ними? Я вижу, у вас тоже что-то не ладится.

Я сделал то, что делал всегда, когда мне задавали ненужные вопросы: я ответил вопросом.

– Да! За вами обещанный рассказ. Как вам удалось нахватать все этих побрякушек, что у вас на груди?

– Я не дал сдохнуть десятку парней, которые, были примерно в таком же состоянии, что и вы теперь.

Я засмеялся и спросил, не по привычке ли он сел сейчас за мой столик.

– Возможно, – ответил он серьезно.

Но потом он сам начал свой рассказ, потому что ему надо было выговориться.

– Когда началась война, я преспокойно жил в маленькой деревушке в Варе. Там хорошо относились к иностранцам. Быть может, я и посейчас мог бы там находиться. Но мой отец обосновался в департаменте Гаронны, где арестовывали всех иностранцев моложе шестидесяти лет. Отца выпустили бы на свободу только в том случае, если бы я, его сын, добровольно вступил в армию. Я подумал и решил, что мой долг – пойти в солдаты. К тому же в ту пору я, как и большинство, верил, что предстоит настоящая война с Гитлером. Я прошел комиссию и узнал, что годен по всем статьям. Впрочем, это я знал и прежде, но теперь выяснилось, что мое здоровье найдет себе применение, поскольку я отвечаю всем высоким требованиям Иностранного легиона. Итак, я оказался в учебном лагере. Меня удивило все, что я там увидел, но я решил – война есть война. Тем временем отца освободили... Что с вами?

По улице прошла Мари. На ней было незнакомое серое пальто, которого я прежде никогда не видел. Мне показалось, что она исчезла в толпе, как вдруг она вошла в «Мон Верту».

На этот раз Мари не искала, как обычно. Она тихо села в углу и уставилась в одну точку. Было ясно, что она зашла сюда лишь затем, чтобы побыть одной. Я был рад, что она здесь, хотя теперь она меня уже не искала. Я был рад, что она жива, еще жива.

– Ничего, – ответил я. – Продолжайте, пожалуйста ваш рассказ.

– Нас отправили в Марсель. Вон туда наверх. – И он показал на форт св. Иоанна за Старой гаванью. – В казармах было холодно, воняло, все тонуло в грязи. На стенах висели плакаты с надписью: «Ни покоя, ни отдыха!» Это был девиз легиона. Каждое утро нас водили к морю, там за фортом есть небольшая бухта, заваленная здоровенными камнями. Нас заставляли вкатывать их наверх по крутой лесенке, вырубленной в скале. Как только мы добирались до верха, нам приказывали бросать эти глыбы назад в море. Это называлось специальной подготовкой. Таким способом нас хотели приучить к повиновению... Я вам еще не наскучил?

Я коснулся его руки, чтобы заверить, что мне нисколько не скучно. И пока он говорил, я глядел на лицо Мари, такое спокойное в вечернем свете. Наверно, уже тысячи лет назад, и в критскую, и в финикийскую эпоху, сидела вот так у окна девушка, которая тщетно искала своего возлюбленного в городе, занятом войсками. Но эти тысячи лет пронеслись как один день. Солнце садилось.

– И вот пришел срок: нас отправили в Африку. Нас загнали в трюм корабля. Не знаю, сколько десятков лет, а может быть даже и сотню, возил он в Африку солдат. Грязь многих поколений легионеров! Мы снова попали в учебный лагерь. Режим там был еще более строгий. Речи начальник о в были полны таинственных намеков, угроз и заверений, что все это еще цветочки, а ягодки – впереди. Мы прибыли к Сиди-бель-Аббес. Все унтер-офицеры выслуживались из легионеров. Когда-то им пришлось бежать из своих стран, потому что они кого-то убили, или обокрали, или подожгли дом.

Я чувствовал, насколько ему необходимо рассказать мне все, с самого начала. А я мог тем временем обдумать, как попасть на пароход, на котором Мари скоро уедет. Случилось именно то, чего я так опасался: она перестала искать. На семнадцатом месяце с момента бегства из Парижа, на пятнадцатом месяце ее пребывания в Марселе. Я мог бы сообщить покойному Вайделю точные цифры. К тому же последнее время она искала и меня. Меня или нас обоих. И все же она прекратила поиски иначе, чем я ожидал. В этом не было ничего внезапного, ничего от отчаяния. Это было тихое решение отдаться на волю Случая. Но, казалось, сам Случай был удивлен тем, что она сидит здесь с поникшей головой и опущенными глазами. С такой покорностью, какой ему, Случаю, еще не доводилось наблюдать и которую можно было приписать только тому, что он чертовски походил на кого-то другого...

Вдруг до моего сознания снова дошел голос моего собеседника. Я так и не знаю, молчал он это время или рассказал свою историю дальше.

– Все офицеры были французы. Многие из них попали сюда как штрафники. Только нас привела сюда война. Мы приехали потому, что хотели одолеть Гитлера, но никто нам не верил, а если бы и поверили, то возненавидели бы еще лютей. Они в свое время прошли через те испытания, которые теперь предстояли нам, поэтому они хотели, чтобы все было, как прежде, чтобы все продолжалось до бесконечности, чтобы тем, что пришли им на смену, не стало бы вдруг легче.

Наступил день, когда мы перебрались в пустыню. Как раз перед отъездом я получил письмо от отца. Он писал, что собирается уехать в Бразилию, и просил меня как можно скорее отправиться туда же. Я проклял отца, о чем всегда буду жалеть...

Я сидел не шелохнувшись, боясь помешать его рассказу. Я безмолвно слушал его, чтобы его успокоить, не спуская при этом, глаз с Мари. Я знал, что только теперь, в эту минуту, за этим столиком он окончательно прощается со своей прошлой жизнью. Ведь покончено бывает только с тем, что рассказано. Чтобы навсегда распрощаться с пустыней, он должен был рассказать, как шагал по ней.

– Мы вошли в форт Сен-Поль – городок, расположенный в оазисе. Там росли пальмы, были колодцы и прохладные каменные дома. Французские легионеры сидели в тени, играли в кости и пили вино. Мы надеялись, что наконец для нас настанут лучшие дни. Но французы отнеслись к нам с презрением, потому что им объяснили, что мы, мол, вонючий сброд, готовый за несколько су терпеть любые унижения. Нас вывели за черту города, оттуда мы видели ночью освещенные окна. В лагере, который мы разбили, нас заставили разбросать по песку битый щебень, чтобы мы не спали на мягком и, чего доброго, не изнежились.

Мари неподвижно сидела, повернувшись лицом к гавани. С какой-то жгучей остротой я вдруг почувствовал нашу проклятую общность.

– Нас погнали дальше в пустыню, – продолжал мой сосед. – Мы направлялись к маленькому форту невдалеке от расположения итальянских войск. Вокруг все было желтым. Земля. Небо. И мы. Офицеры ехали верхом. Мы шли пешком, и унтер-офицеры тоже. Офицеры нас презирали, потому что они ехали на лошадях, а мы шли пешком; унтер-офицеры ненавидели за то, что шли пешком так же, как и мы. Не знаю, сколько дней мы шли по пустыне. Мне казалось, что сорок лет, как в Библии.

Нам оставалась еще неделя пути до места назначения, мы должны были сменить там гарнизон. И вдруг нас атаковали итальянские самолеты. Нас было два полка, затерянных буквально между небом и землей. Самолеты пикировали на нас. Мы были отличной мишенью, не хуже, чем

военный корабль в море. Мы зарывались в песок, а во время передышек между атаками шли дальше. В небе все снова и снова появлялись стаи этих смертоносных птиц. Наши ребята стали впадать в отчаяние. Они кидались на песок и отказывались вставать. Они хотели умереть. Запасы воды кончались...

Простите меня, пожалуйста, за этот рассказ, наверно, вы и сами бывали в таких походах. Я ведь хотел только ответить на ваш вопрос насчет моих побрякушек. До этого времени мне не представлялось случая быть храбрым. Втаскивать на скалу каменные глыбы, валяться в заблеванном пароходном трюме, который не мыли сто лет, дрыхнуть в каше из раздавленных клопов, прыгать с полной выкладкой со стены в четыре метра высотой в ров, заваленный камнями, рискуя разбиться или – в случае отказа – быть поставленным к стенке, – все это не доказательства храбрости. Если все это о чем-то говорит, то разве что о выносливости. Но тогда в пустыне – клянусь вам, я даже не заметил, как это случилось, – я стал храбрым. Я начал подбадривать своих товарищей, особенно тех, кто помоложе. Я внушал им, что у людей есть такой закон – правда, к проклятому Иностранному легиону он отношения не имеет, – есть закон вести себя достойно до самой смерти. При этом и уверял ребят, что мы раздобудем воду и в конце концов доберемся до места. И некоторые верили мне хоть несколько минут. Они поднимались с песка и плелись дальше. А я все твердил и твердил им, что ведь я тоже иду вместе с ними и тоже переносу все эти муки. Словно их могло утешить то, что и я случайно оказался вместе с ними. Наш капитан стал ко мне иногда обращаться, спрашивать, сколько, по моему мнению, может все это еще продолжаться, что нас ждет впереди, как и когда разделить последние капли поды. А самолеты появлялись все с меньшими интервалами. Они пикировали и расстреливали нас из пулеметов. И многие из ребят, которым я только что торжественно клялся, что мы скоро придем, падали, изрешеченные пулями. Иногда я брал вещевой мешок у тех, кто был уже не в силах его тащить. Клянусь вам, мне и в голову не приходило, что все это имеет какое-либо отношение к храбрости. Позже я узнал, что только наш отряд добрался до места назначения со сравнительно небольшими потерями, и капитан уверял, что этому во многом содействовал я. В форте меня наградили орденом Нации. Караул стоял по стойке «смирно», мне нацепили орден на грудь. Капитан поцеловал меня перед строем. Я сам удивлялся тому, что меня все это радовало. И что еще удивительнее – все стали вдруг относиться ко мне с уважением. Клянусь вам, мне было совершенно не важно, что это произошло именно со мной, важно было другое – появилось

нечто, что вызывало уважение. Хоть к чему-то уважение. То, что все эти почести относились лично ко мне, было в той же мере не важно, как и то, каким именно орденом меня наградили, какой нации он принадлежал... Но вот что в этой истории самое удивительное: я всех их полюбил. Я их, а они меня. Я всей душой привязался к ним, к этим заурядным, жестоким, подчас гнусным парням. Ко всем этим подлым и злобным свиньям. Понимаете, всей душой. Я к ним, а они ко мне. Ни с кем мне никогда не было так трудно расстаться, как с ними.

– Как зам удалось вырваться оттуда? – спросил я.

– По ранению. Теперь меня демобилизуют. Тогда я смогу спрягать в чемодан мундир, а– с ним и все эти ордена. Мой отец уже успел умереть. Перед смертью он заказал у какой-то фирмы большую партию перчаток. У меня две незамужние сестры, они уже в годах. Без меня им не открыть магазина перчаток. Мне нужно как можно скорее попасть к ним.

Уходя, мы прошли мимо столика Мари, но она не заметила меня.

– Эта женщина, – сказал я, – ждет человека, которым никогда не вернется.

– А я вот вернулся, – грустно сказал мой сосед, – но никто меня не ждет. Только две старые сестры. Мне не везет в любви, а что касается вашей Надин, вы же не можете всерьез полагать, что она достанется мне.

Рано утром меня вызвала вниз хозяйка. Сперва я подумал, что это снова пришел торговец шелком, чтобы потребовать еще денег в счет возмещения его дорожных издержек. Но я сразу понял, что за птица тот молодой человек, который стоял у окошечка хозяйки отеля и, щурясь, глядел на меня. Это был агент тайной полиции. Я почувствовал недоброе. К тому же я сразу заметил, что хозяйка наблюдает за мной с тайным злорадством. Наглым тоном, выпячивая губы, он потребовал, чтобы я предъявил документы. Я выложил их по порядку на подоконник.

– Как? У вас есть виза? У вас есть транзитная виза? – воскликнул он в крайнем удивлении. – Вы собираетесь уехать?

Он переглянулся с хозяйкой. Ее злорадство сменилось глубоким разочарованием. По их общей досаде я понял, что они давно уже поделили между собой премию, которую выдают в полиции за удачную облаву. Моя хозяйка указала на меня этому агенту, чтобы поскорее открыть свою лавку колониальных товаров.

– Вы заявили этой даме, – продолжал сыщик, – что хотите во что бы то ни стало остаться в Марселе и вовсе не намерены уезжать.

– А разве запрещено разговаривать с хозяйкой? Я волен говорить ей все, что мне заблагорассудится.

Не скрывая своего раздражения, он заявил мне в ответ, что департамент Буш-дю-Рон перенаселен, что, согласно предписанию властей, я должен как можно скорее уехать, что я сохраню свободу только в том случае, если запишусь в очередь на какой-нибудь пароход. Должен же я наконец понять, что города существуют не для того, чтобы в них жить, а чтобы из них уезжать.

Тем временем на лестницу вышел мой сосед легионер. Он внимательно слушал, как агент тайной полиции делал мне предупреждение, затем схватил меня под руку, вывел на Кур Бельзенс и сказал, что я должен немедленно пойти с ним в бразильское консульство, потому что с ночи по городу поползли слухи, что скоро в порту появится бразильский пароход. Слух этот сегодня утром подтвердился, а завтра он может стать реальностью. Его слова вызвали в моем воображении призрак парохода, который торопливо выстроили на призрачной верфи духи, послушные страстным желанием всех тех, кто жаждал поскорее уехать.

– Как называется этот пароход? – спросил я.

– «Антония», – ответил он.

## VI

Мне казалось, что Мари может уехать со мной на этом новом, только что возникшем пароходе. Я последовал за легионером в бразильское консульство. Там мы очутились в кучке мне до сих пор не знакомых транзитников, толпившихся перед деревянным барьером. Помещение, находившееся за барьером, было просторным, оно казалось еще Польше оттого, что на одной из стен, выкрашенных в зеленый цвет, висела огромная карта. Посреди стояло два массивных письменных стола. За столами никого не было, и долгое время никто не показывался. Люди с лихорадочным не терпением ждали, не появится ли за барьером консул, служащий консульства, секретарь, писарь – кто угодно, лишь бы их выслушали. В каком-то пароходстве им сказали, что вскоре пойдет корабль в Бразилию. Многие из толпившихся здесь людей так же мало стремились отправиться в Бразилию, как и я. Но пароход – это пароход, и люди думали, что стоит только оказаться на его борту, и ты спасен от всех опасностей и плывешь навстречу всем надеждам. Мы топтались за барьером, но канцелярия оставалась пустой. Только из соседнего, недоступного для нас помещения долетал легкий запах кофе, словно консул сбежал от нас на кофейном облаке. Этот непривычный запах возбуждал. В нашем воображении рисовался мешок, да что мешок – целый погреб со снедью для невидимых служащих консульства. Прошло несколько часов, прежде чем за барьером появился очень хорошо одетый, с безукоризненным пробором худощавый человек. Он посмотрел на нас с полным недоумением, словно в его частную квартиру внезапно ворвалась банда отчаявшихся, возбужденных людей, которые принялись молить его о чем-то совершенно непонятном. Мы все нестройным хором обратились к щеголеватому чиновнику с просьбой. Он в ужасе скрылся. Прошло еще несколько часов. Наконец он появился снова и, передвинув на своем массивном письменном столе какие-то бумажки, робко подошел к барьеру, словно боялся, что мы схватим его и силком перетянем в наш мир. Только мой друг легионер ждал молчаливо, го спокойствием, видно добытым им в пустыне такой дорогой ценой. Но вдруг он подскочил к барьеру и ударил по нему кулаком. Худощавый молодой человек с испугом взглянул на него. Ордена приковали к себе взгляд чиновника, и он, по-прежнему робко, на шаг приблизился к барьеру. Легионер быстро сунул ему свое заявление. Я тоже хотел было сунуть свое, но молодой человек только слабо кивнул всем

остальным, пытавшимся проделать то же самое, и удалился с бумагами моего соседа. У меня вдруг возникло впечатление, что он удалился на долгие годы.

## VII

Я прошел мимо пиццерии, не заглянув в нее. Кто-то бросился мне вдогонку и схватил меня за руку. Я обернулся. Врач был более возбужден, чем обычно. А быть может, мне это только показалось оттого, что он задыхался.

– Значит, Мари все же была права. А я готов был поклясться, что вас давно уже и след простыл. Я почти уговорил Мари, что разыскивать вас бесполезно. Вы исчезли так же внезапно, как и появились.

– Нет, я не уехал. Таким спокойным и уверенным людям, как вы, лучше всего удастся внушать другим разные абсурдные мысли.

Он явно растерялся и сказал:

– Вы даже ни разу за все это время не были у Бинне. А ведь они ваши старые, настоящие друзья.

«Да, Бинне мои старые, настоящие друзья, – подумал я, – но теперь они мне стали безразличны. Я заболел. Я заразился транзитной горячкой».

– Мари сбилась с ног, разыскивая вас. По-моему, она ищет уже несколько недель. Дело в том, что мы, вероятно, сможем уехать следующим пароходом на Мартинику. Пароход этот называется «Монреаль».

– Она уже получила визу?

– На руки ей еще не выдали. Но это может произойти со дня на день.

– У вас есть деньги на дорогу?

Впервые я увидел веселые искорки в его глазах. Мне захотелось стукнуть его по физиономии.

– Деньги на дорогу? Они были у меня в кармане еще в тот день, когда мы переехали через Луару. Сумма вполне достаточная для того, чтобы мы оба могли доехать до места назначения.

– А транзитные визы?

– Ей выдадут их, как только она получит визу в Мексику. Но...

– А все же есть «но»!

Врач рассмеялся.

– Несерьезное. Нет, на этот раз это маленькое, скромное «но». Видите ли, Мари не хочет уехать, не повидавшись с вами. Она считает вас, как мне кажется, своим самым верным другом из всех, какие у нее когда-либо были. Ваше внезапное исчезновение лишь увеличило вашу значимость для нее. Я думаю, что лучше всего будет, если вы пойдете вместе со мной в пиццарню. Мы будем пить розе и ждать Мари.

– Вы ошибаетесь, – сказал я. – Нет. Я теперь больше не могу ходить с вами в пиццерию, я больше не могу пить с вами розе. Я больше не могу с вами ждать.

Он отступил на шаг и нахмурил лоб.

– Вы не можете? Почему? Мари заупрямилась, она во что бы то ни стало хочет вас видеть. Мы наверняка уедем в течение этого месяца. Все решено. Но Мари хочет перед отъездом еще раз увидеть вас. Вы не можете отказать ей в такой малости.

– К чему это? Я терпеть не могу торжественно отмечать расставания, ненавижу все эти последние и предпоследние встречи. Она уезжает с вами. Это решено. Ну что ж, пусть она уедет немного обеспокоенной. Не может же она иметь все.

Он пристально посмотрел на меня, словно надеялся благодаря этому лучше понять мой ответ. Но я не дал ему времени на размышление. Я пошел прочь и почувствовал, что он смотрит мне вслед.

Когда я поднимался по лестнице отеля, хозяйка окинула меня недобрый взглядом. На лице ее появилась злобная улыбка. Мне показалось, что за сегодняшний день ее зубы стали длиннее, острее и белее. Она привстала, и ее огромная грудь вылезла из окошечка.

– Ну?

– Что «ну»? – спросил я.

– Где справка, что вы записаны в очередь на пароходе? К тому же учтите, что ваша комната с пятнадцатого сдана. Да вы все равно должны до этого времени уехать.

Я подумал, что все эти месяцы она лишь прикидывалась хозяйкой, а в действительности была платным полицейским агентом, своего рода тайным вышибалой. Я даже стал сомневаться сильнее, чем когда бы то ни было, в том, что она обыкновенная женщина, – я ведь видел ее всегда только в окошечко. Бог знает, что у нее было ниже бюста, быть может, рыбий хвост. Я немедленно повернул назад.

## VIII

Я отправился на улицу Республики. В конторе «Транспор маритим» толпились люди. Очередной пароход отправлялся восьмого. Все места на него были уже давно распределены. Я смог записаться даже не на следующий, а только на третий пароход. Причем мне заявили, что билет мне выдадут лишь в том случае, если я предъявлю разрешение на выезд.

Я вышел из конторы и остановился перед витриной «Транспор маритим», чтобы разглядеть выставленную там модель парохода. Разрешение на выезд давалось тем, кто имел деньги на дорогу наличными и кто внес налоговый сбор. Корсиканец должен мне помочь выручить мои деньги из португальского банка. Мне необходимо сейчас же с ним посоветоваться.

В этот момент кто-то коснулся моей руки.

– Что ты здесь делаешь? – спросила Мари. – Быть может, ты тоже хочешь уехать? Мы привыкли к тому, что ты творишь чудеса. Я совершенно не удивлюсь, если вдруг в открытом море ты вылезешь из трубы нашего парохода...

Я опустил глаза и увидел ее каштановые волосы.

– Ты всегда давал бы мне советы и приходил бы на помощь. Я никогда не была бы одна.

Я уцепился за слово.

– Одна?

Мари отвернулась, словно сказала лишнее.

– Конечно, я хочу сказать, одна с ним... Где ты был все это время? Я искала тебя повсюду. В этом проклятом городе никогда не находишь того, кого ищешь. Встретишься лишь случайно. За эти дни многое произошло. Мне снова нужен твой совет. Пошли!..

– Мне некогда.

Я сунул руки в карманы так, что большие пальцы оставались наружу. Тогда она взяла меня за большой палец правой руки и потащила за собой на другую сторону улицы в огромное уродливое кафе, что на углу улицы Республики и площади перед Старой гаванью. У одного из окон сидела та толстая, прожорливая дама, которая все еще не могла проесть свои дорожные деньги. Чех, который со дня моего приезда в Марсель собирался пойти добровольцем в английскую армию, с мрачным и решительным видом пересек кафе и стал у стойки. Я увидел также, как мимо стеклянной

двери прошел тот молодой человек, которому отказали в американской транзитной визе из-за судимости.

Все эти бессмысленные встречи с безразличными мне людьми подавляли меня своей упрямой неизбежностью. Мари подперла голову правой рукой, левой она все еще сжимала мой большой палец. Я мог ее повсюду встретить. Я должен был повсюду с ней сталкиваться. Я перестал упираться и спросил:

– Что случилось, Мари? Чем я могу тебе помочь?

Она прислонила голову к моему плечу. В ее взгляде было нечто такое, о чем я даже не смел мечтать и чего я еще никогда не видел, – безграничное доверие. Я взял ее руку в свои ладони. У меня возникло предчувствие, что сейчас я услышу нечто, что будет для меня новым и удивительным. Но предчувствие это обмануло меня. Она сказала:

– Ты ведь еще не знаешь, что я на самом деле получила визу. Мексиканцы выдали мне ее на руки. Мне не хватает теперь только транзитных виз.

– Для этого тебе не нужен мой совет. Ступай к американскому консулу, он все сделает.

– Я уже была у консула. Да, он намерен все сделать. Вот моя повестка. Мне выдадут транзитную визу двенадцатого числа. Но пароход уйдет, видимо, восьмого. Ты ведь не думаешь, что мой друг, который не хотел ждать, пока я получу визу, станет теперь задерживаться из-за того, что у меня нет транзитной визы?

– Неужели ты, когда была у консула, ничего не могла придумать, – спросил я, – чтобы тебя вызвали на несколько дней раньше? Ты не смогла привести какой-нибудь разумный довод или хоть соврать что-нибудь? Неужели ты не тронула его одним своим видом?

– Не нужно надо мной смеяться. Мой вид его нисколько не тронул. А я не нашлась, что сказать. Из моих документов консул узнал, что я получила визу, как лицо, сопровождающее писателя Вайделя. Он спросил меня, почему я не пришла к нему вместе с Вайделем, который совсем недавно был у него на приеме. Я сказала, что только что получила визу в Мексику. Я была рада, что могла выжать из себя хоть эти слова. Я насмерть перепугалась. Подумай, он недавно был в консульстве! Недавно!

– За это время он мог уже десять раз уехать! – воскликнул я.

– Каким пароходом? Ведь совсем недавно он был у американского консула. Ведь не мог же он в самом деле уехать на пароходе-призраке. А может быть, он уехал через Испанию? Так или иначе, он еще недавно был здесь. Он был здесь, и я была здесь. А мне ведь все эти последние недели

уже казалось, что он умер.

– Мари! Что ты говоришь? – крикнул я, – Ведь я сам тебе как-то подал эту мысль, но ты только рассмеялась и в ответ сказала мне что-то злое...

– Да? Я рассмеялась?... Сколько лет прошло с тех пор, как я смеялась? Ведь я еще молода. Погляди-ка вон в то зеркало.

Я обернулся. Я был глубоко потрясен. Я был потрясен, когда увидел в зеркало нас обоих, сидящих рядом, рука в руке.

– Я сама вижу, что молода, – продолжала она. – Как это возможно, что я еще молода? Совсем молода? Почему мои волосы не поседели? Ведь уже сто лет прошло с тех пор, как немцы подошли к Парижу. Ты меня никогда не спрашивал об этом времени. В этом городе людям задают только один вопрос: «куда?». И никогда не спрашивают: «откуда?».

Мой друг – я, конечно, имею в виду моего первого друга, того, другого, настоящего, – как только началась война, отвез меня в деревню, чтобы меня не забрали в лагерь. Почему он не захотел, чтобы я осталась в Париже вместе с ним? Я ведь тебе уже говорила, что он был тяжелый человек, да к тому же больной, и что чаще всего ему хотелось быть одному. И вот в тот деревенский дом, где я поселилась, стал ходить мой нынешний друг. Он пришел туда как врач. Его вызывали к больному ребенку. Он был добр ко всем. Он часто приходил, а я была одна, и мы друг другу понравились. А немцы подходили все ближе и ближе. Я испугалась и поехала в Париж, потому что вдруг выяснилось, что немцы стоят у самого города. Я бросилась разыскивать своего друга – я имею в виду первого, настоящего, – но не нашла его в нашей квартире, дом, в котором мы прежде жили, стоял заколоченный. Никто не знал, куда делся мой друг. Из окон собора Парижской богородицы были вынуты витражи. Все бежали из Парижа. Я увидела женщину, которая везла в тачке мертвого ребенка. Я была одна. Я бегала по улицам мимо груженных скарбом повозок, как вдруг тот, другой, второй, окликнул меня на Севастопольском бульваре. Мне это показалось чудом, перстом божьим. Но на самом деле это вовсе не было чудом, это вовсе не было перстом божьим. Это было простым совпадением, но оно казалось предначертанием судьбы. Так я себя и настроила тогда. Я села в его машину. «Не беспокойся, – сказал он, – я перевезу тебя через Луару».

Так все и началось. Тогда мне надо было переправиться через Луару, и из-за этого я вынуждена теперь переправиться через океан. Мне следовало бы остаться в Париже и искать его дальше. В этом моя вина. И скажи мне, пожалуйста, зачем мне понадобилось переправляться через Луару? Ах, эта поездка!.. Самолеты пикировали на нас. Чтобы спрятаться, мы залезли под

машину. Как-то раз мы увидели лежащую на шоссе женщину, у нее была раздроблена нога. Мы выкинули из машины свой багаж и взяли ее в машину. Но было уже поздно – она истекала кровью. Тогда мы снова вытащили ее на шоссе. В конце концов мы добрались до Луары. Первый мост был взорван. Машины и повозки повисли, зацепившись за искореженные фермы. Люди повисли, уцепившись кто за что мог, и кричали. Всю дорогу мы ехали, тесно прижавшись друг к другу. Он и я. Тогда я обещала ему последовать за ним хоть на край света. Этот край казался мне близким, путь к нему коротким, и обещать это было легко. В конце концов мы все же перебрались через Луару и приехали сюда, в Марсель. Тогда случайность превратилась в судьбу. Я оказалась вдвоем с человеком, который меня нашел, вместо того чтобы оказаться с тем, кого я искала. То, что было тенью, обрело плоть и кровь. То, что должно было длиться недолго, стало постоянным, а то, что было задумано навеки...

– Перестань говорить глупости! – крикнул я. – Сама ведь знаешь, что все это глупости! Случай никогда не может стать судьбой. Тень никогда не обретет плоть и кровь, а то, что существует на самом деле, никогда не превратится в тень. Ты просто выдумываешь все это. Да ты и сама совсем иначе рассказывала мне о прошлом. Ты ведь написала тогда своему мужу письмо...

– Я?... Письмо?! – воскликнула она. – Откуда ты знаешь об этом письме? Как ты можешь знать что-либо об этом письме? Да, я написала ему письмо, но он этого письма не получил. Ведь в то время почта не доходила. Все терялось дорогой или сгорало... То письмо не могло прийти! Такое ужасное письмо! Я написала его во время нашего бегства, как только мы выехали из Парижа. Я писала его на коленях того, другого. Но говорю тебе, почта не доходила. Я писала ему и другие письма, как только мы сюда приехали, и те письма дошли. Они должны были прийти, и мой муж, наверно, приехал сюда. Ведь и в консульствах мне говорят, что он был здесь. Конечно, я была уверена, что, если он и в самом деле приехал сюда, он должен меня искать и найти независимо от того, верна я ему или не верна, красива или уродлива. Он, и никто другой, только он один сразу крикнул бы: «Мари, Мари!», увидев меня, даже если бы я стала вдруг старой, безобразной или изменилась бы до неузнаваемости. Сердце говорит мне, что его здесь не было, иначе он нашел бы меня. Но консулы уверяют, что он был в Марселе. Теперь сердце подсказывает мне, что он умер. Он пришел бы за мной, если бы был жив. Консулы ошибаются, они выдали визу мертвому и транзитную визу тоже.

Ее рука, которую я держал в своих руках, стала холодной как лед. Я

принялся растирать ее так, как зимой растирают окоченевшие руки детей. Но мои собственные пальцы были слишком холодные, чтобы согреть ее. Я почувствовал, что должен ей тут же все рассказать. Я искал слова. Но вдруг она совершенно спокойно сказала:

– Быть может, он приехал в Марсель еще до нас. Быть может, он уже уехал... Да, это, вероятно, и есть решение загадки. Он уже уехал. Слово «недавно» в устах консулов имеет совсем иное значение, чем в наших устах. У консулов другое исчисление времени. Для них несколько месяцев не считается сроком, а я не решилась спросить. Что значит время для консула Соединенных Штатов? Быть может, для него два месяца назад и есть «недавно».

Я крепко сжал ее запястье и крикнул:

– Ты не можешь его догнать! Ты его давно потеряла! Ты не могла найти его в этой стране, даже в этом городе. Поверь мне, он уехал слишком далеко, чтобы его найти. Он стал недосыгаем!

Ее кроткие серые глаза загорелись каким-то новым, почти невыносимым огнем.

– Теперь я знаю, куда он уехал. На этот раз я его догоню. Он от меня уже не уйдет. Если консул откажет мне в транзитной визе, я пешком уйду из этой страны, без всякой визы. Я поеду в Перпиньян и там найму проводника, как это делали до меня другие. И он проведет меня через горы, а потом я заплачу какому-нибудь матросу, и он спрячет меня где-нибудь на корабле, который отправляется в Африку...

– Перестань молоть чепуху! – воскликнул я. – Тебя схватят и бросят в лагерь, и тогда ты уже никуда не поедешь. Представь себе, как это бывает. Патруль трижды окликает перебежчика, а потом стреляет без предупреждения...

– Ты хочешь меня испугать, – сказала она и рассмеялась – Лучше помоги мне, как ты прежде помогал. Тогда ведь ты мне ничего не говорил, только помогал – и все.

Я отпустил ее руку и сказал:

– А что, если ты права? Если консулы и в самом деле ошибаются? Если этого человека больше нет в живых? Что тогда?

Ее серые глаза потемнели.

– Как могут консулы ошибаться? – спросила она. – От их взора не ускользает ни одна точечка в паспорте, ни одна черточка в документах. Если хоть буква вызовет у них подозрение, они скорее задержат сотню человек с правильными документами, чем выпустят одного с фальшивым. Мне пришла в голову эта безумная мысль только потому, что он не

разрешал мне больше искать. Пока я ищу, я знаю, что мой муж жив. Пока я ищу, я верю, что могу его еще найти.

Вдруг ее лицо изменилось.

– Вон идет мой друг. Я сейчас его позову. Знаешь, он очень хороший человек.

– Незачем его хвалить, – сказал я, – мне известны его достоинства.

Мари подбежала к двери и позвала врача. Он вошел и поздоровался с нами в своей обычной спокойной манере.

– Садись с нами, – сказала Мари. – Нам снова надо посоветоваться о транзитных делах, дорогие мои друзья.

Он внимательно посмотрел на Мари, взял ее за руку и сказал:

– Тебе холодно? Почему ты так бледна?

Он стал растирать ее пальцы точно так же, как я это делал несколько минут назад. Она посмотрела на меня своими ясными, слишком ясными глазами, словно говоря: «Ты видишь, он гладит мои руки, но это ничего не значит, ты видишь, мы оказались вместе, но это была чистая случайность».

«Быть может, ей в самом деле лучше уехать, – подумал я, – и он, наверно, считает, что Мари можно исцелить. Но я, я в это не верю. Во всяком случае, не этому врачу ее вылечить». Мне было ясно, за чью руку она должна схватиться, как только обнаружится правда. Мысленно я обращался к мертвому: «Мы скоро отнимем ее у врача. Будь спокоен, долго это не продлится».

– Дай мне твою повестку, – сказал я. – Попробую, может, мне удастся что-нибудь сделать.

Мари вытащила бумажку.

Когда мы встали, врач отвёл меня в сторону.

– Вы теперь сами убедились в том, что Мари лучше уехать, – сказал он. – Я в это не вмешивался. Это бы только все запутало.

Он помолчал и добавил как бы невзначай, только потом я понял, что его слова полны значения:

– Наконец она найдет покой. Я сумею переправить ее в Новый Свет.

Я не ушел из кафе вместе с ними. Я остался сидеть за своим столиком и долго следил, как они идут рядом, не держась за руки, в печальном единении, вниз по Бельгийской набережной.

## **Глава девятая**

Весь остаток дня я пробегал вверх и вниз по Каннебьер с повесткой Мари в кармане, в поисках помощника в предстоящих хлопотах. За это время я многое понял. Я не сомневался, что Мари не согласится отсрочить свой отъезд, что она не доверится воле случая, не пойдет ни на какие уловки. Только теперь дошел до меня подлинный смысл одной фразы в письме Мари, которое я прочел в Париже вместо покойного Вайделя: «Любыми средствами доберись до меня, чтобы мы смогли вместе уехать из этой страны». Ее новый друг ошибался. На самом деле она никогда не колебалась. Колебались мы – врач и я – и ссорились между собой из-за Мари, которая всегда была полна решимости. Она оставалась в Марселе, пока ей этого хотелось. Но сейчас, решившись уехать, она соберется очень быстро, так быстро, что ее не догонишь, если сейчас же не принять срочных мер, чтобы уехать вместе с ней. Я даже прикинул: не стоит ли мне еще раз отправиться к американскому консулу. Я ломал себе голову, стараясь что-нибудь придумать, чтобы высечь из каменной консульской головы хоть искру понимания. Но ни одна толковая идея не приходила мне на ум, кроме соображения, что нет на свете чиновника, более непреклонного. По-своему справедливый, консул выполнял свою нелегкую миссию, подобно римскому наместнику, который много веков назад на этой же самой земле принимал посланцев иных племен, но был не в силах понять их темные и, с его точки зрения, бессмысленные требования, касающиеся неведомых ему богов. В повестке, зарегистрированной и подписанной консулом, изменить дату было невозможно. Сам бог, если он существует, скорей изменил бы свой приговор или признал ложной свою безграничную мудрость. К тому же богу нечего опасаться, что он утратит ту каплю власти, благодаря которой он все еще владеет нашим суетным миром.

В подобных размышлениях о божественной личности я и провел все следующее утро.

Вдруг мой взгляд упал на группу людей, сидевших за столиком в кафе «Сурс». Это были Паульхен со своей подружкой, Аксельрот с худенькой девушкой, ради которой он бросил свою красавицу, сама брошенная красавица, толстяк, вернувшийся с Кубы, и жена толстяка. В тот день разрешали продажу алкогольных напитков, и все они пили аперитивы. Видно, они были вполне довольны своей компанией, и мое приветствие их

совсем не обрадовало, напротив, я, должно быть, явился для них неизбежным, но тягостным напоминанием о лагерной жизни.

– Как поживает твой друг Вайдель? – спросил Аксельрот. – В последний раз он произвел на меня тяжелое впечатление униженного, оскорбленного человека.

– Впечатление униженного, оскорбленного человека? Вайдель?

– Что ты на меня так смотришь? Тебе нечего обижаться, он действительно показался мне каким-то подавленным, когда я вчера говорил с ним.

– Ты с ним вчера говорил?

– Ну да, по телефону.

– По телефону? С Вайделем?

– Фу ты господи, я, кажется, спутал, извини. Ведь каждый день мне звонят сотни людей, я для всех здесь нечто вроде вице-консула. Все спрашивают моего совета. Ну, конечно, вчера мне звонил не твой Вайдель, а Майдлер. Вот уже пятнадцать лет, как я их вечно путаю, просто несчастье какое-то! А они к тому же грызутся, как кошка с собакой. Никогда не забуду, какую гримасу скорчил Вайдель, когда я в Париже по рассеянности поздравил его с премьерой фильма по сценарию Майдлера. Кстати, я встретил на этой неделе в «Мон Верту» его жену. Вот ее уж я ни с кем не спутаю. Правда, она выглядит несколько утомленной, но по-прежнему совершенно прелестна.

– Меня всегда удивляло, – сказал Паульхен, – как это Вайдель сумел жениться на такой женщине.

– Он, наверное, подцепил ее где-нибудь, когда она была еще совсем маленькой девочкой, – медленно проговорил Аксельрот, и его красивое лицо стало жестким. – Она, видно, была тогда в том возрасте, когда дети еще верят в деда Мороза. Он внушил ей всякую чепуху вроде того, что мужчина и женщина могут любить друг друга. – Аксельрот обернулся ко мне и добавил: – Передай ей, пожалуйста, от меня самый сердечный привет.

К своему великому удивлению и тревоге, я почувствовал, что образ Мари запечатлелся в его памяти почти таким, какой она была в действительности. Видно, голова того человека была так устроена, что четко фиксировала все, даже самые беглые мимолетные впечатления, которые затем описывал. Его мозг работал наподобие окуляров, которыми пользуются близорукие, полуслепые люди, или аппаратов, производящих снимки астральных тел, скрытых от нормального зрения туманом или другими временными помехами. Наверно, Аксельрот зарегистрировал в

своем мозгу немало самых невероятных и таинственных ситуаций; теперь очередь дошла до Мари, и это меня испугало. Но я сразу же стал напряженно думать, как можно, заставить этого человека помочь нам. Он, наверно, никогда не делал ничего, что не приносило бы ему выгоды, точь-в-точь как мой бедный, жалкий португалец. Но тот хоть раз совершил бескорыстный поступок, а от Аксельрота этого никогда не дождешься. Никогда! Он умеет только привораживать все новых и новых людей, а потом погружать их в безмерную пустоту своей души. Никогда не принесет он той жертвы, которая заполнила бы эту пропасть. Понимал ли он себя? Думаю, что нет. Судьба, которая внешне так щедро одарили его и дала ему такой блестящий ум, сыграла с ним злую шутку. В душевном отношении он был подобен амебе или водоросли. В этом смысле даже мой маленький, жалкий португалец давал ему сто очков вперед.

– Я сегодня же передам твой привет, но ты мог бы и другим путем выказать этой даме свое расположение. Ей сейчас нелегко приходится.

– Чего же ей не хватает? – спросил он с интересом.

– Транзитной визы. Правда, она назначена на прием к американскому консулу, но не на то число, которое надо. Необходимо изменить дату вызова, потому что пароход уходит раньше.

– Из Лиссабона? Двенадцатого? «Ньясса»? – спрашивал Аксельрот, все более оживляясь. – Я ведь тоже записан на этот пароход. Я как раз тоже решил смыться отсюда.

– Да, именно «Ньясса», – соврал я.

Видно, я слишком пристально взглянул на него, потому что лицо его вдруг утратило всякое выражение. Тогда я добавил:

– Конечно, она уедет, только если вовремя получит транзитную визу.

– Ну, это нехитро уладить, – сказал он. – У нас получилась бы прелестная компания. А если бы пароход попал в шторм, а потом захотели бы наказать виновного, то Вайделя выбросили бы за борт.

– Ты бы снова спутал его с Майдлером, – сострил Паульхен.

– Нет уж, будь покоен. В этой ситуации я бы их не спутал. Я выкинул бы того, кого надо. – И он добавил, просияв: – Правда, однажды я уже пытался, причем, заметьте, совершенно бескорыстно, бросить Вайделя на произвол судьбы. Но я потерпел фиаско. Мы оба добрались до Марселя. Наверно, и на этот раз он спасется – его заглотнет кит, и в китовом чреве он одновременно с нами доберется до места.

– Думаю, – сказал я, – что он доберется даже раньше нас. Но тем не менее его жене нужна транзитная виза. Ты ведь друг консула.

– Именно потому, что я друг консула, я не могу его тревожить такими

ничтожными просьбами.

– Ты ведь умный! – воскликнул я. – Ты всем нравишься – и мужчинам и женщинам. Если кто-нибудь и может здесь помочь, то только ты. Неужели никто и ничто не может заставить консула изменить число на повестке!

Аксельрот откинулся на спинку стула. С минуту он молчал, а затем сказал:

– В Марселе есть только один человек, который имеет влияние на консула. Как раз теперь он случайно здесь. Видимо, он тоже уедет на «Ньяссе». Он возглавляет комиссию по изучению последствий войны для мирного населения. Эта комиссия привезла продукты питания для французских детей. Великолепный человек! Он друг консула и вместе с тем как бы его духовный наставник. Консул всегда прислушивается к его словам. Его суждения являются для консула этической нормой.

– Этической нормой?

– Конечно, – сказал Аксельрот вполне серьезно. – Этической нормой. Он мог бы убедить консула изменить госпоже Вайдель дату вызова. Но он сделает это только в том случае, если сам убедится, что это необходимо. Имей в виду, он никогда ничего не делает против своей совести.

– Что же, будем надеяться, – сказал я, – что совесть подскажет ему просить консула выдать транзитную визу на трое суток раньше намеченного срока. И понадеемся также на то, что консул внемлет просьбе этого богоподобного господина. В Библии приводятся случаи...

Аксельрот холодно прервал меня:

– Не забывай, что речь идет об американском консуле.

Я испугался, что Аксельрот передумает, и поспешил сказать:

– Прости. Я во всем этом плохо разбираюсь. Тебе виднее.

Аксельрот вынул из кармана самопишущую ручку, от которой я не мог оторвать глаз, – сквозь прозрачную желтоватую пластмассу был виден уровень чернил. Он написал две записки, запечатал их в конверты и сказал:

– Передай, пожалуйста, оба эти конверта госпоже Вайдель. Пусть она держит меня в курсе своих дел. Легче всего меня застать дома утром, между восемью и девятью. Я встаю чуть свет.

Как только я остался один, я вскрыл конверт, предназначавшийся Мари. Она ничего не должна была знать об этой истории. Я все решил сделать сам. Почерк у Аксельрота был четкий. Недвусмысленным было и содержание письма: «Я узнал о Ваших трудностях. Постараюсь Вам помочь. Профессор Витакер примет Вас, если Вы предварительно передадите ему мое письмо. Сообщите мне о состоянии Ваших дел, не

откладывая».

Это письмо я порвал. На другом конверте был написан адрес профессора Витакера: «Отель «Сплендид». Я тотчас же отправился туда.

## II

Двое полицейских дежурили возле вертящихся дверей отеля «Сплендид». А справа и слева фланировали несколько здоровых парней с сигарами в зубах. Я выглядел более или менее прилично и поэтому беспрепятственно вошел в отель. В большом холле было тепло. Вернее, только пойдя туда, я вдруг осознал, как холодно было последние месяцы. Я передал портье письмо Аксельрота и, усевшись в кресло, принялся ждать ответа.

В нашем концлагере на берегу океана были собраны самые разные люди – всех нас объединяла только колючая проволока. Герои и жулики, врачи, писатели и рабочие, грязные и вшивые, жили там бок о бок с обтрепанными, зарабатывающими гроши шпиками. В этом большом и теплом холле, который казался намного больше из-за многочисленных зеркал на стенах, тоже собралась разношерстная публика, но все здесь были ухожены и отутюжены: господа из Виши и господа из немецкой комиссии, итальянские агенты, руководители Красного Креста, руководители большой американской, не знаю уж точно какой, комиссии; а по углам этого зеркального зала, под пальмами, стояли на виду у всех, а может быть, и прячась, самые элегантные, самые высокооплачиваемые на свете шпики и курили сигары самых дорогих марок.

Посыльный подошел ко мне и передал, что господин Витакер сможет принять меня только через час и поэтому просит быть настолько любезным и подождать здесь или зайти еще раз в назначенное время.

Итак, я остался ждать. Сперва меня забавляло то, что я видел. Но вскоре я начал скучать. Тепло меня тоже больше не радовало, я бы охотно снял свою куртку. В вечно нетопленных гостиничных номерах, кафе и приемных различных учреждений я стал своего рода амфибией. Я разглядывал людей, которые поднимались вверх или спускались вниз по лестнице, выходили из лифта и пересекали холл. Оживленные или чопорные, кивающие друг другу или высокомерно проходящие мимо, очень серьезные или улыбающиеся – все они с усердием играли те роли, которые избрали себе. Они с такой скрупулезной точностью изображали тот персонаж, за который сами себя принимали или за который хотели себя выдать, что казалось, на крыше сидит кто-то и дергает этих марионеток за ниточки. Чтобы хоть немного развеять скуку, я размышлял о том, кем может быть маленький американец с нежным лицом и огромной седой

шевелюрой. Он жаловался на что-то портье, который его смиренно выслушивал. Затем американец пошел по лестнице, вместо того чтобы подняться на лифте. Я подумал, что, видимо, он хотел немного подвигаться в перерыве между двумя заседаниями какой-то комиссии. За своей спиной я услышал неясные звуки немецкой речи. Я повернул кресло. В зале ресторана, который я видел сквозь стеклянную дверь, за столом, покрытым белой скатертью, сидела компания немцев. Одни были в темных костюмах, другие в форме. Сквозь зеркально-дымное марево я неясно различал свастики. Именно потому, что от вида свастик меня мороз продирает по коже, я не мог отвести от них глаз, подобно человеку, который, боясь пауков, всегда замечает их первым. Но здесь, в теплом холле на бульваре д'Атен, свастики внушали мне больший ужас, чем у меня на родине в дежурке каторжной тюрьмы или во время войны на солдатских мундирах. Я был не прав, что отнесся с презрением к беженцам, готовым в смертельном страхе броситься в море, когда по Марселю промчалась машина со свастикой. Видно, здесь, на бульваре д'Атен, она и остановилась, здесь вышли из нее те, что приехали для переговоров с другими хозяевами мира. Когда же переговоры закончатся и сделка состоится, то за колючей проволокой погибнут еще несколько тысяч человек и еще несколько тысяч будут валяться с раздробленными черепами на улицах различных городов.

Против меня на стене висели большие часы с позолоченными стрелками. В моем распоряжении оставалось еще двадцать минут. Потом мне предстояло подняться в апартаменты этого богоподобного господина. Я закрыл глаза. Если консул послушается этого человека, Мари вовремя получит транзитную визу. Ей придется уехать, а мне тоже придется во что бы то ни стало попасть на этот пароход. Мне придется покинуть землю, которую я люблю, и присоединиться к сонму теней, словно и я стал тенью – и все это только для того, чтобы не расстаться с Мари. Как она смогла заставить меня сделать то, чего я больше всего боялся! Стыд и раскаяние охватили меня. Ребенком я забывал о матери, когда ходил удить рыбу. А стоило только свистнуть плотогону, как я очертя (голову мчался к нему, забыв о своих удочках. Предложи он мне спуститься с плотами вниз по реке, я забыл бы свой родной город...

Да, видно, все всегда было для меня преходящим. Поэтому, пройдя огонь, и воду, и медные трубы, я до сих пор болтаюсь целый и невредимый по белу свету. Даже та вспышка гнева у меня на родине, которая решила мою судьбу, тоже была преходящей. В дальнейшем я не оказался на высоте своего гнева, я бродил по свету и растерял свой гнев. А ведь мне нравится

лишь то, что постоянно, только те люди, которые не похожи на меня.

В моем сердце были страх и печаль, когда я стоял у двери человека, считавшегося совестью американского консула. Я думал о том, как же должен выглядеть этот человек. Но я снова очутился в приемной и снова должен был ждать.

Наконец передо мной распахнулась последняя дверь. Невысокий, господин, сидевший за письменным столом, оказался тем большеголовым американцем с нежным лицом, который в холле на что-то жаловался портье. Его лицо было непропорционально маленьким для такой большой головы.

Он выглядел несколько утомленным. Он впился в меня глазами, смерил своим острым взглядом с головы до ног. На столе лежало рекомендательное письмо Аксельрота, которое я передал через портье. Он читал его с необычайным вниманием, словно оно могло разъяснить ему все обстоятельства и подсказать правильное решение. Затем пристально посмотрел мне в глаза, так пристально, словно уколол меня взглядом.

– В письме говорится не о вас. Почему вы пришли вместо дамы, о которой идет речь? – спросил он.

Я почувствовал, что этот человек, пожалуй, еще хитрее мексиканского консула.

– Простите меня, пожалуйста, что я пришел вместо нее. Я ее единственная опора.

Он вздохнул и попросил показать ему все документы. Он изучил их с не меньшим вниманием, чем письмо. Было ясно, что этот человек способен ознакомиться с тысячами таких бумажек, не исчерпав своего внимания. Я поразился тому, что он, именно он, постиг всю правду из этой пачки документов, которые были не менее сухи, чем тот терновый куст, откуда кому-то однажды явился всевышний. Я положил на стол и свою транзитную визу с красной полоской, и повестку Мари.

– Вы хотите уехать с этой женщиной на одном пароходе? – спросил он.

– Больше всего на свете! – воскликнул я.

Он наморщил лоб и спросил:

– Почему эта женщина не носит вашего имени?

Его взгляд был таким суровым, а внимание таким неподдельным, что я мог ему ответить только правду.

– Не по моей вине. Этому препятствовали обстоятельства.

– Чем вы намерены заняться в дальнейшем? – спросил он. – Каковы ваши планы, над чем вы предполагаете работать?

Его глаза впились в меня как клещи.

– Постараюсь заняться каким-нибудь ремеслом, – ответил я.

– Как, вы больше не хотите ничего писать? – воскликнул он с легким удивлением и даже с ноткой сочувствия.

Под его строгим взглядом, который не допускал лжи, из меня вдруг вырвалась вся правда:

– Я? Нет. Я вам сейчас скажу начистоту, что я об этом думаю. Когда я был мальчишкой и учился в школе, мы часто ходили на экскурсии. Эти экскурсии были сами по себе очень интересными. Но, к сожалению, на следующий день учитель заставлял нас писать сочинение на тему «Наша экскурсия». После каникул мы всегда писали сочинение на тему «Как я провел каникулы». И даже после рождества, после святого праздника рождества Христова мы писали сочинение на тему «Рождество». И постепенно мне стало казаться, что школьные экскурсии, каникулы, рождество существуют лишь для того, чтобы писать школьные сочинения. Так же и писатели, которые были в лагере вместе со мной и вместе со мной бежали, все они пережили самые страшные и самые удивительные события нашей жизни – лагерь, войну, бегство, – словно лишь для того, чтобы потом их описать.

Американец пометил себе что-то и сказал:

– Это тяжкое признание для такого человека, как вы. – В голосе его звучало что-то похожее на доброту. – За какое же ремесло вы хотите взяться?

– У меня есть способности к точной механике.

– Вы еще молоды, – сказал он в ответ, – вы еще можете изменить свою жизнь. Я желаю вам счастья.

– Я не могу быть счастлив без нее! – воскликнул я. – Ах, если бы вы действительно могли помочь. Ведь ваше суждение является этической нормой.

Он рассмеялся и сказал:

– В редких случаях. С божьей помощью. Возьмите, пожалуйста, все эти документы, оставьте мне только повестку. Я увижу консула нынче вечером на заседании смешанной комиссии. И прошу вас, не волнуйтесь.

### III

Я поднялся на гору, где расположен форт св. Иоанна, чтобы побыть одному и посмотреть на море. На повороте улицы, там, где ветер дул сильнее всего, я встретил Мари. Ветер гнал ее прямо на меня. Я обнял ее и даже по своей глупости не удивился, что она с такой легкостью пошла со мной, словно нас и в самом деле соединил только порыв ветра на повороте улицы. Я пригласил ее в пиццерию, и мы повернули назад к Старой гавани.

– Мне хотелось побыть одной, – сказала она, – и посмотреть на море.

Мы сели за столик возле самой печи. В отблесках огня ее лицо казалось пылающим и беспокойным. Я представил себе, каким оно может быть, озаренное внезапными радостями и желаниями. Но как всегда, когда я оставался с ней с глазу на глаз, меня пугало, что настал момент, когда я должен ей все рассказать. Принесли розе, мы выпили. Мне сразу стало легче, испуг уже не так угнетал меня. Мари теребила мой рукав.

– Значит, консул изменил число на моей повестке? – спросила она. – Если ты всюду находишь друзей, которые помогают оформлять мои документы, почему ты не попросишь их помочь тебе? Я не могу поверить, что мы расстанемся... Погляди-ка на меня... Да, я уверена, ты вдруг появишься на пароходе или я встречу тебя в каком-нибудь порту, как сегодня, на каком-нибудь повороте улицы, в чужом городе...

– Зачем? – спросил я и в упор взглянул на нее, но отсветы пламени исказили выражение ее лица.

– Я могла бы бесконечно долго сидеть у этой печи, слушать, как месят тесто, глядеть на огонь – до самой старости.

– В таком случае приходится только удивляться, – возразил я, – почему ты не остаешься здесь? Тогда бы мне не пришлось ехать за тобой, внезапно появляться на пароходе или искать тебя в чужом городе. Мы могли бы сидеть здесь вместе так часто и так долго, как нам этого захочется.

Она печально посмотрела на меня.

– Ты же знаешь, что я должна уехать. Мне кажется, что ты иногда совсем не слушаешь, что я говорю, или ни в грош не ставишь мои слова.

«Она права, – подумал я. – Она должна уехать. Правда, высказанная теперь, запутала бы все еще больше. Пусть уйдет пароход, пусть останется позади эта заколдованная страна, добрые и злые воспоминания, залатанная жизнь, могила и все эти дурацкие мысли насчет вины и раскаяния».

– Завтра я иду на прием к консулу. Мне страшно. Я молю бога о

транзитной визе.

– Странная молитва, Мари. Прежде люди молили богов о попутном ветре. Неужели ты не можешь посидеть со мной хоть минутку, не думая об отъезде?

– Ты тоже должен думать об отъезде, – сказала Мари, – именно ты.

Ее слова напомнили мне старика дирижера, который говорил мне примерно то же в мой первый вечер в Марселе. И вдруг в огне печи, под чмокание замешиваемого теста мне померещилось его обтянутое кожей лицо с глубокими, словно бездонными глазами.

Мари попросила принести нам хоть кусочек пиццы без хлебных талонов, но официант был неумолим – он принес только вино.

## IV

Вечером коридор перед моим номером был заставлен множеством чемоданов, которые охраняли доги в новых ошейниках. Их хозяйка принесла мне в наследство остатки сахара, полученного по карточкам, несколько брикетов сухого спирта, немного эрзац-кофе, два яйца и кусочек шоколада. Я обрадовался, представив себе глаза Клодин, когда я завтра принесу ей эти дары. Утром моя соседка отбывала, наконец, в Лиссабон. Для догов тоже были заказаны места в собачнике парохода «Ньясса».

Доги весело лаяли, словно радовались отъезду. Когда я встал на следующее утро, то увидел, что мой коридор снова забит чьим-то багажом. В освободившийся номер въезжала пожилая супружеская пара, прибывшая в Марсель утренним пароходом. И муж и жена были маленькие, круглые, у обоих были седые растрепанные волосы и, несмотря на возраст, что-то детское в манере поведения. Судьба швыряла этих двух стариков со всеми их тюками и баульчиками по непонятному миру, но ей так и не удалось разнять их морщинистые руки. Старуха тотчас же зашла ко мне взять штопор, чтобы раскупорить бутылочку денатурата. Она сразу заметила, что я живу бобылем, и пригласила меня выпить с ними чашечку жидкого кофе, вскипяченного на спиртовке. Как только мой сосед легионер появился на пороге их комнаты – он зашел туда за мной, не найдя меня в моем номере, – ему тоже предложили кофе. Кофе был ненастоящий, из сухого гороха, вместо сахара в него клали сахарин, даже денатурат был вонючий эрзац-денатурат. Но пламя спиртовки наполнило наши опустошенные сердца теплом эрзац-родины и эрзац-очага. В ответ на наши вопросы старики рассказали нам, что едут в Колумбию. Они давно уже бежали из Германии, сразу же после того, как фашисты подожгли Дом профсоюза, в котором состоял старик. Их старший сын служил в немецкой армии, он пропал без вести, а младший когда-то сделал что-то скверное, родители выгнали его из дому, и он уехал из Германии. И вот теперь этот непутевый сын принимает их в свой дом в Колумбии. Мы помогли новым соседям расставить в номере их багаж. Колумбийское консульство открывалось в полдень. Старики уселись рядышком у окна. Он стал глядеть на улицу Провидения, а она принялась штопать его носки.

А мы с легионером – нам обоим надо было убить время, – мы пошли вниз по Каннебьер, из кафе в кафе, а затем свернули на улицу Сен-Фереоль. Чтобы доставить ему удовольствие, я передал Надин в «Дам де Пари» записочку и просил ее спуститься к нам. Как побледнел мой друг, как испугался он, когда она и в самом деле подседа к нашему столику. Она говорила с ним оживленно и приветливо, она разглядывала его ордена и попросила их все назвать. Он был совершенно смущен и растерян. Я видел, он упускает момент, не находит нужных слов. Он не мог сразу освоиться с мыслью, что та, которая казалась ему такой недостижимой, сидит за его столиком и улыбается ему своим большим ртом.

Затем мы отправились в бразильское консульство. Канцелярия была пуста, как и в прошлый раз, а перед барьером опять столпилось, вздыхая и сетуя, множество людей. Через некоторое время из соседнего помещения вышел все тот же молодой чиновник, но на этот раз он не дошел до барьера, а остановился посреди канцелярии – он был уже ученый. Он боялся, что какой-нибудь из документов на получение визы, которыми отчаявшиеся люди начали размахивать при его появлении, вдруг случайно прилипнет к нему. Молодой чиновник хотел тут же удалиться, но мой друг, озверев, ударом ноги распахнул дверцу барьера, одним прыжком оказался в канцелярии и схватил чиновника за плечо. Я метнулся за легионером, и тогда вся толпа ожидающих ринулась за барьер в канцелярию и принялась кричать прямо в уши молодому чиновнику:

- Мы должны уехать на этом пароходе!
- Мы не можем больше ждать!
- Нам нужно попасть на этот пароход!

Мой друг продолжал крепко держать чиновника, который совершенно неожиданно начал громко ругаться по-португальски. Вдруг из соседней комнаты выскочили другие чиновники, о существовании которых никто даже не подозревал. Они оттеснили толпу назад, за барьер, всех, кроме моего друга, который не отпускал свою жертву. И тогда застучали пишущие машинки, и у всех ожидавших собрали заявления. Моему другу сунули в руки какую-то бумажку и сказали, что он должен немедленно поехать к консульскому врачу и получить справку о том, что у него нет никакой болезни глаз. Ему старательно втолковали, что он должен отправиться туда тотчас же, иначе он врача не застанет, а без этой справки ему не дадут визы.

Так шаг за шагом его оттеснили за барьер и заставили покинуть консульство. Когда я через минуту вернулся назад, потому что забыл на барьере свою шапку, то увидел, что буря, поднятая моим другом, уже улеглась, за письменным столом никого не было, все чиновники снова удалились во внутренние помещения, а ожидающие вздыхали и сетовали, ибо собранные у них только что заявления так и остались лежать пачкой на барьере.

Как скверно сложились дела у легионера! Кто-кто, а уж он-то заслужил лучшего. День спустя его демобилизовали. Он спрятал свои ордена в картонную коробочку, а коробочку сунул на дно чемодана. Затем он пригласил Надин обедать. Он вернулся домой довольно скоро и был невесел. Он рассказал мне, что улыбка ее была холодной, а оживленность смахивала на вежливость. Она любезно отклонила его предложение о новой встрече.

– Я всегда недоумевал, почему Надин должна достаться именно мне. Быть может, ей кажется неразумным связываться со мной, поскольку я вот-вот уезжаю. А ведь я, не задумываясь, увез бы ее с собой.

Бразильский пароход отплывал в конце недели. Мой друг собрал – уже все нужные, документы. Ему назначили день, когда он должен был получить визу. Билет он уже оплатил. Я проводил его до консульства. Прием начинался только через несколько часов, но вся лестница была уже запружена народом, хвост очереди выходил на улицу. Время от времени какой-нибудь бразилец высовывался из окна, смотрел вниз, затем раскрывал рот, но, не издав ни звука, снова закрывал его, словно изумление лишало его дара речи.

– Они не откроют, – сказал кто-то.

– Они обязаны открыть, – возразил другой. – Ведь на днях отплывает пароход.

– Никто не может их заставить нам открыть.

– Мы их заставим! – воскликнул третий.

– Таким путем мы визы все равно не получим. На этот раз мой друг стоял в очереди тихо и только морщил лоб. Окно консульства еще раз открылось. Красивая девушка в зеленом платье посмотрела вниз и расхохоталась. Беженцы ответили ей воплями возмущения. Когда я возвращался домой, я представил себе, что они будут все ждать и ждать, ждать долгие дни уже после того, как уйдет пароход – пустой пароход в пустую страну.

Вечером в мой номер постучал легионер.

– Меня не пускают в Бразилию! – закричал он.

– Что, у тебя больные глаза?

– Нет. У меня были все бумаги, даже свидетельство от глазного врача. И даже консульство в конце концов открыли. И мне даже удалось проникнуть в кабинет консула. Но как раз в этот момент он получил телеграмму: необходимо представлять свидетельство об арийском происхождении. Теперь мне придется по французским законам вернуться в тот департамент, из которого я ушел в армию. Раз уж так обстоит дело, то я решил уехать сегодня же. Я хочу вернуться в ту деревню, где жил до ареста отца. Тогда я его вызволил из тюрьмы, а потом он умер. А теперь я в этой деревне буду дожидаться получения визы. Мне осточертел Марсель. Я хочу покоя.

Я проводил его на ночной поезд. С вокзальной площади, расположенной на холме, я посмотрел на большой город, слабо освещенный из-за опасности воздушных налетов. Вот уже тысячи лет, как он является прибежищем таких, как я, их последним приютом на этом полушарии. Я смотрел вниз с холма: город неторопливо спускался к морю, и белые стены домов, обращенных к югу, казались мне первыми вестниками африканского мира. Но сердце этого города, без сомнения, билось в едином ритме с Европой, и если бы оно когда-нибудь остановилось, то беженцы, отплывшие из Марселя и рассеянные по всему свету, должны были бы умереть, подобно тем удивительным растениям, которые гибнут в один и тот же день, на какую бы почву их ни пересадили, потому что они – побеги одного и того же корня.

В отель «Провидение» я вернулся на рассвете. Номер, где жил легионер, был уже занят. Я плохо спал – новые жильцы все время передвигали чемоданы. Утром они постучались ко мне и попросили немного денатурата для спиртовки. Это была молодая пара. Жена, видно, прежде была тоненькой и изящной, но теперь она вся как-то отяжелела, стала неуклюжей, даже лицо у нее оплыло – она ждала ребенка. Ее муж, рослый, обаятельный парень, ловко бежавший из лагеря, был в свое время офицером в республиканской Испании, и ему грозила выдача немецким властям. Он должен немедленно уехать. Поэтому они решили расстаться. Он попросил меня помочь его жене. Я смотрел на ее спокойное, теперь уже некрасивое лицо. На нем не отражались ни отчаяние, ни страх остаться одной, ни даже ее мужество, которому не было свидетеля, кроме меня, ставшего теперь ее единственной опорой, хотя мы познакомились всего полчаса назад, когда они обратились ко мне за денатуратом.

Я ждал Мари в кафе «Сен-Фереоль». Было всего десять часов утра, но кафе уже заполнилось людьми, которые сидели здесь, чтобы убить время до открытия префектуры или американского консульства. Многих из них я знал, но появилось и немало новых лиц. Людской поток, стекавший в этот единственный в стране порт, над которым еще реял французский флаг, не прекращался. Людей, желавших покинуть это полушарие, хватило бы, чтобы еженедельно заполнять все корабли какого-нибудь гигантского флота. Однако беженцам не удавалось заполнить даже самый захудалый пароходишко. Под конвоем полицейского по улице прошла та женщина из лагеря Бомпар, которую я как-то встретил в Бюро путешествий у корсиканца. Теперь она уже была без чулок, меховая горжетка, которую она надела, чтобы выглядеть в этот день понаряднее, заскорузла и была вся изъедена молью. Вдруг полицейский схватил ее за локоть, потому что она пошатнулась. Видно, только что рухнула ее последняя дурацкая надежда. Завтра ее, наверно, переправят из лагеря Бомпар в лагерь постоянного заключения где-нибудь в глубине страны, и там она быстро погибнет. В древние: времена было лучше – тогда таких пленниц, можно было выкупить. Конечно, ей мог бы попасться плохой хозяин, но мог бы – и добрый. Она работала бы у него по дому, нянчила бы детей, ходила бы за птицей. И какой бы она ни была уродливой и опустившейся, у нее все же оставалась хоть капля надежды.

Мимо окна прошли трое чехов – солдат трудовой армии. Они были без оружия и без погон. В эту минуту в кафе вбежала Мари. В руках она держала транзитную визу. Я еще издали увидел красную полосу.

Она подошла ко мне и сказала:

– Гляди, они и в самом деле выдали мне визу.

Мари хотела заказать аперитив, чтобы отпраздновать получение визы, но в этот день, к сожалению, была запрещена продажа алкогольных напитков, лимонного сока тоже не подавали, не было и настоящего чая. Мари взяла меня за руку, как иногда прежде, и тихонько погладила мою щеку моими пальцами. Я спросил ее, довольна ли она. Одна ее рука лежала на моей, в другой она сжимала транзитную визу.

– Ты снова наколдовал, – сказала она. – Ты так же хорошо колдуешь, как мой друг лечит. То, чего не умеет один из вас, умеет другой.

– Боюсь, Мари, что на этом мое колдовство кончилось. Чудес больше

не будет, они больше не нужны. Теперь осталось только зайти в префектуру, чтобы получить разрешение на выезд, и тогда уже будет окончательно все.

– Нет, не все. Я трижды ходила в префектуру, и все напрасно. Мне завтра велели прийти туда еще раз. Они должны навести справки в каких-то досье. Все дело в том, получил ли мой муж разрешение на выезд или нет. Если получил, то и мне его тут же выдадут. Я думаю, он оформил разрешение сразу же после получения транзитной визы. Завтра я наконец все узнаю...

Ее рука, которая все еще лежала на моей, похолодела от волнения. «Я должен немедленно пойти к Надин, – быстро соображал я в отчаянии. – Пусть она сегодня же сходит к своей подруге. Ведь она говорила мне той ночью, что у нее есть подруга, которая работает в префектуре. До завтрашнего утра это необходимо уладить».

– Я все думаю, – сказала вдруг Мари, – как им там? Так же, как здесь? Или совсем иначе?

– Где там, Мари? Что ты хочешь сказать?

Она уронила на стол транзитную визу и вытянула руку прямо перед собой.

– Там, там...

– Но где же там, Мари?

– Там... когда все кончится. В самом ли деле наступит тогда свобода, как думает мой друг? Встретимся ли мы там? А если и встретимся, не станем ли мы к тому времени настолько другими, что никакой встречи и не получится, а будет то, о чем мы здесь, на этой земле, лишь тщетно мечтали? Новое начало. Новая встреча с любимым. Как ты думаешь?

– Дорогая моя Мари, в этом городе мне удалось уладить то, что, казалось, невозможно уладить. Я знаю здесь все ходы и выходы. Я неплохо разбираюсь в механике земных дел, хотя они и весьма путаные. Здесь у меня немало знакомств. Но там... про то я ничего не знаю.

– Он, наверно, уже там... Он, наверно, думал про меня так же, как и я яро него. Он наверняка считал, что я уехала раньше его. Может ли он знать, когда я приеду? Каким пароходом? Будет ли он меня ждать? Сейчас мне кажется, что, когда мы приедем, он будет стоять на пристани и встречать меня.

– Ах, ты вот о чем! Ты имеешь в виду страну, куда тебе выдали визу? Об этом я тоже еще мало думал, но мне кажется, что там все должно быть иным, чем здесь, – другой воздух, другие фрукты, другой язык. И несмотря на это, все останется таким же. Живые будут живыми, как и до сих пор, а

мертвые будут мертвыми.

– Ты думаешь, его не будет на пристани? – медленно проговорила она и взглянула на меня с недоверием. – Он не будет ждать меня с каждым пароходом?

– Там, Мари? Нет, не думаю.

И вдруг я увидел в дверях кафе Аксельрота. Вместе с ним были Паульхен, подруга Паульхена, подруга Аксельрота, толстяк с женой, вернувшиеся с Кубы. Я схватил Мари за руку, в которой она сжимала свою визу, и потащил ее через другую дверь на улицу. Мы забежали в первое попавшееся кафе.

– В «Сен-Фереоль» вошел человек, – объяснил я ей, – с которым я не хочу встречаться. Они тебя не должен видеть. Я его не выношу.

Мари рассмеялась и спросила:

– Кто же он? В чем он провинился?

– Скверный парень. Предатель.

– Предатель? – переспросила Мари, все еще смеясь. – Кого же он предал? Тебя? Или твоего друга? Или еще кого-нибудь?

Вдруг она перестала смеяться и посмотрела на меня в упор.

– Что с тобой? – спросила она. – Скажи, что с тобой?

Кого он предал? Когда? Почему?

– Перестань же наконец! – крикнул я. – Неужели ты не можешь ради меня перейти из одного кафе в другое, не спрашивая при этом сто раз «почему»?

Она опустила голову и замолчала. Я почти с отчаянием ждал, что она снова начнет спрашивать, пристанет ко мне, замучает своими вопросами и заставит сказать ей всю правду.

## VII

Я отправился в «Дам де Пари» и нашел секцию, где работала Надин. Мое появление очень удивило ее. В двух шагах от нас стояла заведующая секцией. Еле заметным жестом Надин попросила меня подождать. Она как раз показывала шляпку одной даме.

Как приятно было находиться здесь, в этом месте, столь непохожем на все те места, где я обычно проводил время. Заведующая секцией хотела сама обслужить меня, но я сказал, что подожду Надин, потому что моя жена – ее постоянная клиентка. Когда Надин снимала с полки очередную шляпку и сама примеряла ее, на лице покупательницы появлялось выражение робкой надежды, которое сменялось гримасой стыда и разочарования, как только шляпка оказывалась у нее на голове. Так на моих глазах изящные шляпки превращались в колпаки гномов. После того как Надин, примерив с дюжину шляп, показала чуть насмешливой, но вполне вежливой улыбкой свое полное превосходство над покупательницей, та сделала наконец свой выбор, остановившись на широкополой, с остроконечной тульей шляпе цвета ржавчины. Шляпа эта и в самом деле шла ей больше других, в чем она могла убедиться, глядя на себя в зеркало, но зато решительно не вязалась с ее фигурой.

– Я тоже хочу купить шляпу, – сказал я Надин, потому что заведующая не уходила.

Надин стала показывать шляпы.

– Ты должна, – сказал я, как только заведующая немножко отошла в сторону, – пожертвовать мне свой обеденный перерыв. Ты должна пойти в префектуру. Я надеюсь, что там еще работает твоя подруга, о которой ты говорила мне тогда ночью...

– Ах, Розали! Она мне даже кузина. Зачем она тебе понадобилась? Ты хочешь уехать?...

Я молчал.

– Она тебе нужна, чтобы помочь этой женщине, которая причиняет тебе одни огорчения? – В ее голосе звучало легкое пренебрежение. – Хорошо, я все сделаю, чтобы она поскорее уехала.

Надин отошла к своим полкам, крутя на указательном пальце круглую детскую шапочку, очень похожую, насколько я помню, на ту старую, помятую шляпку, которую Мари никогда не надевала, а только таскала в руках.

– Ты дашь мне сейчас адрес этой Розали. Я сам пойду к ней домой и переговорю с ней.

Заведующая секцией снова приблизилась к нам. Я взял шляпку и заплатил. На чеке Надин написала мне адрес Розали.

Я застал ее за завтраком. От запаха ухи с чесноком и петрушкой у меня слюнки потекли. Розали сидела за столом со своей матерью, толстой тупой женщиной, – такой, видно, станет и Розали через десяток лет. Розали была довольно полная, девица; ее блестящие, черные, навывкате глаза казались огромными, потому что были подведены синей тушью. Своим видом она напоминала ту собаку из сказки, у которой глаза были как мельничные колеса. К сожалению, она угостила меня не ухой, а только стаканом вина. Она ела быстро, с явным удовольствием. Мать подавала ей. Они закончили завтрак крохотной чашечкой настоящего кофе.

Я рассказал ей суть моего дела и разложил на столе все документы. Она вытерла рот и, опершись грудью о стол, принялась перебирать бумаги своими короткими, толстыми пальцами.

– Вы можете трижды быть другом Надин, но ради вас я не стану рисковать своим местом.

– Вы же видите, все мои документы в порядке, есть и виза, и транзитная виза. Мне только нужно, во что бы то ни стало нужно получить завтра разрешение на выезд. Я отблагодарю вас за труды.

– Вы напрасно думаете, что я такая же, как Надин. Вознаграждением за мои труды может быть только сознание, что я помогла человеку, которому угрожала опасность. Я с удивлением посмотрел на нее. Значит, природа надела на нее маску пучеглазой толстухи, скрывавшую ее истинное лицо – строгое, доброе и мужественное. Мне стало стыдно, что я собирался ее подкупить и думал только о том, как бы это половчее сделать.

– Почему вам это необходимо именно завтра утром? – спросила она.

– Завтра утром прекращается запись на пароход, а без разрешения на выезд меня не запишут в окончательный список.

– Вы ведь все равно еще не внесли налоговый сбор.

– Мне достаточно будет предъявить в пароходстве справку, что мне выдадут разрешение на выезд, как только я внесу деньги.

Розами давно уже перестала удивляться фокусам пароходных компаний, поэтому она только спросила:

– Вы твердо решили уехать с этим пароходом?

– Да, твердо.

Она задумалась, подперев голову своими пухлыми кулачками.

На столе перед ней были разложены мои документы. Она была похожа

на гадалку, читающую по картам мою судьбу.

– Вот ваше удостоверение беженца. Вы покинули Саарскую область и поселились во французской деревне. В таком случае вам нужно разрешение нашего правительства на то, чтобы покинуть Францию. Судя по этим бумагам, вы по рождению немец. А это значит, что вам нужно также разрешение немецкой комиссии. Подождите минуточку, я достаточно хорошо разбираюсь в документах такого рода, чтобы сказать, фальшивые они или нет. Скорее всего, фальшивые. Минуточку... Только не волнуйтесь. Каждый из документов как будто настоящий, и все же все вместе они не внушают доверия. Я пока не могу вам точно сказать, почему мне так кажется. Для этого мне надо было бы изучить их получше. А мне сейчас неохота этим заниматься. Но на один вопрос вы все же должны мне ответить. Вы ведь требуете от меня, чтобы я ради вас рисковала. За это я могу потребовать от вас некоторой откровенности. Рискните честно ответить на один вопрос, который интересует меня лично. За что вас преследуют немцы?

Я был поражен ее вопросом. Никто за последние годы не проявлял ни малейшего интереса к моей старой, давно пережитой истории. Только эта девушка, которой в префектуре ежедневно рассказывают сотни подобных историй, продолжала их выслушивать с вниманием и со своего рода глубоким уважением.

– Я бежал из концентрационного лагеря, – сказал я, – и переплыл Рейн. Она взглянула на меня, и мне показалось, что я увидел ее истинное, строгое лицо.

– Я сделаю все, что смогу.

Мне было очень стыдно. Впервые здесь человек помогал мне – тому, кем я был на самом деле, и все-таки эта помощь предназначалась не мне. Я схватил ее маленькую пухлую руку и сказал:

– У меня к вам еще одна просьба. Если кто-нибудь сегодня или завтра спросит вас обо мне, если кто-нибудь захочет узнать, уехал ли я уже или только собираюсь уехать, прошу вас, не говорите ничего, не дайте себя разжалобить. Скройте, что я был сегодня у вас... Поймите меня, никто не должен знать, что я уехал.

## VIII

Впервые мной овладел страх, жестокий страх при мысли, что я не смогу уехать. Многие из тех, кто был дорог моему сердцу, уже покинули Марсель. Прежде я считал, что имею большое преимущество перед ними, но это чувство оказалось обманчивым. Теперь мы сравнялись. Я видел лицо Мари, и мне казалось, что оно улетает от меня, делается все меньше и меньше, все бледнеет, белеет и превращается наконец в снежинку. Как бы я поступил, если бы мне и в самом деле предстоял выбор: уехать с последним пароходом или навсегда остаться здесь? Я больше не видел вокруг себя домов, в которых жили марсельцы. Не видел дыма бесчисленных труб. Не видел рабочих с фабрик и мельниц. Не видел рыбаков, парикмахеров и пекарей. Я видел только самого себя, словно я жил на острове посреди океана или на маленькой звездочке где-то далеко во вселенной. Я был там один на один с огромным черным четырехклевшевым крабом – свастикой.

Я бросился со всех ног в Бюро путешествий, словно это был храм, в котором находили убежище люди, спасавшиеся от фурий. Корсиканец сразу же заметил меня и повернулся ко мне, хотя за барьером стояла толпа беженцев, с нетерпением ожидавших, когда же наконец очередь дойдет и до них.

– Он в Арабском кафе или на Портовой набережной...

– Португалец мне больше не нужен, – воскликнул я, – мне нужны вы. Я тоже хочу уехать!

Он взглянул на меня с изумлением, мои слова его явно позабавили.

– В таком случае вам придется стать в очередь.

Я запасся терпением и в течение нескольких часов кряду слушал, как люди молили корсиканца, грозили ему, унижались перед ним, совали ему взятки, как хрустели стиснутые в волнении пальцы. Но в тот день ничто не задевало моего сердца. Наконец я подошел к барьеру. Корсиканец, не переставая зевать и ковырять карандашом в ухе, достал мое досье.

– О, вам еще долго ждать, очень долго. Я смогу предоставить вам место на пароходе компании «Америкен-экспорт» не раньше, чем через четыре месяца.

– Я хочу уехать на этой неделе пароходом, идущим на Мартинику.

– А на какие средства? Ведь ваши деньги лежат в лиссабонском банке. Пока их вам переведут, этот пароход успеет десять раз уйти. К тому же у

вас будут уже не доллары, а эти дурацкие франки. У вас окажется жалкая сумма, ее не хватит, чтобы добраться до Лиссабона. Зачем вам все это надо?

– Вы должны дать мне займы под залог моих лиссабонских денег, которые придут в Марсель после моего отъезда. Мне ведь нужна только небольшая часть этой суммы, а все остальное будет ваше.

Он посмотрел на меня, и от его липкого взгляда у меня снова возникло желание вытереть лицо. В возбуждении я забарабанил кулаками по барьеру. Он ухмыльнулся и пожал плечами.

– Нет. Я уже однажды одалживал вот так деньги. И ни к чему хорошему это не привело. Управление порта не пустило этих людей на пароход. Всю семью арестовали и разослали по разным лагерям – кого в Кюре, кого в Риекрос, кого в Аржелес. Деньги у них отобрали. Я и сейчас получаю от них письма из трех концентрационных лагерей. Они проклинают меня, словно я повинен в их несчастьях. С тех пор я зарекся делать что-либо подобное.

– Да поймите же вы меня наконец! – крикнул я, окончательно потеряв самообладание. – Я должен уехать этим пароходом! Быть может, он последний.

Корсиканец почесал карандашом другое ухо и рассмеялся:

– Последний? Возможно. Ну и что же? Почему вы, именно вы должны оказаться на его борту? Ведь вы останетесь здесь не один, а в многочисленном обществе, вместе со всем населением этого полушария. Я рядовой служащий самого обычного Бюро путешествий. Я записал вас в очередь на пароход. Но это еще не значит, что я взял тем самым на себя обязательство обеспечить вам выезд. Лицо мое стало, видимо, таким страшным, что он отступил на шаг.

– А кроме того, отправиться на Мартинику на этой посудине?... Что за безумие! Вам такой пароход не годится. Не судно, а старая галоша. Разве на таком доберешься до места?

Корсиканец поставил мое досье на полку и перестал мной заниматься.

Придя домой, я готов был от бешенства биться головой о стенку. В ту минуту я мог бы ограбить человека, чтобы раздобыть себе денег на дорогу. Я никогда не верил до конца, что Мари уедет, но теперь ее отъезд был делом решенным. У меня была справка о том, что на моем текущем счету в португальском банке лежит изрядная сумма. Быть может, мне все-таки кто-нибудь одолжит деньги? Но уже спустилась ночь, и все двери были заперты.

## Глава десятая

Я отправился в «Брюлер де Лу». Мне хотелось выпить, но это был безалкогольный день. Я курил и размышлял. То меня вдруг охватывал страх, что пароход, на котором уезжает Мари, – последний, то во мне рождалась необъяснимая, ни на чем не основанная вера, что все как-нибудь уладится. Как? Почему? На эти вопросы я не мог ответить.

Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Возле моего столика стоял врач. С минуту он задумчиво смотрел на меня, потом подсел ко мне, хотя я ему этого не предлагал.

– Я вас повсюду искал, – сказал он.

– Меня? Что-нибудь случилось?

– Да ничего особенного, – ответил он. Но по выражению его глаз я понял, что на этот раз что-то случилось. – Мари пришла из префектуры и стала укладывать вещи. Трижды посылала она меня в контору «Транспор маритим», чтобы я проверил, в самом ли деле пароход уходит в назначенный день, не задержит ли его что-нибудь, обеспечены ли мы местами. В той же мере, в какой она до сих пор не могла решиться уехать, она была теперь одержима идеей отъезда. Она получила разрешение на выезд. И все же мне кажется, что в префектуре что-то произошло.

– Что там могло произойти? – спросил я, скрывая свой испуг. – Она получила нужную бумажку, и к тому же без всякой задержки.

– В том-то и дело. Мари узнала там, что ее муж тоже только что получил разрешение на выезд. Видно, она очень настойчиво расспрашивала. Четкого ответа она все же не добилась – она бы мне это рассказала, – но в полуулыбке, в каком-то неясном намеке тамошних служащих она, вероятно, почерпнула новую надежду. Возможно, все это ей только показалось. Возможно, это просто ошибка. Но так или иначе Мари прилетела домой и принялась бешено готовиться к отъезду, словно там, за океаном, ее ждали в определенный день и час.

– Ваше желание исполнилось, – сказал я, – она уезжает. Может быть, вас огорчает причина ее отъезда? Но вы можете утешиться – вряд ли ей удастся разыскать на целом континенте человека, которого невозможно было найти в Марселе.

Он поглядел на меня чуть пристальнее, помолчал немного, потом сказал:

– Вы заблуждаетесь. Но вам ничего другого не остается, как

заблуждаться. По какой бы причине Мари ни уезжала, я от всего сердца рад ее отъезду. Я совершенно уверен, что она успокоится, да, успокоится и утешится, как только этот пароход отчалит наконец от берега Франции. Очутиться в открытом море, оставить эту страну, раз и навсегда покончить со своим прошлым – все это так или иначе должно подействовать на нее исцеляюще. Почему бы она ни уезжала, рано или поздно она перестанет искать того, кто вовсе не хочет, чтобы его нашли, рано или поздно она бросит разыскивать человека, у которого нет, очевидно, иного желания, кроме как остаться навсегда в безызвестности и покое.

Он сказал в точности то, что думал и я сам. Именно поэтому я пришел в бешенство. Против всех ожиданий он почти выиграл, игру, у него были деньги, бумаги. А я, хотя и был проворнее его и хитрее, я еще не был готов к отъезду. – Этого вы не знаете! – крикнул я. – Может быть, он был бы, наоборот, счастлив, если бы его разыскали.

– Что вы беспокоитесь о человеке, которого ни разу в жизни не видели! Его молчание кажется мне слишком упорным, его решение – окончательным.

Мы пошли вместе домой. Молча шагали мы по опустевшей Кур Бельзенс. Мы шли осторожно, чтобы не запутаться в сетях, протянутых на ночь через всю огромную площадь. Здесь они сохли, придавленные камнями, – сети тех, кто всегда рыбачил и всегда будет рыбачить... Врач свернул на улицу Релэ, я же, выбравшись наконец из лабиринта переулков, вышел на улицу Провидения.

## II

На рассвете я стоял на улице Республики. Впрочем, не я один еще при свете звезд ожидал минуты, когда откроются двери «Транспор маритим». Окоченевшие мужчины и женщины рассказывали друг другу, что война все разгорается, что лиссабонский порт уже закрыт, что закрывают Гибралтар, что этот корабль – последний.

У окошка пароходной компании я сразу же почувствовал, что мой голос звучит фальшиво из-за просительных интонаций. И служащий за окошком ответил:

– Никаких отсрочек быть не может. У вас есть еще время до обеда, а потом прекращается всякая запись.

Я не сразу отошел от окошка. Но когда я услышал мольбы других людей, я, сам одержимый манией отъезда, почувствовал что-то вроде стыда за то, до чего я дошел. Вдруг кто-то схватил меня за руку, кто-то спросил:

– Значит, вы все-таки хотите уехать?

Я обернулся. Это был мой лысый знакомец.

– У меня есть виза и транзитная виза, – сказал я. – Я получил разрешение на выезд. Но у меня до сих пор нет билета.

– У вас есть билет, – сказал он. – Только пока вы этого не знаете.

– К сожалению, это не так, наверняка не так.

– У вас есть билет, – повторил он строго. – Вот он. Я намерен отказаться от моего. Я уступаю его вам. Я постарался скрыть изумление. Он был необычайно взволнован, как это бывает с людьми, которые, приняв важное решение, впервые сообщают о нем другому:

– Сейчас я вам все объясню. Приглашаю вас отпраздновать это событие. Я, конечно, тоже уеду, но в другом направлении.

Он потянул меня назад к окошку «Транспор маритим».

– Вы ошибаетесь! – закричал я, вырываясь. – У меня нет денег, чтобы заплатить за этот билет. У меня нет денег, чтобы внести налоговый сбор, без которого мне никогда не дадут визы на выезд. А без визы я не получу билета. Он крепко схватил меня за руку. Он сказал хладнокровно:

– Значит, дело только в этом! Здесь мне не нужны ваши деньги. Мне было бы куда приятнее, если бы мои деньги находились за пределами Франции.

У меня забилося сердце. Но он крепко держал меня за руку, и, пока он спокойно и твердо говорил со мной, я начал понимать, что доиграл игру до

конца, доиграл и выиграл.

– Ведь у вас в кармане справка о том, что ваш проезд оплачен. Деньги на дорогу лежат у вас в Лиссабоне.

Он сел и начал считать. Я стоял рядом в оцепенении.

– Если вычесть цену билета и налоговый сбор, у вас все еще останется порядочно денег, там, в Лиссабоне, – сказал он наконец. – Я считаю по курсу шестьдесят. Согласны?

Сумма, которую вы мне должны, весьма незначительная, потому что путешествие на этой старой галоше стоит ведь, по существу, не дорого. Вы подпишете вот эту расписку в том, что небольшая сумма с вашего счета в Лиссабоне перейдет на мой.

Я спрятал деньги – смятую пачку бумажек. У меня никогда еще не было сразу такой суммы.

– У вас как раз хватит времени съездить в префектуру, – сказал он. – Я буду ждать вас здесь. Вы возвратитесь с визой на выезд, и тогда мы перепишем билет.

Все это время, даже когда он был занят подсчетами и распиской, он крепко держал меня за левую руку. Его пальцы сжимали мое запястье, как наручник. Теперь он отпустил меня и немного откинулся назад. Я взглянул на его лысый череп, похожий на кегельный шар. Холодные серые глаза испытующе смотрели на меня.

– Чего вы еще ждете? Я могу в любую минуту отделаться от своего билета, это дело нехитрое. Посмотрите-ка вон туда!

Он кивнул в сторону людей, которые все входили и входили в контору «Транспор маритим». Некоторые несли с собой вещи. У них уже, очевидно, был оформлен билет, выездная виза лежала в кармане, по их бледным взволнованным лицам блуждали прощальные мысли. Но другие, у которых не было ничего, толпились у барьера пароходной компании. Их можно было узнать сразу по интонации, по вздрагиванию рук, губ.

Казалось, судьба их следует за ними по пятам, казалось, смерть, которая уже стоит на углу Бельгийской набережной и улицы Республики, разрешила им в последний раз проскользнуть в здание «Транспор маритим», но она угрожала: «Если не вернетесь с билетом, то...» И без всякой надежды, без денег и без документов они с протянутыми руками штурмовали окошко, словно этот пароход был последним в их жизни, самым последним из всех, пересекавших когда-либо море.

– Но вы, вы-то не едете? – пробормотал я.

– Я ведь еду домой, – сказал он. – Я могу вернуться. Правда, в гетто, но все же назад. Для вас же обратного пути нет. Вас поставили бы к стенке.

Он был прав. И если бы он только помахал своим билетом, толпа истерзанных людей стала бы ползать перед ним на коленях.

– Я еду в префектуру, – сказал я решительно.

Он опять схватил меня за руку. Он проводил меня, подождал такси, усадил, заплатил шоферу.

Вы сами знаете, что собой представляет префектура Марселя. Мужчины и женщины, ожидающие с утра до позднего вечера в темных коридорах иностранного отдела. Полицейский их разгоняет, а они снова собираются у отдела выездных виз, который, может быть, чудом откроется на несколько часов раньше обычного. Каждый из этой очереди, каждый из этих людей, готовых к отъезду, прошел путь не менее трудный, чем в мирное время проходит целое поколение. И каждый начинает рассказывать своему соседу по очереди, как он трижды избежал верной смерти. Но и сосед его избежал смерти по меньшей мере три раза. Он слушает не очень внимательно и вскоре делает отчаянную попытку протолкнуться вперед в образовавшуюся брешь, а там уже новый сосед сразу начнет ему рассказывать, как он в свою очередь спасся от верной смерти. И во время этого ожидания может случиться, что на тот самый город, куда человек мечтал уехать, чтобы обрести новый покой, упадет первая бомба. И вот визы окажутся недействительными. А за дверью, перед которой он так долго стоял в ожидании, будут читать телеграфное сообщение, что отныне прекращается въезд в страну, казавшуюся ему последним убежищем. И тот, кто с помощью хитрости и подлости не пролез в первый десяток, тот, кто не оказался среди десяти счастливых, которые с выездной визой в руках снова мчатся к конторе «Транспор маритим», тот уже никогда не попадет в окончательный список отъезжающих, и ничто на свете ему уже не поможет.

Я был в числе первых десяти. Уже на пороге я стал озираясь, чтобы найти Розали, подругу Надин. Я ее отыскал. Подперев обоими кулаками свою круглую голову, она сидела за письменным столом, углубившись в чтение досье. Я прижался к самому краю барьера, чтобы наш разговор никто не мог услышать.

– Я все для вас приготовила. У вас хватит денег?

Она считала своими маленькими пухлыми пальцами и, не глядя на меня, говорила:

– Советую вам быть очень осторожным, если вы хотите остаться неузнанным. Ни на минуту не забывайте об осторожности. На пароходе есть сыщики и, кроме того, комиссар тайной полиции, который в своей каюте изучает досье. Вот что это за пароход. Месяца два назад был такой случай. Один испанец ехал по фальшивым документам, переодетый. Его

сестра находилась на том же пароходе. Она усиленно распространяла слух, что брат ее умер. «Сначала он бежал из Испании, потом из лагеря и погиб во время блицкрига», – рассказывала сестра, одетая в траур. Но настала минута, когда она не смогла скрыть своей радости по поводу того, что ее брат попал на пароход. Среди пассажиров всегда найдутся шпики, не забывайте этого! А на том пароходе тоже ехал комиссар. Ему выдали этого человека. Ну, и песенка его была спета – его посадили на промежуточной остановке в Касабланке и выдали властям Франко. Так что будьте очень осторожны!

Человек, уступивший мне билет, стоял, когда я вернулся, перед дверьми «Транспор маритим». Он опять схватил меня за руку, потащил к окошечку. Удивление, потрясение отразились на молодом, здоровом лице служащего пароходной компании. Он вертел в руках билет.

Тот, кто уступил его мне, спросил у служащего:

– А вам-то что? Ведь вам, я думаю, безразлично, кто едет?

– Совершенно безразлично... Только вот этот билет уступают уже в третий раз. Обычно люди с ног сбиваются в поисках билета, а вот этот билет все время отдают.

Потом мы зашли в первое попавшееся скверное кафе на улице Республики.

– Я был в Эксе, в немецкой комиссии, – рассказал он мне. – Меня допрашивали три офицера. Один из них смеялся, читая мое заявление, и бормотал какие-то ругательства. Другой спросил меня, зачем я собираюсь домой. Не могу же я думать, что мне окажут там особый прием. Я ответил: «Дело не в приеме. Здесь речь идет о родине. Вы должны это понять». Офицер был несколько озадачен. Затем он спросил меня о моем имущественном положении. Я ответил: «У меня в Буэнос-Айресе дочь от женщины, которую я одно время любил. На имя дочери я и переписал все свое состояние. Не беспокойтесь о моих капиталах, раз я сам о них не беспокоюсь!» Третий слушал молча. Я возлагал надежду на третьего. Ведь теперь можно говорить только с теми людьми, которые молчат. Ну, в общем, на мое заявление была наложена положительная резолюция. – Он отпил немного и добавил: – Тридцать лет я скитался по разным странам в то время, как другие сажали деревья на родине. Теперь другие уезжают, а я возвращаюсь домой.

### III

Все же я поехал на пристань. Остановил такси возле здания Управления. Его вестибюль казался совсем пустым, особенно если представить себе те толпы людей, которые так стремились сюда попасть. И если посетителю не приходилось уйти отсюда ни с чем, навсегда потеряв всякую надежду уехать, то этот зал ожидания оказывался самым последним на его пути, и впереди было море.

В зал ворвалось какое-то испанское семейство. К моему изумлению, они привели с собой того старика испанца, у которого все сыновья погибли во время гражданской войны, жена умерла при переходе через Пиренеи. Он выглядел гораздо бодрее, можно было подумать, что он надеется вновь встретиться со своими по ту сторону океана. Появилась и знакомая мне по гостинице пара со своими многочисленными саквояжами и баульчиками. Они, видно, ни на минуту не задумывались над тем, что попали в число немногих, кому было разрешено войти. Невинные, как дети, рука об руку проделали они, с трудом таща свою поклажу, весь путь до консульства, который для многих и многих оказался непроходимым. Я отвернулся к стене, чтобы избегать вопросов. Начальник Управления порта открыл дверь моего кабинета. Маленький человечек, похожий на белку, шмыгнул за свой огромный письменный стол. Казалось, он ненавидит все моря на свете. Человечек долго обнюхивал мои бумаги. Затем спросил:

– Где документ, удостоверяющий, что вы – беженец?

Я вытащил справку Ивонны. Он начал читать мои документы. Управление порта поставило свою печать. Я мог уехать.

## IV

Из Управления порта я шел по краю набережной, огромные пакгаузы заслоняли небо. Мелкая вода у мостика была началом бескрайнего моря. Между пакгаузом и молотом, загроможденным подъемными кранами, виднелась узкая полоска горизонта. Старый моряк, судя по виду сильно опустившийся, стоял неподвижно в нескольких метрах от меня и смотрел вдаль. Я подумал, что он, вероятно, видит лучше меня, раз так пристально рассматривает что-то, чего я не различаю. Но вскоре я заметил, что и он видит только полоску между молотом и пакгаузом. Там вдали, на этой узкой полоске, море сходится с небом, и она волнует таких, как мы, куда больше, чем самые смелые очертания могучей горной цепи. Я шел не спеша вдоль набережной... вдруг меня охватило лихорадочное желание уехать немедленно. Теперь я мог наконец уехать. Только теперь. Еще на пароходе я отобью Мари у ее спутника. Я пренебрегу бессмысленной случайностью, которая слепо свела их во время бегства и на время бегства, в час отчаяния на Севастопольском бульваре. Наконец-то я расстанусь с прошлым и начну с самого начала. Я вдоволь посмеюсь над неумолимым законом, по которому жизнь однолинейна и может быть прожита только раз. А ведь если бы мне не удалось уехать, я навсегда остался бы прежним. Старел бы понемногу и был все тем же – не слишком мужественным, и не слишком слабым, да и не слишком надежным парнем, способным в лучшем случае стать чуть более мужественным, чуть менее слабым, немного более надежным – да и то не в такой степени, чтобы это было заметно другим. Только теперь я мог уехать. Теперь – или никогда.

У причала стоял маленький аккуратный пароход водоизмещением примерно восемь тысяч тонн. Название я разобрать не мог, но, по-видимому, это был «Монреаль». Я подозвал моряка, он медленно подошел ко мне. Я спросил его, не «Монреаль» ли это? Он сказал, что этот пароход называется «Марсель Милье», а «Монреаль» стоит примерно в часе ходьбы, у сорокового пакгауза. Его ответ отрезвил меня. Ведь я уже представил себе, что это мой пароход, моя судьба. Но мой пароход стоял далеко отсюда.

Я поехал па улицу Релэ. В третий, и последний, раз я взбирался по крутой лестнице того ужасного отеля, в котором врач прятал Мари. Не проговориться ей ни единым словом, неожиданно предстать перед ней на пароходе – это было бы самое лучшее, самое настоящее волшебство. Но я не был уверен, что у меня хватит сил разыграть сцену прощания.

Печка больше не топилась, – вот уже несколько дней, как на дворе потеплело. Зима шла на убыль. Я постучал, Высунулась рука с упавшей на запястье синей каймой рукава. Мари отступила назад. Я не понял выражения ее лица, оно было серьезным и каким-то застывшим. Она спросила хрипло:

– Зачем ты пришел?

Кругом стояли чемоданы, как в то утро, когда врач собирался уехать. Теперь все в комнате было упаковано.

– Я пришел, – сказал я небрежно, хотя сердце у меня стучало, – чтобы принести тебе подарок на прощание... Шляпу.

Она рассмеялась, впервые поцеловала меня легко и быстро, надела шляпу перед зеркалом умывальника и сказала:

– Она мне даже идет. У тебя сумасшедшие идеи. Почему мы с тобой познакомились только этой зимой, перед отъездом? Мы должны были давно познакомиться.

– Конечно, Мари, – сказал я. – Я должен был тогда – в Кельне, что ли, это было? – сесть на скамейку вместо того, другого.

Мари отвернулась и сделала вид, что укладывается. Она попросила меня запереть чемодан. Мы сели рядом на закрытый чемодан, она взяла меня за руку.

– Если бы только мне не было страшно, – сказала она. – Чего я боюсь? Я знаю, что должна уехать, и хочу уехать, и уеду. Но иногда мне становится так страшно, как будто я что-то забыла, что-то важное, невозместимое. И мне хочется снова распаковать чемоданы, все перерыть и все разбросать. И хотя меня тянет отсюда прочь, я все думаю – пи же это меня здесь держит?

Я почувствовал, что минута настала. Я сказал:

– Может быть, я.

– Я не могу поверить, что больше тебя никогда не увижу, – сказала она. – Мне не стыдно тебе признаться: мне кажется, что ты не последний, с кем я познакомилась, а первый. Как будто бы это ты был тогда в моем

детстве, у нас на родине. Как будто бы я видела твое лицо среди их отчаянных и загорелых мальчишеских лиц, которые внушают девчонкам еще не любовь, нет, но вопрос – какая она, любовь? Как будто бы ты был среди мальчишек, с которыми я играла в шарики на нашем тенистом дворе. А ведь я с тобой знакома совсем недавно, меньше, чем с другими. Я не знаю, откуда ты приехал и зачем. Не может быть, чтобы какой-то штемпель, виза или решение консула навсегда разлучили людей. Только смерть разлучает навсегда, но не прощание, не отъезд.

Мое сердце забилося от радости, я сказал:

– Очень многое зависит еще и от нас самих. Что сказал бы тот – другой, если бы я очутился на пароходе?

– Да, именно – другой, – сказала она.

– У него ведь остается его больница, его призвание, – продолжал я все настойчивей. – Он же сам рассказывал нам, что для него это важнее личного счастья.

Она подsunула голову под мою руку.

– Ах, ты о нем? Нам ведь незачем притворяться друг перед другом, – сказала она. – Ты знаешь, кто нас разлучает. Мы с тобой ведь не станем друг друга обманывать в последнюю минуту.

Я уткнулся лицом в ее волосы; я почувствовал, что я, живой – жив, что мертвый – мертв.

Она прислонилась головой к моему плечу. Так мы сидели несколько минут с закрытыми глазами. У меня было ощущение, что чемодан покачивается. Мы тихо плыли вдаль. Это были для меня последние мгновения полного покоя.

Я почувствовал вдруг, что смогу сказать ей правду.

– Мари!!!

Она резко отстранила голову. Быстро взглянула на меня. Лицо ее побелело, даже губы. То ли звук моего голоса, то ли выражение лица предупредили ее, что произойдет что-то непоправимое, какое-то чудовищное покушение на ее жизнь. Она подняла руки, словно защищаясь от удара.

Я сказал:

– Я должен сказать тебе правду перед твоим отъездом. Мари, твой муж погиб. Он покончил с собой в отеле на улице Вожирар, когда немцы входили в Париж.

Она опустила руки и положила их на колени. Она улыбнулась.

– Теперь ясно, – сказала она, – чего стоят ваши советы и все ваши точные сведения. Как раз со вчерашнего дня я твердо знаю, что он жив. Вот

она, твоя великая правда!

Я посмотрел на нее пристально и сказал:

– Ты ничего не знаешь. Что ты знаешь?

– Я знаю теперь, что он жив. Я пошла в иностранный отдел префектуры, чтобы получить визу на выезд. Там одна служащая... Она как раз оформляла мои документы, она мне помогла... У нее какой-то чудной вид... Маленькая, толстая, зато в ее глазах столько тепла, сколько мне еще не встречалось во всей этой стране. Она вообще всем помогала, кому словом, кому делом. Ни одно досье не казалось ей чересчур запутанным. Сразу чувствовалось, что эта женщина всех хочет выручить, что она озабочена только тем, чтобы мы все успели вовремя уехать, чтобы никто не попал в руки немцев, никто не погиб бы бессмысленно в лагере. Было видно, что она не из тех, кто вяло рассуждает, что, мол, теперь уже все равно ничем не поможешь. Наоборот, даже если и вправду ничем уже больше нельзя помочь, она ни за что не допустит на своем участке ни беспорядка, ни подлости. Пойми, ради таких, как она, стоит спасти целую нацию.

Я сказал в отчаянии:

– Ты ее хорошо описываешь. Я прекрасно представляю себе эту женщину.

– И тогда я набралась мужества. Раньше я не решалась задавать вопросы. Боялась, что мои вопросы могут ему повредить. Но теперь, когда все документы уже были у меня на руках, теперь я никому больше не могла повредить. Я спросила у этой женщины. Она внимательно посмотрела на меня, словно ждала этого вопроса. Она сказала, что не имеет права мне отвечать. Тогда я пристала к ней, просила ее, просто умоляла сказать мне по крайней мере, если она знает, жив ли мой муж. Тогда она положила мне руку на голову и сказала: «Успокойтесь, дитя мое! Может быть, вы еще в пути встретитесь с тем, кого любите».

Мари посмотрела на меня искоса, с лукавой улыбкой.

Она поднялась и спросила:

– Может быть, ты и теперь еще сомневаешься? Все еще веришь этим слухам? Ну, что ты можешь знать? Что ты знаешь? Может быть, ты его... Разве ты собственными глазами видел его мертвым?

Я должен был, вынужден был признаться:

– Нет.

И только потом я обратил внимание на ее стесненное дыхание, на еле уловимый оттенок смертельного испуга, звучащий в ее коротких насмешливых вопросах.

– Теперь меня здесь ничто больше не держит. Я уезжаю с легким сердцем, – сказала она с облегчением, радостно.

Я понял, что все напрасно. Я сдался. Бесполезно тягаться с мертвым – его можно догонять всю жизнь. Он крепко держался за то, что ему принадлежало, и даже в вечности не хотел с этим расстаться. Он был сильнее меня. Мне оставалось только уйти. Да и что я мог этому противопоставить? Чем убедить ее? И для чего убеждать? К тому же, как бы нелепо ни представлялось мне это сейчас, на мгновение она заразила меня своим безумием. Что я знал о его смерти? Ничего, кроме болтовни озлобленной хозяйки. А что, если он и в самом деле жив? А что, если Аксельрот и в самом деле его видел? А что, если нас отделяет от него не вечность, а всего лишь газетный лист, который он продырявил в двух местах, чтобы без помех наблюдать за нами и как все запутать, что все наши сложности покажутся нам пустяками?

Я встретил врача на лестнице. Он пригласил меня в «Мон Верту» в последний раз выпить втроем аперитив. Кажется, я пробормотал в ответ что-то вроде того, что сегодня запрещена продажа алкогольных напитков.

## VI

Я пошел на улицу Республики. Контора «Транспор маритим» была уже открыта. Я подошел к окошку и спросил, могу ли я вернуть свой билет. Кассир за окошком раскрыл рот от удивления и уставился на меня. И хотя я говорил с ним шепотом, в толпе ожидавших распространился слух, что возвращают билет, еще раньше, чем кассир сам взял в толк, о чем идет речь. Да, этот слух, по-видимому, невероятно быстро разнесся по городу, потому что вдруг начался штурм дверей. Мне чуть не сломали ребра о выступ перед окошечком. Самые слабые, самые беспомощные люди наступали с угрозами. Они озверели от этой последней безумной надежды получить возвращенный билет. Но кассир только отмахивался и осыпал толпу ругательствами. И вот постепенно слух рассеялся, люди как-то съезжились и потихоньку побрели назад, к дверям, а кассир спрятал мой билет в маленький боковой ящик. Я понял, что он был заранее для кого-то предназначен, кто просил оставить ему первый свободный билет, заплатив за это так, как не мог ни один из этих людей. Он принадлежал, очевидно, к людям совсем другого рода, к людям, которые никогда не становятся в очередь за билетом, а только просят оставить им билет. Это был человек, обладавший властью. Кассир сморщил лоб, запирая ящик, и сжал губы, пряча улыбку. Глядя на него, было ясно, что он не терпит убытка.

## VII

Всю ночь я пролежал без сна. Из соседнего номера до меня доносились последние нежные слова человека, который завтра должен был уехать и расстаться со своей возлюбленной, ожидавшей ребенка. Этого ребенка он, наверно, так никогда и не увидит. Было еще совсем темно, когда я услышал на лестнице взволнованные голоса супружеской четы, уезжавшей к своему блудному сыну. Я оделся, сошел вниз. «Суре» только что открыли, я был первым посетителем. Я быстро хлебнул горького кофе и торопливо зашагал по Кур Бельзенс. Там были расстелены сети для просушки. Несколько женщин, казавшихся совсем маленькими на огромной площади, чинили сети. Этого я еще ни разу не видел, мне ни разу не приходилось в такую рань проходить по площади. Очевидно, я вообще еще не видел самого главного в городе. Чтобы это увидеть, надо, наверно, хотеть в нем остаться. Города как бы таятся от глаз тех, кто попадает в них проездом. Я осторожно прошел мимо сетей. Открывались первые магазины, слышались первые выкрики мальчишек-газетчиков.

Мальчишки-газетчики, жены рыбаков на площади, торговки, открывавшие лавки, рабочие, шедшие в первую смену на работу, – все они принадлежали к числу тех, кто никогда не уедет, что бы ни случилось. Мысль об отъезде для них так же невозможна, как для деревьев и трав. Но даже если бы им и пришла в голову такая мысль – для них нет билетов. На них обрушились войны, пожары и месть сильных мира сего. И как бы ни были огромны толпы беженцев, которых гнали перед собой все армии, они не могли сравниться с количеством тех, кто оставался вопреки всему. И что было бы со мной – беженцем – во всех этих городах, гели бы они не оставались? Мне они заменили отца и мать, братьев и сестер.

Молодой парень помогал своей подружке задвинуть засов на тяжелых воротах. Потом он быстро установил жаровню, на которой она жарила пиццу. Возле нее уже столпились покупатели. Проститутки, выходившие из соседнего дома, на котором еще горел красный фонарь, кондуктора автобусов, торговцы. Продавщица пиццы, хотя ее нельзя было даже назвать красивой, казалась мне в эту минуту прекраснейшей из прекрасных. Она напоминала вечно юных героинь старинных сказаний. Здесь, над морем, она всегда пекла пиццу на своей древней жаровне. Она пекла ее, когда здесь проходили народы, о которых теперь уже ничего не помнят, она ее будет печь и тогда, когда здесь пройдут новые, никому не известные

народы.

Желание еще раз увидеть Мари было сильнее, меня. М вошел в «Мон Верту», чтобы проститься. Мари сидела на том месте, на котором сидел я, когда она впервые пришла в «Мон Верту». Она казалась такой счастливой, что и я улыбнулся.

Если бы кто-нибудь наблюдал за нами, он наверняка подумал бы, что лист бумаги, которым она мне помахала, касается нашего общего будущего. Но это было всего лишь разрешение на выезд со всеми необходимыми печатями.

– Я еду, – крикнула она, – через два часа! – Вихрь радости шевельнул ее волосы, колыхнул грудь, пробежал по лицу. – К сожалению, тебя не пустят в порт. Но мы можем и здесь проститься.

Я не сел. Она встала и положила мне руки на плечи. Я еще не чувствовал боли, которая вот-вот поразит меня, и, наверно, смертельно. Это было только ее предчувствие. Она сказала:

– Как ты был все-таки добр ко мне!

Она быстро поцеловала меня в обе щеки, как принято и этой стране. Я сжал ее голову руками и поцеловал ее. Врач, который в эту минуту подошел к нашему столу, сказал:

– Ага, здесь прощаются!

– Да, – сказала Мари. – Мы должны теперь вместе выпить.

– К сожалению, на это нет времени, – сказал он. – Ты должна немедленно отправиться в «Транспор маритим». Тебе надо расписаться на багажной квитанции. Конечно, если ты не надумала остаться...

Он был теперь, как видно, совершенно уверен в своей победе. Слишком уверен, как мне показалось. Мы оба посмотрели на Мари. Она уже не сияла. Она сказала с мягкой, еле заметной насмешкой в голосе.

– Я ведь уже поклялась тебе однажды следовать за тобой на край света.

– Тогда беги в «Транспор маритим» и распишись!

Она протянула мне руку и действительно ушла, окончательно, навсегда. Я подумал, как думает человек, которого настиг выстрел или удар, что почувствую сейчас невыносимую боль. Но боль не пришла. И только в ушах у меня еще долго, звучали ее последние слова: «На край света...»

Я закрыл глаза и увидел высокий зеленый забор, увитый засохшими тонкими стеблями вьюнка. Я не знал, что за забором, я видел только через щели между его досками проносящиеся по небу осенние облака. Наверно, я был еще очень мал: мне казалось, что это и есть конец света.

– Мне остается только поблагодарить вас за все. Вы нам помогли, –

сказал врач.

– Это ведь получилось случайно, – ответил я.

Он не сразу отвернулся. Он пристально посмотрел на меня. Казалось, он ждет чего-то, о чем-то смутно догадывается по выражению моего лица. Но я молчал, и он, слегка поклонившись, в конце концов ушел.

Я сел наконец в одиночестве за стол. Меня развеселил этот вежливый короткий поклон, которым он раз и навсегда покончил со всем. Но то было грустное веселье. Внезапно – не знаю, почему именно теперь, – меня охватила печаль об умершем, которого я никогда в жизни не видел. Мы оба остались: я и он. И не было никого, кто горевал бы о нем в этой стране, потрясенной войной и изменой, не было никого, кто мог бы оказать ему хоть в малой степени то, что называется «последними почестями», никого, кроме меня, сидевшего в кафе у Старой гавани и еще недавно боровшегося с другим за его жену.

«Мон Верту» наполнилось до отказа. До моего слуха доносилась болтовня на многих языках. Говорили о кораблях, которые уже никогда не отплывут, о прибывших, потерпевших крушение и захваченных кораблях, о людях, которые хотели бы поступить на службу к англичанам или к де Голлю, о тех, кому пришлось вернуться в лагерь, может быть, на долгие годы, о матерях, потерявших в войну своих детей, о мужьях, которые уехали, оставив своих жен. Старая как мир и вечно новая портовая болтовня финикийян и греков, критян и евреев, этрусков и римлян.

Тогда впервые я подумал обо всем этом всерьез: прошлое и будущее в одинаковой степени непроницаемы с точки зрения того, что на языке консульства называется транзитным, а на обычном языке – настоящим. И вот вывод: предчувствие – если позволительно предчувствие назвать выводом, – предчувствие, что со мной ничего не случится.

## VIII

Еле волоча ноги, я поплелся на улицу Провидения. Я лег на свою постель и закурил. Но лежать я не мог. Я вернулся в город. Кругом только и разговоров было что в «Монреале», который сегодня отплывал. Все говорили, что это последний пароход. Но вдруг, вскоре после полудня, та болтовня прекратилась. «Монреаль», видимо, вышел в море. Темой для сплетен выбрали следующий пароход, который теперь стал последним.

Я вернулся в «Мон Верту». По старой привычке я сел лицом к двери. Мое сердце продолжало ждать, словно не понимало, что опустело навсегда. Оно продолжало ждать, оно все еще надеялось, что, быть может, Мари вернется. Не та Мари, с которой я сегодня разговаривал, преданная мертвому, только ему, а та, которую пригнал мне тогда мистраль, угрожая моей молодости внезапным и непонятным счастьем.

Кто-то схватил меня за плечо. Это был, толстый музыкант, друг Аксельрота, с которым он однажды уже ездил на Кубу.

– Теперь он и меня бросил на произвол судьбы, – сказал толстяк.

– Кто?

– Аксельрот. Я был так глуп, что дописал партитуру. Теперь он во мне больше не нуждается. И все же мне и присниться не могло, что он и от нас сбежит. Я привязан к нему еще с детских лет. Я не знаю, чем это объяснить, но он обладал какой-то властью надо мной.

Он сел, подперев голову руками, и задумался. Он очнулся, когда официант поставил перед ним аперитив.

– Вы спрашиваете, как это произошло? У него, наверно, была куча денег. Он вносил за билеты во все пароходные компании города, он подкупил целую гвардию чиновников и служащих. У него была целая коллекция виз и транзитных виз. Это, видимо, и называется предусмотрительностью. Правда, он мне твердо обещал, что возьмет меня с собой, но теперь я вспомнил, как однажды он кому-то сказал: «Нужно избегать одного и того же спутника для двух путешествий, особенно если путешествие оказалось таким неудачным, как наше». Кто-то, по-видимому, вернул билет на пароход, идущий на Мартинику. Этот билет и достался Аксельроту. Теперь он на борту «Монреалья».

Я не высказал и сотой доли своего удивления, хотя имел па это полное право.

– Что вы печалитесь? Вы от него освободились, – сказал я, так как мне

не приходили в голову другие слова утешения. – Вы же сами говорите, что с детских лет он обладал властью над вами. Вот вы наконец от него и освободились.

– Но что теперь будет со мною? Вдруг немцы завтра займут устье Роны? Ведь в лучшем случае я уеду только месяца через три. За это время я могу погибнуть, меня могут выслать, посадить в лагерь. Я могу стать кучкой пепла в разбомбленном городе.

– Это может случиться с каждым из нас, – утешал я его. – В конце концов не вы один остаетесь.

И как ни глупо звучали мои слова, он к ним прислушивался. Он огляделся вокруг.

Я действительно думаю, что он впервые огляделся вокруг. Впервые осознал, что не он один остается. Впервые? прислушался к старому как мир и вечно новому хору голосов, которые до самой смерти дают нам советы, смеются над нами, ругают, наставляют, утешают, – чаще всего утешают. Впервые увидел он также и огни на пристани, горевшие более тускло, чем окна, озаренные закатом. Он впервые в жизни посмотрел на все это и понял, что есть на свете вещи, которые не предадут. Он облегченно вздохнул.

– Аксельрот, быть может, так поторопился еще и потому, что, как он узнал, на этом пароходе едет молодая женщина, которая в последнее время ему нравилась, хотя они почти не были знакомы. Жена Вайделя. Ведь Вайдель, вы же знаете, не поехал.

Чтобы ответить, я должен был взять себя в руки.

– Еще один, который не едет! Но откуда вам это известно?

– Это всем известно, – сказал он равнодушно. – Хотя у него и есть виза, он не едет. Иметь визу и не поехать – что-то в этом есть особенное, не правда ли? Впрочем, на него это похоже. Он всегда делал то, чего никто не ожидал. Может быть, он не едет потому, что жена его бросила. Ее не раз видели с другим. Он не едет потому, что его все бросили – друзья, жена, даже время. Ведь он, знаете, не из тех, кто за это борется. Для него это не имеет смысла. Он боролся за нечто более важное.

Я подавил улыбку.

– За что же он боролся?

– За каждую фразу, за каждое слово своего родного языка, за то, чтобы его маленькие, иногда полубезумные рассказы стали как можно более изящны и просты и доставляли бы радость всем – и детям и взрослым. Разве это не значит сделать что-то для своего народа? Даже если теперь, когда он оторван от своих, он временно и потерпит в этой борьбе

поражение, это не его вина. Пока он не публикует свои рассказы. Они, как и он сам, могут ждать – десять, сто лет. Я его, кстати, только что видел.

– Где?

– Он сидел вон там, у окна, против Бельгийской набережной. Впрочем, «видел» – это преувеличение. Я видел газету, за которой он прятался. – Он привстал и вытянул шею. – Вайдель уже ушел. Может быть, теперь, когда уехала его жена, он перестанет прятаться и мы с ним встретимся.

Чтобы скрыть свое смятение, я задал ему первый пришедший в голову вопрос:

– Паульхен, видимо, уже удрал отсюда? Он ведь тоже ловкий парень, у него в руках власть.

Музыкант засмеялся:

– Все же у него не хватает власти, чтобы привести в порядок собственные документы. Что касается визы и транзитных виз – их он, по-видимому, сможет получить по своему марсельскому удостоверению, на котором стоит штамп: «Безвыездное пребывание в Марселе». Но, к сожалению, Управление порта не пропускает тех, кто выслан из Марселя. И печать порта ставится именно на той самой маленькой бумажке, на которой у него есть указание немедленно выехать. Паульхен никогда не сможет ни по-настоящему уехать, ни по-настоящему остаться.

## IX

На следующее утро я поднялся к Бинне. Я уже давно у них не был, все эти дни мне было не до них. Мальчик сидел у окна. Он делал уроки. На звук моего голоса он обернулся и уставился на меня широко раскрытыми от удивления глазами. Вдруг он бросился ко мне и заплакал.

Он все плакал и плакал. Я гладил его по голове, я не знал, как его утешить. Подошла Клодин и сказала:

– Он думал, что ты уехал.

Мальчик отстранился от меня и сказал чуть-чуть смущенно и уже снова улыбаясь:

– Я думал, вы все уезжаете!

– Как ты мог это подумать? Я же тебе обещал, что останусь.

Чтобы его совсем успокоить, я предложил ему погулять со мной. Мы шли по солнечной стороне Каннебьер. И снова между нами возникла удивительная близость. В конце концов мы оказались в кафе «Дриаден». Я посмотрел, в окно на мексиканское консульство. У ворот толпились испанцы, мужчины и женщины. Полицейские наблюдали за порядком. Я попросил принести чернила, ручку, лист бумаги и написал:

«Господин Вайдель поручил мне передать вам его визу, а также транзитную визу, разрешение на выезд и деньги, которые он взял в долг на поездку. Вместе с тем я имею честь препроводить вам рукопись Вайделя с просьбой переслать ее друзьям писателя, которые сумеют ее сохранить. Она не закончена по той же причине, по которой Вайдель не смог уехать».

Я сложил все вместе и попросил мальчика сбегать к консулу и передать ему пакет. Пусть он скажет, что какой-то незнакомый человек попросил его об этой услуге. Я видел, как мальчик бегом, пересек площадь и встал в очередь рядом с испанцами. Через полчаса он вышел из консульства. Я радовался, глядя в окно на мелькающую между деревьев, приближающуюся ко мне фигурку.

– Что он сказал?

– Он рассмеялся. Потом сказал: «Это можно было предвидеть».

Мне стало не по себе от этих слов, мне показалось, что маленький

консул, заглянув своими живыми глазами в мое досье, сразу прочел в этой книге жизни мою историю.

Когда я привел мальчика домой, Бинне встретил меня словами:

– У меня к тебе поручение от моего друга Франсуа.

– Я не знаю никакого Франсуа.

– Нет, знаешь. Как-то раз ты заходил с маленьким португальцем к нему в Союз моряков. Он помог одному немцу, который был и твоим другом. Одноногий, знаешь? Так вот, он шлет тебе привет, просит передать, что доехал благополучно. И он благодарит тебя. Он рад, что уехал туда. Там другие народы – новые, молодые. Он рад, что увидел все это. А ты должен ждать его здесь. – Взбивая мыльную пену, Жорж – он собирался бриться – добавил: – Тебе следует остаться здесь. Зачем тебе туда ехать? Ты – наш. Ты разделишь нашу судьбу.

– Все это он велел мне передать? – воскликнул я.

– Нет, что ты, это я тебе говорю. Мы тебя знаем, мы все говорим тебе это, понимаешь, все.

Не прошло и суток с отплытия «Монреалья», как я получил письмо от Мишеля. Он сообщал мне, что я могу приехать на ферму, что меня там ждут, потому что весенние работы начались. Я успокоил сынишку Клодин, объяснив ему, что мой отъезд не означает настоящей разлуки, что ферма расположена близко от города и он сможет приезжать ко мне, когда захочет.

Нельзя сказать, чтобы я очень любил сельскохозяйственные работы, я горожанин до мозга костей. Но здешние родственники Мишеля оказались такими же порядочными людьми, как и старики Бинне в Париже. На работу я не жалею. Деревня находится недалеко от моря, у подножия гор. Я живу там уже несколько недель, но они мне кажутся годами – так давит меня тишина. Я написал письмо Ивонне и попросил ее прислать мне новый пропуск. Ведь все еще действует закон, по которому необходимо специальное разрешение на перемену жительства. Я пошел к нашему мэру, захватив с собой свои новые, безупречные документы. Я отрекомендовался беженцем из Саарской области и сказал, что перезимовал в другом департаменте, а теперь приехал на работу-сюда, к морю. Мэр почему-то с первого дня решил, что я дальний родственник Бинне. Таким образом, эта семья, этот народ продолжают предоставлять мне убежище. Я же помогаю им окапывать деревья и обирать гусениц. Если нацисты доберутся до этих мест, меня, быть может, вместе с Мишелем и его двоюродными братьями отправят на принудительные работы или куда-нибудь сошлют. Пусть их судьба будет и моей судьбой. Во всяком случае, нацисты не узнают во мне своего соотечественника. Я хочу делить со своими друзьями и радость и горе, подвергаться вместе с ними преследованиям и искать убежища. А как только патриоты организуют Сопротивление, мы с Мишелем возьмем в руки винтовки. И даже если они меня убьют, я думаю, им не удастся меня уничтожить. Мне кажется, что для этого я слишком хорошо знаю эту страну, ее трудовую жизнь, ее людей, ее горы, ее персики и виноград. А когда истечешь кровью на земле, которая стала тебе родной, ты не можешь исчезнуть бесследно, ты даешь начало какой-то новой жизни, подобно тому как корни срубленного дерева дают новые побеги.

Вчера я вновь приехал в Марсель: Я привез Клодин немного овощей и фруктов для мальчика. Теперь ведь здесь и луковицы не купишь. По старой привычке я прежде всего зашел в «Мон Верту» и снова услышал портовые сплетни, до которых мне теперь нет никакого дела. В моей памяти

шевелинулись какие-то старые воспоминания; мне показалось, что все это я уже однажды слышал. И вдруг до меня долетели слова: «Монреаль» затонул. Мне почудилось, что пароход этот отплыл когда-то давным-давно, – сказочный корабль, обреченный вечно носиться по волнам, никогда не причаливая к берегу. Однако весть о гибели «Монреалья» нисколько не помешала огромным толпам беженцев осаждать конторы различных пароходств и умолять записать их на следующий рейс.

Вся эта болтовня в «Мон Верту» мне вскоре так осточертела, что я ушел из кафе и направился сюда, в пиццерию.

Я сел спиной к двери, потому что больше никого не ждал. Но всякий раз, когда дверь хлопала, я вздрагивал, как прежде. Я всеми силами сдерживал себя, чтобы не обернуться, но пристально вглядывался в каждую новую тень, мелькавшую на выбеленной стекле. Ведь Мари могла вдруг появиться, как иногда появляются на берегу чудом спасшиеся пассажиры потонувших кораблей или тени погибших, вызванные с того света жертвоприношениями либо пылкой молитвой. Я пытался наделить плотью и кровью неясную тень, мелькавшую на стене. Я бы увез ее в свое убежище, спрятал бы в глухой деревне, где теперь живу, и она оказалась бы вновь во власти всех надежд и опасностей, которые подстерегают нас, живых.

Когда мигала лампа или закрывалась дверь, тень исчезала со стены и призрак переставал тревожить мое воображение. Я смотрел только на пылающий огонь, мне, должно быть, никогда не надоест на него смотреть, и мне казалось, что я жду ее, жду, как прежде ждал здесь, в пиццерии. Она, верно, все еще бежит по улицам и площадям города, по каменным лестницам, по отелям и кафе, по консульствам в безнадежных поисках любимого. Не зная покоя, она разыскивает его не только в этом городе, но и в других городах Европы, где я бывал, и даже в фантастических городах далеких, неведомых мне стран. Я скорее устану ждать ее, чем она – тщетно искать мертвого.

1943

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Кончено! (франц.)

Евангелие. Второе послание к Коринф., гл. 11.

Пароходная компания «Морские перевозки»

4

Надеюсь, ты перестал волноваться по этому поводу? (франц.)